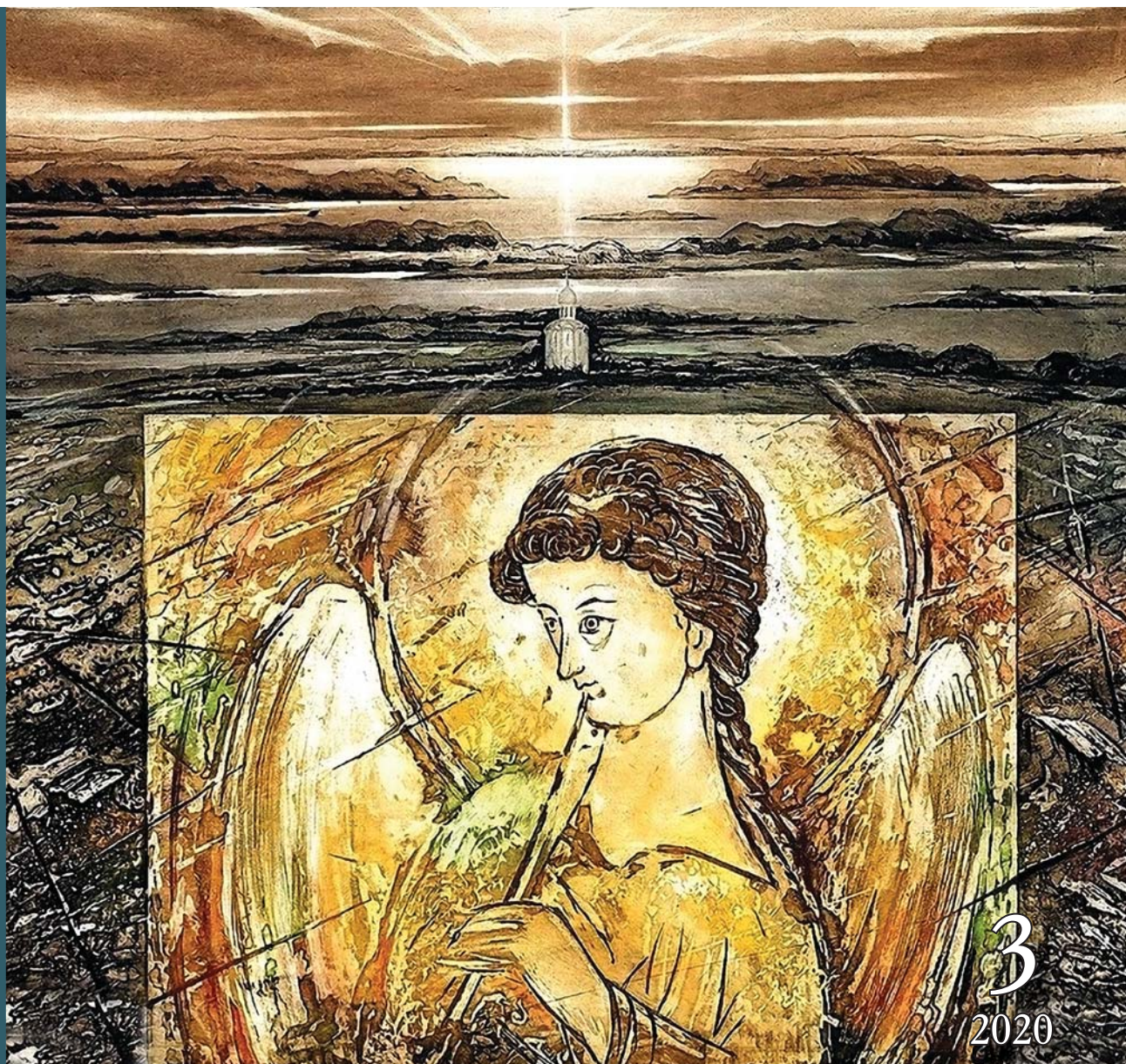


Облака

Калужский литературный альманах



3
2020

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

Облака

*КАЛУЖСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ*

3



КАЛУГА
2020

ББК 84(2Рос=Рус)
О-16

Редактор-составитель
А. В. Трунин

Редколлегия:
М. А. Улыбышева
О. П. Клюкина
Ю. В. Холопов
В. М. Обухов
П. С. Тришкин
П. Е. Топорков
И. А. Красовский

Облака: Калужский литературный альманах / сост. А. В. Трунин. —
О-16 Вып. 3. — Калуга: Издатель Захаров С. И. («СерНа»), 2020. — 296 с.
ISBN 978-5-907177-18-5

ББК 84(2Рос=Рус)

Адрес электронной почты редакции:
40oblaka2018@mail.ru

ISBN 978-5-907177-18-5



© Авторы. Тексты, 2020
© Трунин А. В. Составление, 2020
© Издатель Захаров С. И. («СерНа»). Оформление, 2020

ВДАЛИ ОТ ВСЕХ ПАРНАСОВ, ИЛИ ЗАЧЕМ НУЖЕН ОБЛАСТНОЙ АЛЬМАНАХ

В самом деле, зачем? Ведь талантливые и пишущие на профессиональном уровне авторы и так имеют возможность публиковать свои произведения в бесчисленных журналах и сборниках, которые выходят в Москве и других городах России, или отдельными книгами. Бывает, даже получают за эти публикации гонорар.

Это правда. Но у регионального литературного издания свои задачи.

Во-первых, есть такие люди, которым очень трудно достучаться до литературных небес. Характер у них такой, непробивной. Пишут они порой очень хорошо — прочитаешь и обомлеешь: да ведь это настоящая высокая литература. Но когда это ещё заметят там, наверху; пока найдётся авторитетный и бескорыстный ценитель их творчества... А может, и не найдётся, не заметят, по крайней мере, при жизни. Не всем же везёт. Так вот для таких авторов местный альманах, который держит высокую творческую планку, может дать лишний шанс состояться в литературном мире.

Во-вторых... А хорошо ли мы, пишущие люди, знаем друг друга? Кто что пишет, кто что собой представляет? То есть не только ближайшие товарищи по компании-тусовке, но все собратья, живущие в одном пространстве, дышащие одним воздухом. Кто-то скажет: «Какая разница... Писатель живёт в мире литературы, и друзья-соседи у него — Гомер и Сервантес, Достоевский и Толстой...» Это правильно, это само собой разумеется. Но большинство плодотворно работающих писателей не только не чуждались своих современников, но и чувствовали творческую необходимость в возможности живого общения с соседями по литературной среде. Поэтому альманах — это ещё и возможность такую среду сформировать.

И в-третьих, альманах нужен региону. В целом — как административному, хозяйственному и культурному организму. Хороший альманах — это то живое слово, которое не просто сообщает информацию о регионе,

что делают средства массовой информации, а создаёт его одухотворённый образ. Пусть некоторые писатели вообще не касаются современности, погружаясь в мир фантастики, далёкого исторического прошлого или приключений в неведомых пространствах. Если это настоящий писатель, время и место его пребывания всё равно отзовутся в его произведениях. А ведь большинство писателей берёт темы и детали для своего художественного мира из окружающей реальности и таким образом включает местный колорит, менталитет, строй жизни в общенациональный и общечеловеческий художественный контекст. Другими словами, более приземленно и по-деловому, хороший литературный альманах формирует имидж региона на образно-эмоциональном уровне. То есть располагает в его пользу души и сердца людей, вызывает интерес и сочувствие к его прошлому, настоящему и будущему, а значит, привлекает добрых людей, которые могут повлиять на его дальнейшее развитие.

Впрочем, есть ещё один — и самый главный — довод в поддержку нашей мысли: альманах нужен читателю (может быть, с этого и надо было начинать). Для многих сейчас проблема сориентироваться в литературном мире, выбрать книгу, которую стоит взять в руки, найти автора, который скажет тебе что-то по-настоящему важное.

Дорогой читатель! Наш альманах готов помочь тебе в твоих поисках. Мы представляем писателей, которых не только можно с интересом прочитать, но и при желании запросто встретиться с ними, поговорить, задать возникшие при чтении вопросы. Ведь эти талантливые и умные мастера слова живут рядом с тобой!

Александр ТРУНИН

ПОЭЗИЯ
и
ПРОЗА





Валентина Невинная

Валентина Александровна Невинная — поэт, публицист, переводчик, сценарист. Родилась в Бухаре в 1940 году. Детство и молодость прошли в Калуге. Первая книга «Мой берег» вышла в 1967 году в Приокском книжном издательстве. Потом её долго не печатали. Следующая книга с предисловием Булата Окуджавы появилась только в 1988 году. На её стихи написано много песен в жанре авторской песни (Андрей Крючков, Наталья Дудкина, Елена Фролова, Андрей Крамаренко, Павел Матвейко, Михаил Никитин и другие). Живёт в Москве.

МОЙ НЕЗАБВЕННЫЙ ПЛЕН

Зимние сумерки

Час сумерек люблю, когда доставят на дом
Крахмальный вид в окне под синькою густой,
И можно наконец лететь куда не надо,
В пятнашки поиграть с морозцем и мечтой.

Люблю я этот час за то, что в доме чисто,
И вкусен чёрствый хлеб, и чашка не пуста.
Ну а когда пуста, душа и так речиста,
И может «до-о» тянуть, у Вечности учась.

Я сумерки люблю за обещанье ночи,
За наваждение сна, короткого как шок,
За то, что милый друг во сне прийти захочет,
И выпадет снежок, и выпорхнет стишок.

О дивный этот час «меж волком и собакой»!
Не русский оборот, но здесь он в самый раз.
Вот день бежит, как пёс, а волк сидит за баком,
Там пища не для них, зато для них — игра.

Печалиться и мстить уже не хочет Муза,
А хочет слов любви, и ласки, и тепла.
Но в целом мире нет для этой Музы — муза,
А те, что ей клялись... Их клятвы — из стекла.

И всё-таки любовь на свете есть. Поверьте!
На ниточке она спускается с небес...
Как сумерки — ко мне, а к вам — сюрприз в конверте,
Как чудеса — к другим, жить невозможно без
Которых...

* * *

Железный воздух. Лёгкие устали
Глотать окалину Садового кольца.
В храм тороплюсь: неверными устами
Припасть к руке духовного отца.

В мирке пустом, бесстыдно-деловитом,
Где сточены о ложь карандаши,
Где будто в океане Ледовитом
Болтается судёнышко души,

Полдня я провела и пол-заката,
Дышала лестью, раздувала прю...
Из той колоды выпавшая карта —
Не вверх и вниз, а в сторону смотрю.

Пощады ль жажду, чаю ли прощенья,
Когда клонюсь повинной головой
Не в крылья ангельские — в складки облаченья —
И плачу над Евангельской главой?

Он был несладок, мой печатный пряник,
Но я ходила прямо. Тем жила.
И не искала места среди прялок,
Снующих нить во имя ремесла.

Была звана в иные государства,
В своих подвалах пенилась хвала.
Я отказалась от земного царства,
Я ничего у славы не взяла.

Стою у врат. Слезы полны зеницы.
Сняла корону, не стяжав клобук.
Стою: и не жена, и не черница,
С печатью троеперстною во лбу.

Золушка

В чесночной утробе поезда львовского
Мне снятся отроги вокзала московского,
Рассветного воздуха горький медок,
Приветного возгласа ломкий ледок.

Железная воля, железная сила —
Сквозь время железное мчится Россия...

И поезд железный в дыму и золе:
Россия, Россия, Россия во мгле.

Я, бедная Золушка славной Отчизны,
Не знаю ни зависти, ни укоризны.
В плацкартном купе, как в волшебной карете,
Я еду в единственный город на свете,
По рельсам железным, в дыму и золе,
В Россию, в Россию, Россию во мгле.

В чесночной утробе поезда львовского
Мне снятся отроги вокзала московского,
Рассветного воздуха горький медок,
Приветного возгласа ломкий ледок.

Последняя воля, последняя сила,
Последняя вера — Россия, Россия.
Последняя крепость на этой Земле —
Россия, Россия, Россия во мгле.

* * *

От былой красоты ни следа!
А была ли она, красота?
Первой славы тугая корона
И кудрей озарённая крона?

Смыты краски с живого холста.
Это страсти кривая вода
Исказила прекрасный рисунок,
Перепутала сурик и сумрак.

Но не стоит об этом жалеть:
Тлеет то, что хотело истлеть.
Пой, душа! Ты не знаешь предела.
Ну а то, что касается тела,
То к чему эта ржавая клеть,
Если птица давно улетела?

Погост

Русской женщине розы чужие несусь на могилу...
Вид их странен: ни запаха нет, ни шипов.
Вот и день отошёл. Или умер? Иль попросту сгинул?
Дождик воздух сечёт, будто это не воздух, а шпон.

Я забыла слова благодарности женщине этой,
И улыбку, и голос забыла её, и лицо.
Вот и лето скончалось. Иль кануло? Или не лето?
Чья-то жизнь покати́лась, как под пол литое кольцо.

Для чего неживые цветы я держу в холодеющих пальцах?
И размокший суглинок подошвы мои леденит?
Мир ещё не упал, не пропал, а всего лишь распался,
Но одна половина чернее, чем этот гранит.

Да и весь этот старый погост так похож на форпост чужеземный!
Эти серые стелы встают, будто вражеский полк.
И рогатые звёзды, и стон стогортанный, стозевный,
Где вповалку кресты: не узнаешь ни имя, ни пол.

«Не хочу здесь лежать, — прошепчу перед ликом Господним,
Обратясь на восток, преклонившись три раза подряд...
Разве — здесь, у дороги, и церкви кладбищенской подле»,
Но подобная честь подобает не мне, говорят.

Ухожу сквозь провал... Сквозь кирпичную кладку... Сквозь слёзы.
Вновь скрипят ворота, пропуская печальный обоз,
И на русскую землю летят иностранные розы,
И чадят под дождём фитили поминальных берёз.

* * *

Мой друг, поехали в Тарусу!
В дом, где давно темно и грустно,
Но старый парк доселе жив,
И средь равнины среднерусской
Река забвения бежит...
Здесь можно быть самим собою,
Дремотно слушать крик разбойный
Ворон, торчащих там и тут,
Цедить сквозь решето забора
И летний зной, и влагу туч...

В посудине с дырявым днищем
Живёт паук, художник нищий.
Попросим крова у него.
Нежданно иволга засвищет,
И тишь... И больше никого.
Пойдём в заветную часовню,
Где века ржавые засовы
Скрывают разоренье чувств,
Звенит Марины ключ Кастальский...
С трудом открыв глухие ставни,
Затеплим памяти свечу.

* * *

Мне мачехой Флоренция была...

Н.З.

Калуга. Первый снег. Чугунные перила.
Провал оврага. Мост, летящий над...
И улиц имена, где только звук — мерило
Всей тяжести веков, значеньям невпопад.

Мне мачехой была, клеветникам — прислугой.
Но только горсть обид осталась. Все трухой
Просыпалось. Перемешалось с вьюгой,
Не лет моих и зим, а с мировой пургой.

Уж как была скоро на суд и на расправу,
Ты, всех измен приют, смутьянов колыбель!
Не вытравить ничем твою дурную славу,
Но, не попомнив зла, молюсь я о тебе.

Купецкая вдова, раскольная царица!
Ничто тебе — в упрёк, никто тебе — в укор.
Возьми мою любовь и оплати сторицей
Все прошлые грехи, весь будущий позор.

Мой голос тише крыл заступников небесных,
Молитвенная речь бескровна и слаба.
Но ты тесней всех уз, духовных и телесных,
Мой незабвенный плен, недобрая судьба!

Родительская суббота

Налево погляжу, потом — направо.
Всех помяну, кто истине служил.
Словесности отечественной слава,
Ты соткана из православных жил.

Вот «Слово о полку...», Державин, Пушкин!
Вот Гоголь, Тютчев... Всех не перечесть.
Глаголы их — не праздные хлопушки.
Разящий меч или благая весть.

Ахматова. Есенин. Блок и Клюев.
Родная речь и Родина одна.
Мы как хоругви царские целуем
Немеркнувшие эти имена.

И дальше разворачиваем свиток:
Волошин. Бунин. Кедрин. Гумилёв.
И Заболоцкий — драгоценный слиток
Великой цели и высоких слов.

Как Млечный Путь мерцает список этот!
И где-то там с восхода до зари
Безмолвно говорит поэт с поэтом,
Так, как звезда с звездой говорит.

Век золотой, серебряный ли, медный —
Не всё ль равно? Но только бы звучал
Поэзии российской зов победный!
Где слово Божие — начало всех начал.



Юрий Убогий

Юрий Васильевич Убогий родился 19 сентября 1940 года в Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более двадцати лет работал врачом-психиатром. Автор многих книг и публикаций в журналах. Лауреат премий «Отчий дом» имени И. В. и П. В. Киреевских, имени Леонида Леонова, «Большая литературная премия России» и других. Член Союза писателей СССР (1979) и Союза писателей России. Живёт в Калуге.

ВРЕМЯ ВОКЗАЛА

Теория «Большого взрыва» о происхождении Вселенной, наиболее признанная и популярная на сегодняшний день, может и матёрого материалиста и атеиста заставить посомневаться в своём мировоззрении. Огрублённо и по-просту говоря — всё мгновенно произошло, возникло из ничего, из точки некоей, исчезающее малой. И стало разлетаться, усложняясь, по так же мгновенно возникшему пространству. И всё, что есть теперь во Вселенной, результат того, 13,8 миллиардов лет назад произошедшего, взрыва. Даже отзвук, эхо его до сих пор звучит и улавливается приборами. Так вот, если попытается атеист-материалист представить такое, то, глядишь, и Господа Бога вспомнит хотя бы...

А у меня мелькнуло как-то в памяти японское трёхстишие:

О, цикада, не плачь,
нет любви без разлуки,
даже среди звёзд в небесах.

И я вдруг о «Большом взрыве» подумал. Это ведь была великая, величайшая «разлука» всего со всем. И японский поэт (жаль, имени не помню) догадался интуитивно о её возможности. Да и не о возможности, а о неизбежности, и не догадался, а вполне утвердительно сказал. Вот она, связь поэзии с глубиннейшей сутью вещей и явлений!

Ещё вспомнил вдруг нечто подобное. «Художник нам изобразил глубокий обморок сирени» — из Мандельштама строчка. И физики понятие «обморок материи» в научный обиход ввели. Думаю, что поэт тут не просто с ними совпал случайно, а прозрел истину поэтическим прозрением...

* * *

Сижу на тумбочке, переобуываясь перед прогулкой. Наш шнауцер Луи рядом, настороже, ловит момент, чтобы успеть ткнуться мордой мне в колени и чтобы я его погладил, по заливку потрепал, бормоча что-нибудь

одобрительное. А если этого всего не получалось, при моей, скажем, спешке или забывчивости, то сидит потом обиженный и понурый. Да что шнауцер Луи, если сам Лев Толстой в старости записал в дневнике, что иногда ему хочется, чтоб его по голове погладили, как в детстве... А психологи утверждают, что женщине для спокойствия и душевного равновесия нужно, чтобы её потрогали, хотя бы чуть-чуть, мельком, шесть-семь раз за день. И мужички не так уж далеко в этом ряду стоят, похоже. Такие вот мы сироты казанские или, как с резкой прямоотой выразился Фолкнер: «Несчастливые сукины дети». И скрываем это друг от друга изо всех сил...

* * *

Мило... Или не мило. Приятное слово, но не сказать, чтобы сильное. Есть гораздо сильнее слова из того же ряда. А потом подумаешь — нет, слово-то из самых сильных. Не раз, к примеру, слышал, как говорили по поводу самоубийства: «Видно, жизнь стала не мила». Главную, стало быть, причину именно так определяли. Или поговорка известная: «Не по хорошу мил, а по милу хорош». И тут получается, что «хорошесть» человека, черта крупная, ёмкая, перевешивается этой самой, не такой уж, кажется, и важной, «милотой». А что она такая, в чём суть её? Трудно ответить, невозможно даже. Тайна...

* * *

Фильм про Бабий Яр, тот самый, что под Киевом. Перед угоном туда людей на смерть портной снимает мерку с дамы средних лет, очень красивой. И музыка грустно-нежная и снятие мерки воспринимается как медленный танец любви. Поразительно! Никакая эротическая сцена большего впечатления не произвела бы, пожалуй. Кадр всё время затенён по окружности, и портной с дамой в центре его, как в центре мира...

* * *

Клён и тополь — главные деревья детства. Весь наш посёлок был в них погружён прямо-таки. На клёны взбираться было сравнительно легко, и, взобравшись, ты как в иной мир попадал, «верхний» такой. И словно бы гостил в нём — и посидеть можно было удобно, а то и полежать на толстом и удобном суку. А весной даже угощение доставалось, «кашка»: бледно-зелёные, крупинчатые пучки неожиданно пресного, мучнистого вкуса. Голод эта «кашка» хорошо перебивала... Тополя были громадны, неохватны, небо подпирали почти. Пахли после дождя чудесно, а если почку набухшую растереть между пальцами, то запах бил прямо-таки в ноздри с силой нашатыря. Казалось, даже в голове ясноло от этого запаха. На некоторых, больших самых, тополях обитали из года в год колонии грачей в слипшихся воедино чёрных гнёздах — так, словно огромный кусок нашего курского чернозёма был вознесён в небеса. А как они, грачи, гомонили по утрам и вечерам, будто службу некую при людях несли, будили и провожали ко сну...

Клёны были как-то ближе нам, чем тополя, душевней. И доступностью своей, и «кашкой», и майскими жуками в кронах в мае, и даже похожестью некоей своих листьев на человеческую ладонь. Примерять даже случалось — вот, как раз впору...

Хорошо помню посадку клёна напротив нашего крыльца — прутика тонкого. И ведь уцелел и рос со мной вместе, став мне в конце концов старым, добрым, верным другом.

Были, конечно, и берёзы с зимней белизной стволов, такой странной среды зелени лета, и липы, позолоченные словно бы в пору цветения, и чуть уловимо пахнущие мёдом...

* * *

Сосед и старый приятель с нормальным (по возрасту) здоровьем поехал кое-что прикупить для скорой, серьёзной рыбалки. И умер, что называется, на ходу... А вот если чудом каким-нибудь узнать, что с тобой такое случится — узнать за день, за два... Как это время проживёшь? Дорогим, бесценным всё вокруг вдруг представится? Возможно. Или, наоборот, бессмысленным и уже чужим? Вполне может быть. А, вероятнее всего, будет смесь из первого и второго в разных пропорциях. А ещё вероятнее, хаос будет из отчаяния, смирения и надежды, что всё как-нибудь обойдётся...

* * *

Есть в дневниках позднего Толстого вопрос, довольно-таки странный: зачем на земле такая пропасть людей? (Сейчас, кстати, стало на порядок больше.) К кому он, вопрос этот, обращён? К себе ли самому или, скорей всего, к Богу Отцу-творцу, в которого Толстой, очень по-своему, верил. Подумаешь, подумаешь, да какой-то резон и почувствуешь в этом вопросе. Действительно, зачем эти многие миллиарды, которые ещё и растут неудержимо, всё ожесточённое борясь за возможность жить и даже просто выжить? Не количество же приближает род людской к Царству Божию? Скорее, наоборот...

* * *

В повести Томаса Манна «Обменённые головы» двое юношей индусов тайно наблюдают за омовением в реке юной девушки. Упоминается там линия её бедра, «привязывающая человека к миру явлений». К жизни, проще говоря. Вот и подумаешь, что, как ни мила, ни притягательна эта линия, но такое значение ей придавать — это уж слишком! А потом вспомнилось по отдалённой какой-то связи окончание самых, пожалуй, всеобъемлющих жизнь человека и человечества в целом, книг: «Человеческой комедии» Данте и «Фауста» Гёте. У Данте: «Любовь, что движет солнце и светила». У Гёте: «Вечная женственность тянет нас к ней». (К природе то есть.) Представил ярко «линию бедра, привязывающую человека к миру явлений», и подумал, что нет, не преувеличено её значение, пожалуй, если с приведёнными строчками линию эту сравнить. Есть в их глубинном смысле и ей её важное место...

* * *

Окурки, попадающиеся на глаза, по-иному в последнее время выглядят — докурены до «упора». Дорог уж очень табачок стал — вот и причина.

И окурки детства вспомнились, которые собирали мы у входа в пивные и магазины. Те куда как «побогаче» были. А сорта папирос как удивительно, поэтично даже порой, назывались: «Прибой», «Казбек», «Север», «Ракета»... И даже «Спорт» и «Бокс»! А «Герцеговина Флор», которую, по слухам, сам Сталин курил, а «Беломорканал», чудом каким-то доживший до наших дней...

Курение было в ту пору в чести, сам вождь курил запойно — не шутка! Да и война повлияла, только что отгремевшая. Легко представить, какая отрада была во фронтовой, да и тыловой жизни, — закурить! Даже в песни тогдашние курение прорвалось...

Была у нас в институте старушка, доцент кафедры анатомии, благородно-безупречного, ангельского даже, вида. И говорила в той же, примерно, манере. На практических же занятиях в анатомичке вдруг доставала из кармана белоснежного, накрахмаленного халата папиросы «Наша марка» (толстые, длинные, дорогие) и так смачно, вкусно, неторопливо закуривала: хирургом в медсанбате войну прошла...

* * *

Герой рассказа Бунина «Холодная осень», уходя на фронт и прощаясь с невестой, говорит ей: «Если убьют, я буду ждать тебя т а м. Ты поживи, порадуйся, потом приходи ко мне». Да, именно так — порадуйся! Без радости зачем и жить.

* * *

Есть в глубине и сути лучших вещей Валентина Распутина нечто библейское: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Так дело обстоит и в трагическом конце «Прощания с Матёрой», где вместо тьмы туман, а вместо света спасительный, прорезавшийся вдруг, звук катерного мотора...

* * *

«Бог леса и то не сравнял» — есть такая поговорка. Так оно, если внутри леса быть или совсем близко. А если издалека, как от нашего, например, дома смотреть, то лес на фоне неба поверху, как по линейке, подрезан — настолько ровный. Что-то похожее и с людьми, уж какие они разные, но в главном равные — каждый прежде всего человек, сосуд Божий. И перед судом Божиим все равны, хоть ты пастух, хоть царь. Разве что у пастуха грехов, скорей всего, поменьше...

* * *

Не очень склонен я к дальним поездкам, вообще к перемене мест. В родных местах всегда много воспоминаний и ассоциаций из всей прошлой

жизни возникает, и такая от этого в душе полнота, такая плотная в окружающее вписанность! А в новых дальних местах интерес, конечно, есть, но в душе пустовато — чужое всё, постороннее вокруг. До чувства внезапного — что я здесь делаю?

Судя по дневникам, у Толстого и Твардовского нечто похожее было — туговаты они были на подъём. А крупнейший наш пушкинист Валентин Непомнящий так и сказал о себе: «Я — Лежач Камень...» А то, что под такой камень и «и вода не течёт», его, может, и не беспокоило. «Лежал-то» он в Пушкине и больше ничем в своём литературоведении, возможно, и не занимался серьёзно — тоже своего рода «месту» приверженность. Оценивать же всё это смысла нет — каждому своё...

Прочитал написанное и увидел, что ошибочка вышла. Это ж я про себя, теперешнего, в сущности, написал. А когда-то совсем другой был коленкор...

* * *

В середине 80-х годов прошлого века (так странно это писать, словно ты летописец древний) ехала группа писателей из Москвы в Ленинград. Был в ней и мой друг Владимир Богатырёв, прекрасный прозаик-«деревенщик». Когда поезд тронулся, он мне и сказал, что долго сомневался, ехать или нет, хоть в Ленинграде никогда и не был. Боялся, что Ленинград от родной и любимой орловской деревни Каменки его отвлечёт, развлечёт. Вот это преданность и месту своему и теме! Да и себе самому!

Через какое-то время побывали мы с сыном у него в Каменке в гостях. Когда гуляли по ней, он сказал, что понял вдруг недавно, что писал-то он и пишет не о всей деревне, а о своей лишь «десятидворке», то есть о людях ближайших к его двору домов. Чуть ли не до точки интерес свой писательский сузил, но как получилось зато глубоко и сильно!

Что ж, и об одной семье объёмные шедевры пишут: «Сага о Форсайтах» Голсуорси, «Буденброки» Томаса Манна... Да и «Тихий Дон» Шолохова сюда можно отнести без особой натяжки. А «Улисс» Джойса, шедевр модернизма непревзойдённый: всего-то сутки из жизни рекламного агента. Не исключено, что когда-нибудь кто-нибудь напишет большой и прекрасный роман про один-единственный час из жизни человека. «Материала» на это должно хватить...

* * *

Многое из самого лучшего в жизни у героев Чехова исчезает, едва начавшись, уходит, как вода в песок: и в прозе так, и в пьесах. А в его записной книжке вообще предельная в этом смысле запись есть, набросок рассказа или пьесы. Ждут жениха к свадьбе, но нет его и нет. Потом приходит телеграмма, что он заболел. А через некоторое время ещё одна, что он умер. Вот и кончилась и свадьба, и жизнь брачная, даже и не начавшись...

Есть у Шопенгауэра мысль, что жизнь человеческая так тяжка и безрадостна, что самое лучшее вообще на свет не рождаться. Если бы она

позднему Чехову попалась, то, возможно, что он, хоть на мгновение, с ней бы и согласился.

Вот написал и тут же подумал — нет, не так, совсем даже не так. Сколько у Чехова радости, жажды жизни, любви к ней, юмора, особенно в письмах. Черпай, не исчерпаешь!

Но если всё-таки ещё поразмыслить не торопясь, то и первый вариант представляется правдой, то и второй тоже. Пара такая неразрывная выходит, как почти всё у людей. Любовь и ненависть, веселье и тоска, надежда и безнадёжность, жизнь и смерть...

* * *

Живёшь, старишься, думаешь о всяком-разном, книги читаешь и даже пишешь их. И кажется тебе, что как-то по силе-возможности ты в жизни разбираешься, понимаешь её. Но выпадет вдруг минутка особенной, резкой ясности в голове, ночью, скорей всего, бессонной, и окажется, что не понимаешь ты, в сущности, ровным счётом ничего. Так, обрывки объяснений куцые, никакой общей картины не дающие. Жутковато тебе станет, как голому на морозе. И никакая наука тут не в помощь тебе. Что, к примеру, она говорит о самом главном — откуда и как мир возник? А вот так: Большой взрыв случился, и в с ё явилось из н и ч е г о мгновенно: и материя, и пространство, и время. Хорошенький ответ, нечего сказать! Вот тут-то к Богу невольно и обратишься...

* * *

В маленьком и великом рассказе Чехова «Тоска» извозчик Иона уж так хочет горем своим с кем-нибудь поделиться: сын у него намерен умер. Но все его обрывают грубо: «Гони, знай! Все умрём...»

Отъездив свой срок, ставит он лошадь в конюшню, да и рассказывает всё ей...

А «Ионы» в таком же положении и теперь есть, даже, пожалуй, их стало больше. Лошади вот только исчезли, к сожалению. Ну, собаке можно рассказать, а уж на самый худой конец своей машине...

* * *

После войны в нашем маленьком райцентре Тиме мне приходилось видеть одного лишь милиционера, и я думал долго, что он в посёлке один всего лишь и есть. Даже фамилию помню: Филимонов. Маленький, серолицый, в синей шинели с обтрёпанными полами. Была и кобура на боку, но не с пистолетом, а с тряпкой, туго затолкнутой внутрь, которая и высывалась порой чуть-чуть наружу. Вот этот Филимонов и обеспечивал порядок при всех общественных мероприятиях и праздниках. И порядок был. Ну, пьяный мог лежать где-нибудь в сторонке, никто его и не трогал — проспится...

Зато немногие мужики были недавние солдаты да с наградами на груди. Вот в них-то, пожалуй, и была причина тогдашнего порядка...

* * *

Несколько лет назад увидел вдруг на кухонном столе конфеты «Ласточка» и глазам не поверил. Из детства прилетели стайкой, преодолев семьдесят, примерно, лет. Поразглядывал, развернул, откусил, пожевал — они, они самые! Ну и кинул парочку в один из ящичков письменного стола к гальке коктейльной. И хорошо они совместились, как давние друзья. Так и лежат до сих пор, и дружба их, конечно, только крепнет. Под моим редким и случайным присмотром...

* * *

В середине 90-х кассирша в магазине спросила: «Карта есть?» Не понимая, плечами пожимаю с недоумением. Стоящий рядом с кассиршей магазинный работник, наклонившись, сказал ей тихо: «Это — малоимущий». Я даже удовлетворение на миг ощутил — наконец-то меня социально определили! Малоимущий — очень мило и очень точно.

А вот теперь, через много лет, и я с «картой» живу. Твёрдой такой, солидной, красивой: для магазина «Красное и белое». И с удовольствием её предъявляю. Может, и «малоимущим» перестал быть?

* * *

К старости воспоминания всё больше и неуклоннее смещаются к детству. Тяга такая к первичности восприятия мира и жизни, которая была тогда. Словно к чистому для дыхания воздуху тяга. Да, именно подышать тем, детским, воздухом хочется, потому что потом он всё больше чистоту начинает терять от мороки бытовой, повседневной, от заботы житейской. Забота, так её и раз этак! Именно её в виде старухи неряшливой Мефистофель послал к Фаусту, чтобы ослепить его. Подошла, в глаза дунула — он и ослеп. И нам всем Забота (так у Гёте, с большой буквы) в глаза постоянно дует, остроту зрения у каждого в разной степени притупляя. Хорошо, хоть не до полной слепоты...

Да, об этом же ещё и пословица есть мудрая: «Не работа старит, а забота».

* * *

Всю жизнь помню март в десятом классе, одинокие прогулки вечерние по посёлку, хруст ледка подмёрзшего снега под ногами и неожиданное, впервые возникшее чувство, что я в сё понимаю или понять могу. Такая была сила напористая в душе и голове, что, казалось, никаких преград и препятствий для неё не существует. «Прорыв» какой-то небывалый, волшебный прямо-таки, во мне происходил...

Спустя лишь годы догадался, что это как-то связано было с первой любовью, переживаемой тогда. А одинокие прогулки и ощущение необычайной силы душевной и умственной (да и физической, конечно,) попало как раз на перерыв значительный в свиданиях с подружкой моей Ириной...

Возможно, что нечто похожее испытывал Пушкин в Болдине, в «заточении» чумном, ожидая мучительно встречи с невестой и свадьбы. И «силу» свою, всё копившуюся в ожидании, он в работу пускал и сделал за два примерно месяца фантастически много. У меня же работы не было, и приходилось просто ходить одиноко часами и всё «понимать».

Есть что-то неловкое, нехорошее в таком вот сравнении себя с гением, но, с другой стороны, все мы прежде всего люди — человеки, братья, одного Отца Небесного имеющие...

А подружка Ирина час назад куда-то с нашей внучкой Дашей по делам поехала. Ей и текст этот печатать придётся...

* * *

Когда наезжает большая грусть-тоска, то последняя линия обороны и защиты — чтение Аксакова или Шмелёва: те вещи, где просто жизнь, течение её и чудо её. А что «повыше» и не годится: нет ни сил, ни желания подниматься на эту «высоту». Да и нужна ли она вообще: так в этом состоянии думаешь...

* * *

Поворот людей при половом акте «лицом к лицу» психологи считают важнейшим событием в истории отношений полов, гуманизацией их и даже началом половой любви в теперешнем её смысле. Что ж, такое вполне можно понять и представить, только не обесценилась ли классическая эта позиция, как слишком простая и «постная», в хаосе современного сексуального модерна? Да что там позиция! Видел недавно на экране японскую красавицу-робота: очень недурна и даже мила чем-то. Она и за столом, она и на диване... В конце же просто шок: лицо исчезает, снимается, а на его месте густая путаница проводов...

* * *

Ожидал своей очереди в большой конторской комнате с множеством столов, женщин-служащих за ними и посетителей — просителей разношёрстного весьма вида. И вдруг взгляд невольно задержался на служащей неподалёку: говорит она что-то сидящей напротив просительнице с напористо злым выражением лица, а голос у неё при этом мягкий и участливый. Непонятный раскосяк какой-то, причину которого скоро и обнаруживаю — табличку на стене с надписью: «Ведётся аудиозапись для улучшения качества обслуживания». Хорошее дело — улучшение качества, слов нет, а вот аудиозапись тревогу некоторую вызывает — как бы до частной жизни она не добралась... Хотя, что была бы за новость?! Разве в 70-е годы прошлого века не поглядывали мы на вентиляционные решётки, сидя на кухне за рюмкой чая?

* * *

Исчезли с нашей окраины среднеазиаты, построив, лет за пять, большой жилой квартал. И как-то их чуть и жаль, вписались в жизнь — работали

на виду, покупали хлеб в огромных количествах сразу, в футбол играли то между собой, то с нашими парнями... И их подчёркнутая вежливость по отношению к пожилым людям была заметна и приятна. А вот чтобы средне-азиат с нашей, местной, девицей хотя бы прогуливался — такого видеть не приходилось. Какая-то здесь существует, похоже, непреходимая черта...

Кстати, загородный дом нам построили каракалпаки, специально для этого из дали дальней прилетев. Быстренько сделали сарайчик аккуратный, коврами его застелили весьма уютно и жили в нём. Работали не покладая рук, очень чисто стройку содержали и сделали всё как надо. Не пили и даже не курили — так, во всяком случае, выглядели. А вот наши местные строительные бригады всегда с опаской нанимают из-за вполне возможного пьянства. Даже писать такое горько...

* * *

Одиночество... Кто-то страдает от него всю жизнь и избавиться не может, а кто-то всю жизнь к нему стремится и никак не может обрести.

Я в детстве, лет в десять, от его, одиночества, мучительного влияния прививку получил и потом, если и доставало оно меня, то недолго, хотя и остро.

Заболел тогда scarlatina и провёл 42 дня в бараке (так тогда говорили — барак) инфекционной больницы. Здоровым уже, в сущности. Просто карантин был такой громадный. В палате коек на десять лежал всё время один, и выдерживать такое было так тяжело, что впору и сбежать.

Выручили меня книги. Особенно одна, которая не просто запомнилась, но и осталась главной книгой детства: «Два капитана» Вениамина Каверина. Я и сейчас её помню до мелких деталей. Перечитывать потом опасался, чтобы не испортить впечатления...

Поразительно, что судьба потом дважды свела меня с автором книги. В первый раз на странице газеты «Труд», где были напечатаны имена победителей конкурса на лучший рассказ, а второй — в писательском доме в посёлке Комарово под Ленинградом. И смотрел я тогда на маленького, сухонького, краснолицего старичка взглядом из детства — как на чудо! И не верил в глубине души, что именно он, вот он, ту, великую для меня книгу, написал... Подумывал подойти, познакомиться, историю эту немудрёную рассказать, но так и не решился. Сложное какое-то чувство удерживало — и почтение — уважение огромное, давнее, с которым я долгие годы жил, и, опять же, разочарования страх. Напрасно не подошёл — ведь ему-то, Каверину, наверняка приятно бы было...

* * *

Потянуло, словно на прощанье, прочитать кое-что из вещей собственных, давних уже, библиографических — детство, с первых воспоминаний начиная, отрочество, юность... Поразительное впечатление! Перерождаешься прямо-таки, тем самым, немыслимо давним, становясь. Какое-то преодоление времени получается, пусть и недолгое, при чтении лишь. А ещё и энергия, когда-то тобой в текст вложенная, вливается в тебя, молодит, бодрит, пацаном, босоногим, неумным делает. Чудо, в сущности...

* * *

Всё на себя примеряешь невольно. В молодости молодых было много вокруг, особенно девушек, а теперь много старых, особенно старушек. Многие с палками. Я тоже палку ношу прекрасную, сыном в подарок сделанную. Без нужды пока, впрок. Держу её поперёк, посередине, и это приятно. Иногда спрашивают знакомые и незнакомые даже — зачем она, если не пользуетесь? Отвечаю двояко, судя по спрашивающему: «Для красоты вида» и «От злых людей». Вот написал и вижу, что второй вариант нехорош как-то, надо его бросить.

А палку я давно хотел, лет с пятидесяти примерно. Откуда странноватое это желание? Может, из детства застряло, когда мы тщательно выбирали палки из поросли ивняка, а потом и узор на них вырезали. Ивняковая кора очень легко, охотно, прямо-таки отслаивалась, обнажая белейшую, влажную древесину. Даже соревновались — у кого узор красивей...

«Лёгкий груз одинокой прогулки я сегодня опять понесу» — из Мандельштама строчки. И отнести их можно не к детству, а к юности, началу прогулок одиноких, с палкой иногда. Одиночество она, палка, разбавляла и облегчала как-то, подсознательное рождая чувство, что не один ты всё-таки, а с кем-то. И ещё чудится в самой глубине причина — некое ощущение своего «старчества», прослойки какой-то его небольшой в душе, едва ли не с детства возникшей. А к пятидесяти годам эта прослойка такую набрала силу, что и палку из детства и юности потребовала себе. Формирование круга, цикла жизни, возможно, с этого и началось...

* * *

В конце 80-х годов, когда социально-политическая жизнь была бурной, как море в шторм, посещали мы с сыном нечто вроде кружка философского, где обсуждались по свободному выбору всякие-разные метафизические вопросы. Солировал Всеволод Катагошин, истинный философ по натуре, ну и остальные вносили свою лепту посильную. Без алкоголя обходилось, только крепкий чай.

Однажды собрались, разговор наш метафизический ещё не начался, и телевизор был включён: обсуждался референдум о судьбе СССР. Кто-то телевизор и выключил — мы-де серьёзные вещи обсуждать намерены, и нам не до этих «пустяков». Меня это возмутило и не помню, к сожалению, то ли включили телевизор вновь, то ли нет...

А вот теперь я и думаю, почему именно в ту пору мы к этой самой метафизике так потянулись? Кто-то, может, хотел из жуткой, страшной неразберихи социально-политической уйти хоть ненадолго, а кто-то, возможно, надеялся приподняться над ней и с высоты метафизической суметь разглядеть хоть что-то и понять. Вот только проку от этого понимания, если оно у кого-то и проблескивало, не было бы совершенно. С какой-то геологической неотвратимостью всё шло и, скорей всего, было уже predetermined свыше...

* * *

Есть у меня друзья намного меня старше: Белову Валентину Михайловичу через полгода будет 90, а Маркову Дмитрию Дмитриевичу недавно исполнилось 88. И как держатся! Белов в прошлом году первую премию на областном конкурсе получил за скульптурный автопортрет, а в этом премию за большую картину пастелью «Крещение внука». И себя на ней изобразил в окружении всей своей многочисленной семьи в весьма бравом виде. Позволил ему на днях, а жена отвечает: «В мастерскую убежал с утра этот Ванька-встанька». Вот это прозвище в такие годы!

Марков же занят рассылкой недавно вышедшей книги о своей родословной, за последние 400(!) лет, самым дальним родственникам, которых разыскивал неукосно и долго. А ещё и дачные работы активно и постоянно ведёт! Радуют меня мои великие старцы и жить помогают. Тут тебе и крыша, и пример. Продержались бы подольше — и мне можно за ними влачиться в хвосте...

* * *

Спутник по утренним и вечерним прогулкам шнауцер Луи очевидно дряхлеет на 13-м году жизни. Бестолков стал, видит плохо, команды с трудом воспринимает. И я невольно с грустью и сочувствием сравниваю его возраст со своим. Близки они весьма — если его годы на человеческие перевести, то ему, как и мне, уже к восьмидесяти дело идёт. И тревожно за него — старый товарищ!

Был у нас когда-то и кот Вильям, английский крысолов, чёрный, как сажа. В саду лежит теперь, под гранитным розовым валунчиком. Чудный был кот, до сих пор тепло его на колене и мурлыканье с дрожью приятной вспоминаю с сожалением...

Большой был гулёна и, лет пять всего у нас прожив, оставил после себя до сих пор живущую в округе породу чёрных кошек с белыми кончиками лапок. Постарался себя продлить, молодец!

* * *

Встретил на днях после долгого перерыва бабу Аню (так я её про себя называю), соседку по участку в ближнем овраге, где мы картошку выращивали в лихие, голодные девяностые целых шесть лет. Обрадовались друг другу, только что не обнялись. Сколько времени с той картофельной тяжкой поры прошло, а мы, встречаясь, непременно останавливаемся хоть ненадолго — поговорить. Она и жизнь свою мне понемногу рассказала, начиная с замужества. Муж, к сожалению, умер «на ногах» во время овражной нашей запарки, и живёт баба Аня с дочерью и внуком...

А история замужества такая. Встретилась с ним на стройке, она работала штукатуром, а он сварщиком. Как-то «полез» к ней грубо, а она его «по морде» — её слова. Баб-то вокруг много, а мужиков мало, вот и «привык к халяве» — её слова тоже. Во вторую встречу «полез», и то же самое. И в третью так же. Вот тут-то предложение «расписаться» и сделал, оценив оплеухи,

полученные по достоинству. Больше пятидесяти лет прожили потом прекрасно. Хорошая история, классическая даже. Теперь такие встречаются вряд ли...

Несколько последних лет было у бабы Ани с дочерью и внуком всё плохо-плохо. Кормила их на свою пенсию и с участка овражного, где работала только она. А дочь с внуком «гулять любили, а работать нет». И вдруг в эту, последнюю, встречу узнаю, что всё понемногу наладилось. И дочь «остепенилась», и внук «за ум взялся». Решила — чудо какое-то, Бог помог. Порадовался я за бабу Аню, а простившись, подумал — вот кто мы с ней друг другу? А старые друзья фронтовые, кто ж ещё...

* * *

Очень важно бывает вовремя умереть. Не раз думалось — вот этот как раз впору ушёл, а вот этот запоздал немного...

Для Бунина, к примеру, неплохо было бы вскоре после возвращения из Грасса в Париж и Победы нашей уйти. Отпраздновать её хорошенько, да и отбыть в мир иной. Потому что уж очень тяжела оказалась жизнь мирная. Намного тяжелее, пожалуй, чем в Грассе в войну. Тогда хоть интерес жгучий был — в ходе войны, в ожидании конца её...

А в Париже та же нищета и проголодь, тот же Зуров ненавидимый рядом, в тесноте квартирки, а природы, которая так утешала его и поддерживала в Грассе, нет как нет. Главное же, хвори обострились, как отдача после многолетнего напряжения. И дневник он после Грасса на целых восемь лет, до ухода самого, оставил — очень плохой в его ситуации признак... Можно и ещё добавить в том же духе, ясно вдруг представилось: если б сказал ему кто-нибудь, вот такое, подобное, пульнул бы Бунин в него матерком, с яростью. Уж очень жизнь любил, любую, может быть.

Да, кстати, видел в орловском музее комнату, сделанную под его парижскую. Даже окно на глухой стене нарисовано с тем самым видом, который за настоящим, парижским, окном был. Вся мебель комнаты — бунинская, из Парижа привезённая, и нищенская до боли...

* * *

В детстве, лет до семи, ясно так помню, однообразие дней доставляло явное удовольствие — сегодня как вчера, завтра как сегодня... А нового вроде бы и не надо было, жизнь привычная-обычная наполняла душу вполне, до краёв. И был во всём этом некий привкус вечности приятный, даже от книжек, одних и тех же, он исходил. Вот и теперь, в старости, нечто похожее начинаю испытывать. Смыкается и в этом конец с началом, как оно и быть должно...

* * *

Видел по ТВ последний, скорей всего, приезд Василия Белова в родную Тимонику. Многие из писательской братии побывали у него тут в гостях. Чудесная есть фотография, на которой сидят они с Шукшиным рядом

на лавочке с поленицей высокой за спиной — типичные жители местные по виду. Один, скажем, шофёр, а другой плотник...

А в этот раз стоял Василий Иванович у своего дома, ухоженного как никогда, наверное, и готового, похоже, стать музеем. В движениях, в речи явно проступали остатки недавнего инсульта. Рядом с ним женщина и двое ребятшек деревенских. Садясь в машину, сказал он им на прощанье: «Учитесь на поэтов», — и уехал...

Показали только дом Белова, луг, речку, лес вдалеке, а сама Тимониха даже не мелькнула. И нечего, и неловко, возможно, было показывать...

Похоронили Василия Ивановича по его желанию на деревенском кладбище рядом с матерью. А мне представляется навязчиво зима, заброшенная деревня, кладбище и две могилы, полузанесённые снегом. И тоска от этого тяжкая, и, прожилкой тонкой, удовлетворение — вернулся домой всё-таки, в родную землю лёг...

* * *

Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови,
Всё, крутясь, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Это Владимир Соловьёв, философ и поэт.

Улетит и погаснет ракета,
Потускнеют огней вороха,
Вечно светит лишь сердце поэта,
В целомудренной бездне стиха.

А это Николай Заболоцкий, просто поэт.

Уж какие разные были люди, уж какие разные были у них судьбы и время, в которое жили, а вот сошлись же так удивительно близко в этих прекрасных и важных для каждого стихах!

* * *

У всех, наверное, есть любимые вещи, которые сопровождают долгие годы, а то и всю жизнь. У Вяземского, ближайшего друга Пушкина, это был халат, которому он даже оду написал полу шуточную; у одного моего друга — кусок виноградной лозы интереснейшей формы; у меня — вышитое и заключённое в солидную раму изображение богини растительного царства Флоры...

Любимое животное, любимые вещи... Любимое — не шутка! Вот верил же философ Бердяев, что встретится в мире ином со своим котом любимым. Так почему бы и всему, что мы истинно в жизни любим, там не оказаться?!

* * *

Кусочки из раннего детства. Матушка что-то делает за столом и напевает тихонько: «До свиданья милый скажет, а на сердце камень ляжет». Только эта строчка и помнится, и вспоминается всю жизнь. Случайность?

А, может, душа уже тогда способна была угадать, как хороша эта строчка и как много за ней стоит? Или в другой обстановке, в несколько голосов спетое: «Имел бы я золотые горы и реки, полные вина...» Удивление и восхищение своё помню перед т а к и м и горами и т а к и м и реками. Хотя, что я мог тогда знать о золоте и вине? То ли догадывался чудом каким-то, то ли гениальная память подсказала...

* * *

Был семейный костерок в саду, и правнучка моя Анюта влезла на здоровенного коня плюшевого рыжей масти и долго на нём, подпрыгивая в седле, ехала-скакала... Вот и сбылась моя жгучая, детская, первого послевоенного года, мечта, в жизни правнучки сбылась через 70 лет! Анюта едет-скачет, но ведь и я в ней какой-то своей малой-малой частью тоже еду-скачу. Смотрел, ехал-скакал и чувствовал, что чего-то всё-таки не хватает. А, сабли в руке, взмаха её лихого! Жаль, не девчоночье это дело, надо правнука дожидаться и саблю ему подарить для полноты картины...

* * *

Потерявшийся, заблудившийся мальчик и он же теперешний, я то есть, на пару минут потерявший ориентировку в городе, знакомом насквозь. Состояния похожее чем-то. Тогда ужас, а теперь страшок небольшой, едва мелькнувший. И мысль — а сколько же стариков теряется всерьёз и надолго. А то и навсегда...

Но ведь и народы целые «теряются» за какое-то, пусть и большое весьма, время. И цивилизации целые. А для атеиста и всё человечество «затеряно» в бесконечной Вселенной. И «найтись» ему невозможно, и можно, да и неизбежно, лишь исчезнуть в конце...

* * *

Коктебель... Какое чудесное слово! Яркое, свежее, как глоток воды в жару. Звук ручейка булькающего, жизни самой... Много раз я там бывал в разное время года и подолгу.

А начинается, открывается он всегда резко и неожиданно, хоть его и ждёшь: морем и Кара-Дагом, с профилем поэта Волошина. Чудится, что знакомый человек тебя встречает каждый раз. Скоро появляется и дом его удивительный, а если оглянуться, то увидишь и могилу его на горе, как раз напротив профиля — через залив. Надо же так закрепить в таком месте! Или Высшая уже тут проявилась воля...

Работал я ранними утрами и только там не перечитывал написанное: ни за утро, ни за весь срок. Лишь домой вернувшись, начинал читать с острым, тревожным холодком в груди. И успокаивался понемногу — очень неплохо... Что-то, похоже, помогало мне там: шум моря, мерный, гомеровский, горы, степь, ковыльно-полынная, Волошина профиль, сам дух его, витающий здесь повсюду...

В первые приезды среди гальки пляжа попадались камни полудрагоценные: аметист, сердолик, яшма. Их и искали многие, бродили в позах согбенных. Была и шутка общеизвестная — если спросит тебя такой же, как и ты, «искатель»: «Камень или жизнь?», то правильно было отвечать: «Камень!» А сирень мощи невообразимой в парке писательского дома! А фонтан с золотыми рыбками и девочка с флейтой рядом, играющая ежевечерне! А звук окарины низкий, из глубины веков словно бы идущий, у балюстрады над морем!..

Если есть на земле хотя бы отблеск, призрак рая, то вот в Коктебеле он был для меня явлен и был. Да и не для меня одного, иначе бы не ездили туда многие люди из года в год, из десятилетия в десятилетие всю жизнь...

Матушка моя, побывав впервые у моря в посёлке Орджоникидзе (Провато по-старому), что рядом с Коктебелем, прожила пару недель у давней своей подруги. Рассказывая, как там было прекрасно, и узнав, что и я поблизости бывал, вдруг заплакала. Потому, может, что упустили мы случай встретиться в раю. Земном, хотя бы...

В посёлке Орджоникидзе я до разговора с матушкой не бывал, лишь огни его близкие ежевечерне видел. И в первый же приезд в Коктебель туда и пошёл по изумительной по красоте и разнообразию, берегом моря проложенной тропе. Место хотелось посмотреть, тем более что именно там матушка, впервые, пожалуй, в жизни, отдохнула по-настоящему, вне всякой работы, лишь гуляя и в море купаясь. А ещё и могилу подруги её, Ефросиньи Степановны Бурцевой, надеялся найти, цветы положить, постоять рядом...

До переезда в Крым жила она у нас в Тиму и работала врачом в больнице. Была крупная, широкая, большелицая, и запах у неё был необыкновенный, сказочный какой-то. Прошла войну фронтовым врачом и даже побывала начальником санитарного поезда. Помню её рассказ о том, как поезд попал под бомбёжку. Сестра её была искуснейшей вышивальщицей и её подарок, портрет богини растительного царства Флоры, до сих пор у нас в доме висит. Вот пишу и его краем глаза вижу...

Лет в восемь-девять заболел я очень тяжело, с опасностью даже для жизни. Помню, как после выздоровления уже матушка диагноз старательно, отчётливо, едва ли не с удовольствием тайным произносила: «Двустороннее крупозное воспаление лёгких». Звучало весомо и страшновато.

Лечила меня Ефросинья Степановна, да и вылечила, достав где-то редчайший тогда с т р е п т о м и ц и н. А в разгар болезни, перед Новым годом, я ёлочку с игрушками блестящими вдруг увидел рядом, очнувшись в очередной раз от полусна-полубреда. Оказалось, что и её Ефросинья Степановна достала и устроила, как средство лечебное — для радости. Вот оно, может, и помогло сильнее всего...

А могилу Ефросиньи Степановны я найти не смог и огорчился так, словно это была могила очень близкого, родного мне человека. Да и была, конечно...

* * *

В один из моих приездов в Коктебель стал появляться на вечернем пляже крепенький мужичок в белых брюках, белой рубашке и с трубой в руках.

Подходил то к парочкам, то к компаниям целым и спрашивал, что им сыграть. Иногда не получал заказа, но чаще играл. Недолго, две-три всего минуты, но совершенно чудесно! Звук трубы вообще особенный, с таинственной какой-то, трудно определимой добавкой. То голос человеческий в нём мелькнёт, отдалённый, зовущий; то мускульное усилие трубача, от ног до губ, к трубе прижатых, определится; а то вдруг ты сам, слушатель, на самой высокой, вот-вот готовый оборваться ноте, тоже напряжёшься, и душой, и телом словно трубишь вместе с трубачом... А солнце только что за горы ушло, море без морщинки единой и лишь по самому краю воды чуть подрагивает — от звука трубы как будто...

Однажды трубач заиграл французскую песню «Осенние листья», излюбимых моих. Ив Монтан её пел чудесно. А тут и женщина подошла к соседнему свободному лежаку, халатик сбросила, волосы роскошные, пепельно-дымчатые под купальную шапочку убрала, посмотрела глазами зелёными и к морю пошла, резко выделяясь на его бирюзовом уровне. И линия бедра была у неё та самая, что привязывает нас к жизни. Так и идёт, и идёт в памяти до сих пор...

* * *

На первой странице «Мёртвых душ» Гоголя два мужика говорят о бричке, в которой въехал в город Чичиков. Точнее, лишь про колесо брички говорят. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» «В Казань не доедет», — отвечал первый. Этим разговор и кончился.

Удивительное дело! Сколько уж раз я это место в романе прочитывал, и всегда оно как задевало непонятно чем. Пустой ведь разговор, пустейший, а интересный. И у других читателей похожее впечатление приходилось слышать. Фокус какой-то литературный или, правильнее сказать, тайна.

Есть в этом разговоре мужиков что-то приятное, милое и родное. Что-то именно русское. Некое-то как бы смирение перед обстоятельствами, перед судьбой даже. Вот до Москвы колесо доедет, а до Казани нет — и ничего тут не поделаешь и не изменишь. Но ведь и на участь самих мужиков и людей вообще это смирение-ограничение ложится. Прими, что тебе послано судьбой или Богом, и не ропщи. До Минска, скажем, ты, милоч, доедешь, а вот до Варшавы уже и нет. Так-то...

* * *

Был в нашей округе пивной ларёк, очень приятный. Даже столики за ним стояли, два-три, без стульев, а дальше пустырь. Вот и толклись мужики с пивными кружками в славном этом местечке, и часто женщина средних лет полуинтеллигентного, полубомжовского вида подходила, стояла, ожидая, не даст ли кто кружку допить. Иногда и просила — очень робко. Давали, конечно, но хмуро, отворачиваясь и как бы стыдясь. И однажды один из мужиков не выдержал и крикнул: «Да я лучше пиво это вылью, чем тебе дам!»

Возмутился человек такой степенью падения человеческого, очень даже понятно. А я, человек литературный, вдруг вспомнил фразу из «Света в августе» Фолкнера: «И только позор хуже небытия». Разные какие слова рядом поставлены, и это тоже понятно — в позоре жить нельзя, умрёшь, вымрёшь. И достаточно скоро...

* * *

Не поэт оставляет стихи, а стихи оставляют поэта — так похоже. То на время, а то и навсегда. Блок вскоре после окончания поэмы «Двенадцать» записал в дневнике: «Звуков больше нет». И стихов, соответственно, тоже. У Мандельштама был огромный, лет в пять, перерыв в писании стихов без всякой видимой причины — не писалось и всё тут. А пора, судя по возрасту, была самая рабочая.

Тяжело всё это, конечно, переживать-терпеть и даже чем-то оскорбительно. То «включают» тебя, то «выключают», не спрашиваясь. Но и что-то ещё, именно противоположное, присутствует — догадка о высоте «инстанции», которая влияет на работу. Ведь не только же в здоровье, обстоятельствах жизни, настроении дело. Иное, высшее, божественное, быть может, тут есть...

Кстати, прозаики тоже подвержены чему-то подобному, но в меньшей, смазанной степени. И, скорей всего, от лукавого...

* * *

Привезли в Москву из итальянского города Бари мощи святителя Николы, где они находятся почти тысячу лет. Едва ли не самый популярный в России святой, словно он кровный наш, а не заморский. Даже и непонятно, почему так? Может, имя отчасти влияет, уж такое своё. И называют его в народе по-простому «Никола», словно о соседе речь.

Вспомнилось прочитанное где-то... Положили перед Хрущёвым два личных дела кандидатов на первый полёт в космос: Юрия Гагарина и Германа Титова. Дело Титова он и не открыл, отодвинул сразу. Вполне понятно — не должен первый в мире космонавт, а ш парень, такое имя иметь. Народ не поймёт — так в ту пору большие начальники часто говорили.

Имя человека очень важно вообще, даже на судьбу его влияние имеет. И писатели имена героев книг своих не с потолка берут, а подбирают тщательно. Представьте себе Раису Каренину или Элеонору Ларину. Нелепо, дико? Вот так же и с Германом Титовым...

А святителя Николу называют в народе Николаем-угодником. Угодить, считается, он расположен человеку, к нему обратившемуся, помочь. Ну и обращаются, не стесняясь, попросту...

* * *

Прочитал в книге известного нашего богослова Алексея Осипова, что существует грех «великоумия». Удивился, но потом смысл некий в этом всё-таки забрезжил: вера и есть именно вера и ничто иное, а при «высокоумии»

человек пытается доказательства, объяснения для неё найти, что невозможно по определению. А если покажется, что нашёл, то это уже не вера будет, а нечто другое. И, скорей всего, от лукавого...

* * *

Есть у нас рядом акведук с ручьём и водопадиком — чудесное местечко. Однажды вижу, человек с толстой книгой сидит у самого, впритык, водопада, в чтение погружённый. Что-то во всём этом было восточное, китайское даже, часто на картинах и гравюрах попадалось: «поток» с напряжённым водопадом, заросли густые и человечек среди них.

Довольно долго я на гостя-читателя смотрел и решил, что он не просто книгу, а учебник именно читает, а «поток» и водопад помогают ему читаемое постигать. Русский язык, быть может. По мне он лишь скользнул взглядом — и в книгу. И это тоже было как-то по-китайски. Да и лицо у него было вполне китайское, насколько я судить могу...

Во время прогулки он несколько раз вспоминался мне, словно было в его появлении что-то существенное. Но ведь и было — такое любимое, душе близкое, интимное даже место и вдруг — китаец. Надо же!

* * *

Недавно узнал, что первые в стране «комплексы» по производству туалетной бумаги были закуплены у Финляндии в 1969 году, через семь(!) лет после полёта Гагарина. Расхотаться было впору, а потом и призадуматься. Вот одна из непоследних причин быстрого и почти без борьбы падения Советской власти. Для народа «вообще», в целом, она делала очень много, а отдельного человека, с его жизнью конкретно-бытовой, не видела порой в упор. Какая ещё там туалетная бумага? Не до неё! Обойдутся, авось не баре...

* * *

«Худая трава» — один из моих самых любимых бунинских рассказов. И фразы из него некоторые помню наизусть и повторяю иногда про себя, как стихи, при случае.

«Он был в той поре, когда хорошие, смиренные, работающие мужики, а он-таки поработал на своём веку, в одних батраках жил тридцатый год, — начинают много молчать, со всем соглашаться и думать что-то своё, особое...». «Если Бог подымет, пойду в Киев, в Задонск, в Оптину. Вот дело настоящее, чистое, лёгкое! А то не знамо, зачем и на свете жил». Ну и ещё кое-что.

Весь большой рассказ — описание болезни и смерти старого крестьянина, написанный с поразительной, художественной мощью. А герой главный, Аверкий, совершенно безгрешный, святой жизни человек. Антипод практически Бунина, по натуре, по жизни, по всему, в сущности. А вот вошёл же автор в своего героя, до самых, что называется, «печёнок» достал. Чудо истинное, что же ещё?! А ещё, может быть, то, что в самой-самой, предельной

глубине, доступной только великому художнику, люди не только «антиподами» быть перестают, но сближаются, не просто до похожести, близости, а до единства и родства...

* * *

Из рассказа сына недавнего. Встретил он в буфете театра «У Покровских ворот» старую знакомую, писательницу прекрасную. В разговоре спросил, чувствуется ли ею возраст (69 лет). Ответила, что только вот пришлось ей выбирать: то ли причесаться тщательно, то ли чаю с булочкой выпить? (На оба дела времени не было.) Вот и выбрала чай. Хороший ответ, прямой и откровенный. Чем-то напоминает французскую пословицу: «Лучше морщины на шее, чем на чулках».

* * *

Рассказ Бунина «Петухи», несколько всего строк. А суть и сила вообще в трёх словах, которые говорит крестьянка засидевшемуся на крыльце её хаты охотнику: «Петухи опевают ночь». И эти три слова действуют так, словно целое прекрасное и печальное стихотворение прочитал. А потому, что не только ночь о п е в а ю т петухи, но, чувствуешь, и жизнь твою тоже...

* * *

Понятность жизни человеческой вообще, в целом, в некоем усреднённом варианте, стала чувствоваться в последнее время всё очевидней. Появляется на свет человек и проходит тот же путь, с одними и теми же примерно заботами, страстями, стремлениями, радостями и печалью, как и миллионы людей до него и после него. И такая от этого понимания грусть-тоска тяжёлая! Утешает только, что жизнь конкретного человека, вот этого именно, по-прежнему остаётся (и останется) тайной. Хоть пастух это, хоть президент страны...

* * *

Купил впервые обувку, часто у соседей виденную, — нечто вроде галош глубоких, по щиколотку, и даже с опушкой мехом искусственным, и им же внутри. Удобно очень: в сад-огород по росе выйти, да и просто в мокрую погоду вблизи дома погулять с собакой. А стоят такие чоботы всего 250 рублей, и их, в сущности, можно при нужде круглый год носить, если ноги утеплять получше, портянками, скажем, уже полузабытыми...

Походил в этих чоботах, удобных вполне, и вдруг подумал — это ж вечная всей бедной России задача решена! Великое, прямо сказать, событие! Прекрасно помню послевоенье, когда не редкостью было в наших курских краях детям в школу не ходить — не в чем было. Так именно и говорили — «не в чем». И касалось это прежде всего обуви, самого слабого места у бедняков...

Да ведь и часы электронные теперь те же самые 250 рублей стоят, или около того. Прекрасно работают, сам такие в кармане много лет ношу. А когда-то, не так чтобы очень давно, какая была ценность! Приедет домой

в отпуск кто-нибудь с «производства», и если на руке часы, то это особо отмечали, говоря: «При часах приехал!» И «снимали» их порой у людей в тёмных, глухих местах...

Что ж, обеспечила себя, слава Богу, Россия всем доступной обувью и ча-сами. Большое дело сделала! До всем доступного жилья ещё бы добраться вот так же, но уж это очень далеко за моим «горизонтом», наблюдение оста-нется, конечно. Удачи только пожелать могу...

* * *

Встретил сегодня девочку лет семи, пускающую на ходу мыльные пузы-ри. Какая-то штучка небольшая, вида магазинного, у неё в руках, из неё пузыри и вылетают. Нажмёт на ней, «штучке», на что-то и пузыри из неё летят стремительной чередой, как из автомата. Девочка на них даже и не смо-трит толком, идёт себе, а за ней целый пузырьный шлейф тянется. И видел я всё это с какой-то странной помесью неприязни и грусти...

Для нас в детстве пускание пузырей было делом сладким и очень даже не простым. Сначала соломинку надо было найти правильную, потолще и попрочней, потом расщепить её аккуратно с одного конца на четыре вы-ступа по сантиметру примерно каждый. Что-то вроде соломенного цветка в конце-концов получалось. Потом мыло надо было развести в какой-нибудь черепушке, не жидко и не слишком густо. Потом выбирали мы во дворе ме-стечко подходящее, чтобы и ветерок слабенький был, и пространство для полёта пузырей. А потом было самое сложное и тонкое, чутья особого тре-бующее: макнуть «цветок» соломенный в мыльный раствор и дуть на него тихо и осторожно. И капелька мыльная посреди «цветка» соломинки вися-щая, вдруг превращалась в маленький пузырёк, мутный ещё, с жидким дном. Теперь надо было не сорваться, а дуть так, словно не только воздух из губ выпускаешь понемногу, но и часть души своей. Выпускаешь и кормишь, ра-стишь этим пузырёк, а вот уже и пузырь растёт и расцветает, становясь свер-кающим, радужным чудом... И сердце у тебя стучит тревожно. Что будет — то ли лопнет с арбуз уже выросший пузырь, то ли от соломинки оторвётся и полетит-полетит, как чудо и мечта! Первый пузырь почти всегда лопаётся у тебя под самым носом, а вот второй отрывается от соломинки неохотно и летит-летит, такой огромный, прекрасный, и скрывается вдруг за углом...

А ту девочку с пузырьным «автоматом» становится мне неожиданно жаль — не испытать, не пережить ей такого...

* * *

Помню рисунок в учебнике школьном: сидят ласточки в два ряда на па-раллельных, близких проводах. Хорошо сидят, стройно и мирно. А на со-седнем рисунке две ласточки с разных проводов дотянулись друг до друга клювами, «поцеловались» — и сгорели, замкнув собой электрическую цепь. Похожее и с людьми случается. Встретились мужчина и женщина взгляда-ми — тоже сгорели, только не мгновенно, а какое-то время спустя. Замкнули цепь, генетическую, и случилась гибельной силы любовь...

* * *

Посмотрел, как забивают сваи под фундамент многоэтажного дома. Забить надо каждую до упора в камень, в слой известняка. Вот достигла его свая и стоит непоколебимо, вниз под ударами больше не уходя. Так и будет стоять, дом на себе держать потом...

И вспомнилась вдруг Ахматова: «Мы ложимся в неё и становимся ею, оттого и зовём так свободно своею». О родной земле, разумеется, речь. Какая у неё, Ахматовой, жизнь была тяжёлая, сложная, бесприютная, но всё-таки достигла же она, добралась до своего с л о я, упора надёжного, на котором и стояла твёрдо до конца...

А вот у Цветаевой отношение к земле было совсем иное, противоположное. Писала, что стоит на ней на цыпочках, готовая оторваться вот-вот. И оторвалась... Может, немного не дотерпела, не дотянулась до опоры, до того слоя прочного? А попытки были:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё равно, и всё едино,
Но если по дороге — куст встаёт,
Особенно — рябина...

* * *

Любимый пейзаж для каждого человека — дело довольно интимное, суть личности его в какой-то степени отражающее. Напоминает, отдалённо, конечно, отражение личности художника в его картинах.

Моё любимое в природе — холмистая степь до горизонта, с высокой точки увиденная. Воля-вольная для глаз и для души. И ещё желательно, чтобы какой-нибудь штришок маленький о людях, о том, что они есть-таки на свете, напоминал — дом дальний, кусочек дороги полевой...

Это вообще. А запомнился навсегда конкретный пейзаж, увиденный лет сорок пять назад и совсем иного свойства. Мы с другом в пешем походе, стоянка на берегу реки Воронеж, небольшой в этом месте, костерок, закат за рекой. А ещё за рекой кладбище, выходящее прямо к берегу высокому, так, что кресты видны кое-где на фоне розового неба. Вечер — лучше не бывает, река чудесная, нам хорошо... Почему так запомнилось? А соединением редкой прелести жизни в ту минуту и кладбищенской печали, не тяжёлой, а лёгкой, светлой...

* * *

Удивительно, что «Песнь песней» вошла в основной текст Библии. Ведь она о земной любви, человеческой вполне, и, казалось бы, ей тут не место. Может, из-за силы её поразительной, чистоты совершенной и усилия прикрытого перерасти саму себя и подняться от земли к небу, небесной стать...

* * *

У истинно верующего человека два дома — в искре Божьей, греющей, в душе его, и во всём внешнем мире, тоже Божьем. И как необходимо

и трудно обрести их и сохранить, и как страшно потерять, в полной бездомности оказаться...

* * *

На мой взгляд, и разумение, Андрей Платонов — единственный гений в русско-советской прозе. Великие писатели были, но гений только он: открыл свою, чистую, страницу и писал на ней только своё, ни на что больше не похожее. И Леонардо да Винчи он напоминает: не только художник слова, но и инженер, строитель, изобретатель, философ... Чудесный памятник поставили ему в его родном Воронеже с прекрасной, сутевой для него фразой: «Без меня народ неполный». Герой одного из его рассказов так говорит, но ведь и автор тоже...

* * *

Листал толстенную книгу восточной поэзии и встретил несколько знакомых трёхстиший Басё. В студенчестве ещё читал, любил и до сих пор назизусть помню. И подумалось: Господи, сколько же было в юности и молодости тоски и печали! И как только удавалось справляться с ней?! А вот, в частности, и с помощью японской поэзии. Как-то она выражала ясно и полно эту печаль и тоску и тем её унимала целебно.

* * *

На вопрос, какой мой любимый цвет, я ответил как-то слишком уж мудро: цвет небесной голубизны, озарённой солнцем. А потому, что нечто Божественное в ней, голубизне такой, есть. Чудится даже, что там, в ней и за ней, Царство Божие, может быть... А потом, вскоре, стихотворение Тигиана Табидзе прочитал, где о том же самом и говорится: «Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с ранних лет, с детства он мне означал синеву иных начал...». Разницей же между голубизной и синевой небесной можно и пренебречь, главное, суть самая. И ещё подтверждение этой сути: мадонн с младенцами старые мастера часто на фоне этой самой голубизны — синевы небесной изображали. Уж никак не случайно!

* * *

Предновогодье, сын лыжи из сарая в коридор квартиры только что принёс, четыре пары, а моих среди них уже нет. Каково это перенести, имея семьдесят лет лыжного непрерывного стажа?! Впору и заплакать внутри себя, «сухими» слезами...

* * *

Наш участок под картошку в овраге, где мы её растили в девяностые лихие годы, целых шесть лет, занял очень приятный мужичок. Лет аятидесяти, спокойный, общительный, интеллигентный по виду и разговору. И в этот же год случилась весной маленькая катастрофа — высокий глинистый берег

ручья, омывающего участок, рухнул вниз огромным куском, и перегородил ручей, даже ход его изменив.

Я часто гулял в тех местах и имел случай понаблюдать, как новый хозяин участка исправлял последствия обвала, спасая участок от размыва и уничтожения. Собственно, за работой видеть его не пришлось, а на результаты её насмотрелся вдоволь. Что-то невероятное, когда с трудом веришь глазам своим. Обломки крупные блоков, брусков железобетонных, железяки здоровенные, брёвна... И всё привезено на ручной тележке по сложной тропе, примерно за километр и уложено, вкопано хитроумно и надёжно, в берега ручья для их укрепления. Египетская какая-то работа, даже пирамиды мне померещились...

И наконец встретил великого этого строителя и спросил, как он смог сделать такое? А он ответил просто, что всю жизнь любит тяжёлую работу и даже ищет её. Помолчал и продолжил уже другим, доверительным, тоном (знал, что я по первой профессии психиатр), что его сильно оскорбили, унизили в детстве, и это мучает его до сих пор(!). Только вот в такой тяжёлой работе он и находит облегчение. Выслушал я всё это и почувствовал, что заглянул вдруг в ту часть чужой человеческой души, где, по пословице, «потёмки». Даже чуть зазнобило от представления их таинственной глубины.

А в жизни у него, в общем, всё нормально — и с работой, и с семьёй. Не исключая даже, что он о той травме душевной, детской, никому и не говорил — и вдруг вырвалось. В чём травма конкретно состояла, он не сказал, а я не стал спрашивать — не врачебный же приём был, а разговор приятельский...

* * *

У философа Хайдеггера неизбежность и необходимость смерти объясняется заботой, суетностью всегдашней, погруженностью в неё человека, «дурной бесконечностью» этого, которую надо же когда-то и прекратить, перейдя из времени в вечность через смерть. Прочитав такое, тут же вспомнил отрывок из «Четвёртой прозы» Мандельштама: «Пожил ты, человек, походил в баню и парикмахерскую, поездил к другу Серёжке в Гатчину, попил пива в ларьке на углу — и будет». Удивительно, как сошлись близко крупный философ и великий поэт, да ещё в таком важнейшем вопросе, как смерть и смысл её...

* * *

Стоят после долгого ненастья дни-подарки, как говорится. Порой думаешь, в таких случаях — вот бы и всегда так! Но нет, не надо. Будь так, то не только ценить, но и замечать их прелесть перестанешь, что ж тут хорошего... А ещё говорят: женщина-подарок. Серьёзная такая, похвальная оценка, ёмкая в своей глубине. Или ещё: женщина-праздник. Весьма заманчиво, но лишь на первый взгляд. Подумаешь и засомневаешься — так ли уж это хорошо? И легкомыслие глуповатое начинает представляться, и утомление от особы такой рядом. Впрочем, это уж во мне возраст, старчество моё заговорило. Пусть будет таких побольше. Не для меня, так для других. Женщина-праздник! Сказать-написать и то приятно...

* * *

Случается, что какая-нибудь проза или стихи покажутся тебе близкими до удивления, что не ты это написал. Бывает такое лишь во время очарованности текстом, при чтении или чуть после, когда ты «разогрет» этим чужим. А потом чувствуешь и понимаешь с некоторым даже разочарованием, что чужое, оно чужое и есть. В него не проникнешь и его не присвоишь. Лишь подражание возможно, подделка. А вот запоминается такое сразу и накрепко и «прокручивается» в памяти очень долго, всю иногда жизнь. На том и спасибо...

* * *

В старости начинает слабеть эротическая составляющая восприятия жизни, такая пустота проступает в мире и постепенно растёт. Прежде всего это и женщин касается, но и другого тоже, природы, например. Острота воздействия её меркнет, некие «прорехи» появляются, а из них тянет тоскливой, тёмной пустотой. Как справиться с ней, как защититься? Только верой в то, что всё в мире создано Богом, по его воле и замыслу, который до конца не может понять человек. «Пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших».

Вот из-за всего этого люди чаще всего и обращаются к вере, к Богу, именно в старости. Да и скорый, неизбежный уход, тоже играет тут важную свою роль...

* * *

Лучшие, на мой вкус, рассказы о любви в русской литературе — «Дама с собачкой» Чехова и «Солнечный удар» Бунина. И какие же они разные, а ведь оба об одном и том же...

В чеховском Гуров говорит Анне Сергеевне после недельного знакомства: «Пойдёмте к вам». И оба пошли «быстро». А вот если поменять местами два последних слова: «И оба быстро пошли», то что-то изменится, хуже станет. Чувствуешь это совершенно явственно, а объяснить разумно-рассудочно не можешь. Тайна. И для автора, скорей всего, тоже. Интуиция художника так диктует, скорей всего... Или ещё из той же «Дамы...», когда Анна Сергеевна приехала к Гурову в Москву: «Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный...» Совершенно однозначны два последних слова, так зачем же они поставлены рядом и вычеркнуть одно из них почему-то нельзя...

А в бунинском рассказе поражает последняя, откуда-то издалека словно бы залетевшая, простая, короткая фраза: «Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет». И думаешь, не будь её, рассказ много бы потерял в силе и трагической глубине...

* * *

Есть короткие отрывки прозы, которые я помню и проговариваю про себя совершенно наравне со стихами. Да это стихи и есть, только прикрытые, «замаскированные» под прозу. Особенно часто это встречается у Чехова

и Бунина. И даже у такого по стилю нескладного, многословного, тяжёлого Толстого. Вот, например, как помню, из «Войны и мира» кусочек, из внутреннего монолога князя Андрея: «Все лучшие минуты его жизни вдруг вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мёртвое, укоризненное лицо жены; и Пьер на пароме; и девочка в Отрадном в лунную ночь; и эта луна, и эта ночь — всё это вдруг вспомнилось ему». Ну чем не стихи? Особенно поражает, что в лучшие минуты жизни он включил «мёртвое, укоризненное лицо жены». Почему? Возможно, по той глубине чувств, которые оно, лицо, в нём вызвало...

* * *

Куда все так страшно едут и бегут в больших городах и особенно в Москве?

Вопрос странный и дурацкий даже — ясно ведь, что по делам, и каждый цель свою имеет. А что очень быстро и неудержимо всё это совершается, так и хорошо. Энергия жизни тут видна, не иссякающая ни днём, ни ночью. Не сиднями же сидеть?! Но ведь и это надо, необходимо даже для каждого человека время от времени. Именно посидеть наедине с самим собой сиднем. Нелёгкое это дело, но и важнейшее. Жаль, отвыкают от него всё больше, теряют такую способность. Выносить сами себя перестают, тяготея собой. Отсюда (отчасти хотя бы) и пьянство, и наркотики, и глаzenie в экраны-экрaнчики бесконечные. Занять, заморочить надо и глаза, и уши, и голову — иначе ведь в душу свою поневоле придётся смотреть, а вот это-то и тяжело, а то и страшновато...

* * *

Недалеко от нашего дома пустырь, и на нём каждый вечер целый карнавал из людей и собак — приходят из ближних двaдцaтиэтажек. Наш с Луи прогулочный маршрут с этим карнавалом неизбежно совпадает, и я каждый раз чувствую, что мы на нём чужие. Я лишь здороваюсь кое с кем изредка, а Луша едва успевает уклоняться и отбегать от наскaкивающих на него (вполне, впрочем, дружелюбно) молодых сородичей. Одинаковое у нас с ним вообще-то поведение, да и возраст одинаковый, если собачьи годы на человеческие пересчитать. Мне это совпадение даже чуть приятно — братство такое по старости у нас с ним получается...

* * *

То ли быль, то ли легенда о встрече поэтов Николая Рубцова и Юрия Кузнецова на кухне общежития литературного института. Оба были по натуре молчуны (особенно Кузнецов), а тут вдруг поговорили и выяснили, что каждый считает себя великим поэтом. И поразительно — почти угадали! Ну, пусть не великие, но крупнейшие поэты своего времени, несомненно. Теперь же двух таких по масштабу не только на кухне литинститута, но и по всей стране, пожалуй, не сыщешь...

* * *

«Кто смотрит на облака, тому не сеять». Из Библии фраза, и какая поэтическая, и какая глубокая!

Хорошо, что они есть у нас, облака. Разной высоты и формы, то неподвижные, то летящие стремительно под ветром, то растущие, то тающие едва уловимо. И ждём, и угадываем мы в них разное — то ненастье, то славную погоду. А влюблённый, может, и профиль подруги своей в одном из них вдруг разглядеть...

И в литературе много облаков, особенно у Бунина, и Тургенева, и Толстого.

Есть и знаменитые, «литературные», облака. Те, которые видит тяжело раненый князь Андрей над собой, лёжа на поле Аустерлица. И те, которые наблюдает внимательно Левин на копне сена ранним утром, перед тем как увидеть любимую свою Кити. А ещё и облачко из «Капитанской дочки», предвещающее страшный буран и встречу Гринёва с Пугачёвым...

А тучи, в которые превращаются иногда облака, не менее для нас интересные, разнообразные и значимые! А сплошной, однообразный, то тёмно-серый, то светлый покров, который и день и два нависает над нами, как крыша. А лучше всего для наших краёв, когда нет ни облаков, ни туч, ни «покровов», а есть лишь нагое, синее или голубое божественное небо...

* * *

Там, где я был, мне было плохо,
Там, куда я еду, мне будет плохо,
Так почему же я с таким нетерпением смотрю,
Как шофёр меняет колесо? —

Бертольд Брехт написал давным-давно. И спешка эта дурная с тех пор возросла многократно. Россия ровно век назад начала свой напряжённейший, изнурительный, в поту и крови, бег от проклятого капитализма, да к нему же и вернулась...

А отдельные люди? Бегут, бегут, словно жизнь свою стараются поскорее пробежать-закончить и успокоиться наконец. Упокоиться...

* * *

В чеховской «Чайке» Заречная говорит Треплеву с тоской, что завтра ей рано утром ехать в Елец играть перед купцами...

Удивительно, что в последний, недавний чеховский юбилей, группа французских театралов отправилась в Елец, чтобы посмотреть, что это за город такой, в который так уж не хотелось ехать Нине Заречной и играть там. Представляли, конечно, что-нибудь крайне непривлекательное, дикость провинциальную. А в елецкой гимназии, между прочим, учились во время, близкое времени действия в пьесе, Бунин, Пришвин, философ отец Сергей Булгаков и Василий Васильевич Розанов преподавал. Найдётся ли во Франции городок, близкий по величине нашему тогдашнему Ельцу, который смог выставить в ту пору от себя такую могучую команду? Очень сомневаюсь...

* * *

«Нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели...» Жутковатая строка поэта-фронтовика Семёна Гудзенко. Даже некую заповедь напоминает. Только не от Бога, а от инстанции иной. Особенно если вспомнить, что в народном понимании жалость и любовь, в сущности, одно и то же. Вот и получится тогда: «Нас не надо любить. Ведь и мы никого б не любили...»

А поэт Семён Гудзенко по-настоящему талантливый, что даже по приведённой строке видно. Талантливо и опасно, поскользнуться можно и упасть...

* * *

Перечитал «Тихий Дон», в последний, конечно, раз. Великая книга, а финал по трагической мощи самый сильный из всего за жизнь прочитанного. И такое опустошение душевное потом, словно собственная жизнь вместе с жизнью Григория вот-вот кончится... Сравним с финалом «Тихого Дона» для меня лишь финал «Чевенгура» Платонова и «Ста лет одиночества» Маркеса.

* * *

Главный человек в медицине — лечащий врач. Он именно лечит, остальное — консультации, профессора, консилиумы и т.д. — вторичное. Именно на этом, «первичном», уровне, медицина близка искусству — именно тут интуиция, наитие, такие важные в искусстве, вообще творчестве, проявляются сильнее всего. Поэтому лучшими врачами и бывают именно «просто» врачи, так неудачно названные ординаторами. И наши великие врачи — Мудров, Боткин, Корсаков — прежде всего были лечащими врачами, ординаторами, а потом уж всем остальным...

* * *

Есть воспоминания мелкие, ничего существенного в себе вроде бы не имеющие, но приходящие изредка всю жизнь. Вот одно из них. Урок физкультуры в 7-м что ли классе. Класс выстроен в конце урока (в высоту и длину прыгали), и учитель, добродушный толстяк, даёт оценку уроку и отдельным ученикам. О друге моём, Валерке, так сказал примерно: «А вот Юрасов — молодец! Хоть и слабенький, и ростом не вышел, но ведь старался как!» И тут же голос Валерки, громкий и злой: «Фатит рассусоливать!» Это помню в точности, вплоть до звука «Ф». Реакция учителя стёрлась, а о причине стойкости такой воспоминания как-то и не думал. А теперь думаю, что гордость и смелость Валерки восхитила, скорей всего. И, выходит, не такое оно уж и мелкое, это воспоминание. Что-то подобное и в других, «мелких», быть должно, если присмотреться...

Да вот и ещё пример. Брёл с другом, покойным поэтом Михаилом Кузькиным, под ледяным дождём и ветром. Он и сказал походя: «Люблю собачью погоду». Запомнилось и вспоминается в погоду именно такую, как-то даже и улущая её вдруг. Причина же любви такой странноватой в том,

думаю, что он табунщиком был в молодости, в хакасских степях. Ну и хлебнул такой погоды вволю и даже полюбил. Когда сил для любви ко всему в мире много, да и сохранил любовь эту особенную навсегда.

И ещё о нём же. Сказал как-то тоном, каким стихи читают: «Я уеду из этой деревни...» И, помолчав, добавил: «Люблю эту строчку». А строчка — начало прекрасного стихотворения Николая Рубцова «Прощальная песня». Я про себя удивился — что уж в этой-то, самой простецкой, разговорной строчке любить? А потом понял — именно простоту, после которой идёт в стихах уж такая сложность трагическая, неразрешимая, такая боль...

Кстати, первая фраза романа Лермонтова «Герой нашего времени» очень похожа на рубцовскую по простоте: «Я ехал на перекладных из Тифлиса». Какая лёгкость, естественность входа в огромный романский мир...

* * *

Самая «русская» картина, на мой взгляд, «Грачи прилетели» Саврасова. Ещё и фамилия у автора из русских русская, надо же так совпасть! А от картины тянет чем-то знобким, щемящим, как и от всей нашей жизни вообще...

* * *

В СМИ сообщают, что в последнее время быть в депрессии стало модным. Речь, конечно, идёт не о клинической депрессии, а о бытовой, грусть-тоска. Скорей всего, тут не в моде дело, а в том, что люди устали быть бодрячками напоказ и стали позволять себе эту самую грусть-тоску. Огромную, между прочим, и совершенно естественно-необходимую часть душевной жизни человека. Если её убрать, то мы и людьми в теперешнем понимании перестанем быть, в весёленьких роботов превратимся. Да и вообще, жизнь современного, неверующего, человека, если увидеть её без иллюзий и самообманов, так неизбывно, непоправимо трагична, что тут не до грусть-тоски, тут ужас будет сплошной. Тут, подобно герою позднего стихотворения Пушкина «Странник», впору бежать в страхе, куда глаза глядят, ища помощи и спасения...

* * *

Фикусы послевоенья... Во всех почти столовых они были, фирменный знак прямо-таки. И у нас дома был: огромный, растущий в бочонке деревянном. А ещё туя, не меньше фикуса. Разница их удивляла, словно на разных полюсах находились. У фикуса листья, как лепёшки зелёные, толстенькие, тяжёленькие, а тут кружево какое-то тончайшее. И рос я под сенью комнатных этих деревьев, как в маленьком волшебном лесу. А когда квартиру получил с семьёй в военном городке на Урале, то сразу стал таскать в неё с утренних пробежек по лесу, то ветку какую-нибудь красивую, то букет-букетик цветов. От привычки жить с детства с растениями рядом. Так оно и осталось на всю жизнь, крепкой оказалась ранняя эта закваска.

А потом у соседки с первого этажа полвека почти лимоны за окном желтели постоянно. Любовь! Возможно вполне, что она и разговаривала с ними тихонько...

* * *

Очень возможно, что Пушкин мало известен за пределами России, и ни в какие рейтинги лучших писателей мира не попадает именно из-за высочайшего художественного совершенства его произведений. Такое совершенство непереводаемо, во-первых, и очень трудно для адекватной оценки, во-вторых. Слишком всё у него небесно-божественно, «не по зубам» загранице. Ну а у нас в России, где он, вне всяких сомнений, первый поэт, что, высоких ценителей, знатоков больше? А вполне возможно. Литературоцентричная страна как-никак. Была, во всяком случае...

* * *

Закон всемирного тяготения — один из важнейших в природе. Самый важный, может быть. А вот как, посредством чего притягиваются все тела Вселенной друг к другу, открыть никак не могли. И вот свершилось! Астрофизики нашли зону, где две «чёрные дыры» начинают сливаться, и тут-то и обнаружили некие особые, ранее не известные волны, через которые этот закон и проявляет себя, тяготение всего ко всему создаёт.

Поразительно, что нечто близкое человеку, интимно близкое, в этом законе есть, в притяжении полов друг к другу прежде всего. Что и приятно, и жутковато, если вдуматься. Любовь людей и тяготение, «любовь» звёзд друг к другу... И слияние, бывающее и у людей, и у звёзд...

* * *

«Было ещё темно, но кое-где в домах уже засветились огни, и в конце улицы, из-за казармы, стала подниматься бледная луна», — первая фраза повести Чехова «Три года». Ошибка в начале фразы сразу бросается в глаза. Правильно было бы: «Было ещё с в е т л о, но кое где в домах уже зажигались огни... В примечаниях к повести сказано, что ошибку заметили и пытались её как-то объяснить. Весьма, впрочем, натянуто и неубедительно. Мне же представляется, что эта ошибка сделана автором сознательно, потому что в ней самая суть, самая глубокая печаль повести заключена. В отношениях главных героев Лаптева и Юлии Сергеевны точно такая же ошибка, «несостыковка» получилась в конце концов, как с темнотой и огнями в первой фразе.

В начале повести Лаптев страстно любит Юлию Сергеевну, а она его нет. В конце же повести, через три года, она признаётся в том, что полюбила его, а он чувствует, что не любит её уже. Вот и могла бы состояться взаимная любовь, но не состоялась. Нередкий у Чехова случай, словно рок какой-то тяготеет над его героями в этом смысле. Всё мимо да мимо...

* * *

Всю жизнь чего-то ждёшь. Глубинным таким, глухим, полусознанным ожиданием. То ли любви какой-то особенной, ещё не бывалой, то ли дружбы с таким душевно-духовно близким, мудрым человеком, который вполне

понимает то, о чём ты только догадываешься; то ли вещи, которая внезапно напишется и будет удивительно хороша... Ждёшь да ждёшь, вплоть до старости, но ожидание теперь иное, знобящее какое-то, как на холодном ветру. И осознаешь вдруг однажды — вот её ты и ждёшь теперь, смерти, сам себе в этом признаться не решаешься...

И странно, такое новое ожидание и утяжеляет, и облегчает жизнь одновременно как-то. Утяжеление вполне понятно, но облегчение? А потому оно, что в любой тяжкой, мучительной и, кажется, неразрешимой ситуации, обязательно мелькнёт с облегчающей надеждой: о н а-то не за горами, придёт и всё разрешит мгновенно...

* * *

«Этот синий и заплаканный лёд» — строчка из стихотворения Иннокентия Анненского. А мне всего стихотворения и не надо, вполне хватает этой строчки много уже лет. «Заплаканный лёд» — удивительно и так понятно. Никто, пожалуй, так много о тоске бытия не писал, как Анненский. Тоске до слёз. Потому и лёд у него «заплаканный» получился...

Почему, о чём тоска? Поводы, причины внешние самые разные, а в самой сути о Боге тоска, о близости к нему, страстно желанной. Или о Богооставленности вдруг...

* * *

Конец октября, а снег сыплет крупный, сухой, густой, совершенно зимний. На остатки листьев жёлтых на деревьях в саду, и зелёных ещё вполне, на кусты сирени в палисаднике. Глянул в очередной раз в окно — и сойка в тот же миг явилась, закачалась на ближней, руку протянуть, ветке, с зеркалацем своим изумрудным, блестящим на боку даже в такой снегопад. Красавица! Посидела бы подольше, только б кричать-петь не начала, не заскрипела бы, как тележное немазаное колесо...

* * *

Боль о безвременной смерти (гибели) Пушкина, жива до сих пор и останется, пока будет Россия. И она не только о том, что он мог бы ещё сделать, но и о том, как бы он жизнь, достаточно долгую, прожил, лет до семидесяти, скажем. Как бы жил в быту, семье и обществе, как бы менялся с возрастом, какие бы оценки событиям важным, социально-политическим, делал?

Оценщик он был несравненный, точный и глубокий, далеко превосходя в этом профессионалов-политиков, дипломатов, экономистов... Одна его оценка тогдашних Соединённых Штатов Америки в статье «Джон Теннер», чего стоит, не устарев до сих пор жизнь! Кажется, порой, что и отдельным людям, и даже целым поколениям жить было бы легче, путь правильный выбрать проще, если бы жизнь Пушкина оказалась долгой и известной современникам и потомкам во всей возможной полноте. Освещения бы прибавилось, и свет был бы верней направлен...

* * *

Самые первые слова, которые правнучка Анята стала говорить, — *мама, papa, баба, дед*. У большинства детей, наверное, так. Стали мы ждать от неё слов иных, посложнее. И наконец дождались: *сосиска* и *звезда*. Надо же! И самое земное, и самое небесное одно за другим. Случайность, конечно. А вдруг и нет?..

* * *

Сегодня исполнилось 55 лет нашей с Ириной общей жизни.

«Расписались» мы в Харькове, где училась Ирина, а я из Воронежа приехал и друга с детсадовских ещё лет привёз с собой, в свидетели. Вторым свидетелем тоже друг был ближайший, учившийся в Харькове. Мороз помню редкостный, тёмно-красные стены ЗАГСа, потом застолье малолюдное и недолгое. Помню, что как-то тяжело было на сердце, хотя женились мы по обоюдной и долгой уже любви. Невозможно было тогда ни представить, ни предположить даже, что совместная жизнь и любовь наша продлится на такой чудовищно большой срок! И даже сотрудничество тесное — вот пишу сейчас, а на столе рядом ноутбук и рукопись лежит, которую жена как раз перепечатывает...

Ирина была по-новому как-то красивой в тот сказочно далёкий день, в чудесном вишнёвом платье, а я в чёрном нескладном костюме и чёрной рубашке. Чёрный человек такой...

Назавтра в ночь, при сильнейшем морозе, уехали мы на автобусе в Курск. А оттуда домой, в наш родной, общий Тим.

Вспоминается обо всём этом так много, что в растерянность впадаешь — что выбрать? А лучше всего написанным и ограничиться, остальное же оставить при себе. Да и вообще, дела интимно близкие трудно, а порой и невозможно записывать. Не потому что неловко, совсем нет, а потому, что записанное и тем более опубликованное, словно бы оставляет тебя, уходит куда-то. Эдак, глядишь, можно и голым на холоде себя в конце концов почувствовать...

* * *

Слушал как-то давно стихи на литературном семинаре в Смоленске.

Средненькие были стихи, но одно запомнилось из-за единственного, поразительного слова...

...Война, два наших солдата ведут пленного — молодого, здоровенного немца, который вдруг бросается бежать в совсем не подходящем для побега месте. И тут в стихотворении дана реакция нашего солдата-старшины: «Дурак, — сказал он тихо и неохотно поднял карабин».

Сколько же всего стоит за этой реакцией и особенно за словом «неохотно»! Всё отдай и мало, как говорится...

И ещё, похожее, вспоминается, и тут я даже автора знал хорошо — сибирик Михаил Щукин. Читал он перед небольшой аудиторией рассказ про жизнь простецкой женщины с мужем, агрессивным во хмелю алкоголиком. Долго прожили. И она всё терпела да терпела такую жизнь по русскому

обычаю. И вот муж неожиданно, «на ходу» умер. Дальше всё, как и быть должно — похороны, плач, причитания по умершему. А на другой день вышла она из дома рано утром, осмотрелась и вдруг почувствовала, что ей так хорошо, как давно уже не бывало в жизни.

Дальше оставлю авторскую, в точности, фразу, два слова всего: «Она испугалась». Вот это деталь психологическая, вот это глубина, вот это ёмкость! Тоже — всё отдай и мало...

* * *

Новый идол к нам не так и давно явился и царствует — деньги. А мы, люди русские, в большинстве своём не способны ему верно служить и для него жить. Кто-то, счастливцев, к вере пришёл и на ней укрепился, а остальные в растерянности и угнетённости душевной живут, не зная, как устоять, за что ухватиться...

Отчасти поэтому, думается, недавний юбилей Владимира Высоцкого так широко, так разнообразно был отмечен. Не за что держаться, так хоть за Высоцкого! А он и сам в конце жизни еле на ногах стоял, пока не упал и не умер в присутствии друзей и врачей. Спасти его было вполне просто — и ухитрились не спасти. И никто за это не ответил.

В оценках же его творчества во время юбилея — «гений, великий поэт» — чувствовался очевидный привкус помрачения рассудка у оценщиков. Да он и сам, пожалуй, испытал бы ошеломление и стыд, если б услышать такое мог...

* * *

Есть в космосе пары звёздные — когда звёзды вращаются вокруг друг друга, и астрономы называют это «танец звёзд». Вполне трогательно и мило. Так и «танцуют», понемногу сближаясь, пока не столкнутся и не сольются. И если звёзды эти по составу «нейтронные», то происходит взрыв, космическая катастрофа, крупнейшая из всех известных: всё вокруг испепеляется на громадном, даже по космическим меркам, расстоянии.

Когда узнал про такое, то мелькнула вдруг диковатая мысль, что всё это любовь человеческую, внезапную и сильнейшую, напоминает, со всеми возможными, роковыми последствиями. И «танец», и сближение-слияние, и взрыв, и рухнувшие семьи, и гибель кого-то из участников события, а то и нескольких.

И было в этой мысли странной, мягко говоря, что-то неожиданно приятное. А именно то, что о связи, о единстве всего со всем в мире она говорила, а такое душе всегда близко и дорого...

* * *

Как много любви в трёх великих романах Толстого, с какой мощью написана она, а вот сторона её эротическая и тем более сексуальная, не затронута почти совершенно. Понятно, что нравы и правила были другие, цензура строгая существовала, но мне, кажется, что, имея теперешнюю свободу в показе интимной стороны любви, Толстой вряд ли бы ею воспользовался.

По чутью великого художника, которое удержало бы его руку именно потому, что «откровенность» не усилила бы, а снизила впечатление, производимое на читателя, сценами любви. Лёгкое касание, штрих малый и точный дают гораздо больше. Вот одна лишь «эротическая» фраза из «Анны Карениной»: «Ещё оставалось три часа, и воспоминания подробностей последнего свидания зажгли ей кровь».

Зажгли кровь... Какая сила, какая глубина, какая правда! И какая при этом чистота!

А вот нечто противоположное сказанному выше. В «лихие» девяностые прошлого века показывали по одному из общедоступных телеканалов (РЕН ТВ, кажется) картинки из американского журнала «Плейбой»: обнажённые женские колени, а потом, день за днём, разводящиеся чуть-чуть пошире. Замысел был такой у авторов по поводу юбилея открытия Колумбом Америки: разводить и разводить колени с таким расчётом, чтобы ко дню юбилея они оказались разведены предельно. Вот-де, Америка открыта, и тут же открыта вполне женская промежность со всеми её прелестями. Любуйтесь, дорогие читатели и зрители!

Смелость и оригинальность «проекта» были очевидны — как не полюбоваться?! Вот я и любовался время от времени, но однообразие пейзажа быстро надоело — всё те же «усики» вертикальные, аккуратно подбритые в основном бросались в глаза. Скучно всё это, господа авторы игривой этой затеи. Тут именно вы и промахнулись — скучно...

* * *

Ехал я молодым лейтенантом медицинской службы к первому месту этой самой службы. Средний Урал, ноябрь, за окном серые, пологие горы в редком мелколесье. Тоскливо и на душе, и за окном. И вдруг объявление: «Следующая станция — Сан-Донато!» Как, откуда? То ли почудилось, то ли не расслышал толком... Вот и остановка, которую ждал с интересом и нетерпением, и над входом в вокзал точно: «Сан-Донато». То шли всякие «Забойные» и «Перегонные», а тут... Тут словно райская какая-то птица спустилась с небес и присела на серый пригорок среди чахлах сосен. Сан-Донато! Я даже приободрился и повеселел, когда прочитал это лёгкое, летящее, тёплым далёким морем пахнущее слово.

Объяснилось же всё, как и бывает, вполне просто. Потомок знаменитых уральских промышленников Демидовых жил в Италии и купил сам себе титул — «князь Сан-Донато», а станцию назвали таким словом, для нас сказочным, потому что он владел этим местом.

Удивительно и хорошо всё-таки, что есть такая станция на суровом заводском Среднем Урале. И меня она порадовала — подбодрила и ещё многих других людей, впервые проезжавших мимо. Это как маленький милый нечаянный подарок получить в пути.

Прогуливал, скорей всего, князь Сан-Донато остатки наследства великих предков своих, но какая-то частица этого всё-таки в полезное людям дело пошла, да ещё так надолго...

* * *

Всё чаще в последнее время говорят о профессиональном «выгорании». Это когда человек начинает делать своё дело формально, стереотипно, без эмоционального, душевного участия. Касается это довольно многих и наступает в разные, у каждого свои, сроки. Лет через семь-десять после начала работы в среднем. Это неприятно и тяжело и для самого работающего, и делу вредит. Стоит представить себе равнодушно работающего врача или учителя, и всё станет ясно...

А недавно даже патриарх Кирилл об этом самом «выгорании» заговорил — у священнослужителей оно тоже проявляется. Сразу отметил неточность некоторую термина «выгорание» в этом случае. Сказал, что тут скорее надо иметь в виду усталость, уныние, ослабление веры, вплоть до потери её. И меры принимать — от помощи духовника до вещей вполне житейских: отдыха, улучшение быта и т.д.

Вот тут-то я впервые вполне и почувствовал, что священники — всего лишь люди и что сан не защищает их от слабостей и грехов человеческих. И сложность, и тяжесть их служения сочувственно представил тоже. Бремя, которое надо нести всю жизнь.

А «выгорание», что ж... Всё выгорает, даже звёзды... И бороться с ним необходимо, пусть и без надежды вполне его победить...

* * *

Год назад погибла в сбитом террористами самолёте «доктор Лиза». И передача по ТВ была: «Год без доктора Лизы». Хороший заголовок, правильный: то мы все жили с доктором Лизой, а теперь вот живём без неё...

Начало её пути славного, истинно христианского, хорошо помню — первый автобус, в котором кормили на московских привокзальных площадях бомжей и отвозили желающих в «ночлежку». Ясно так тогда представилось, что вот дело из самых, может быть, нужных и важных, которые были тогда в нашей, великой и огромной, стране...

А по ходу передачи, где доктор Лиза была показана много и разнообразно, подумалось, что дар сострадания и стремление помочь ближнему от рождения, от Бога даётся, точно так же, как всякий иной дар, талант. И является самым главным...

В жизни, работе и даже смерти доктора Лизы есть что-то от промысла Божьего. Сражалась она за добро на житейском поле брани, пока не погибла «за други своя...».

* * *

«Есть время обнимать и время уклоняться от объятий». Эклезиаст. Различать надо — какие объятия? Одни от тела, другие от духа. Первые иссякают с годами до исчезновения, а вторые лишь крепнут, удерживаясь до конца. И от них не уклониться, если бы и захотел...

* * *

Сцена из американского фильма (названия, к сожалению, не помню): двое сидят рядом в шезлонгах у моря, беседуют мирно. Один старик — миллиардер, знающий, что скоро и неизбежно умрёт. Второй, молодой сравнительно, и по всему судя далеко не бедный.

Вдруг старик, после долгой паузы, говорит так, примерно:

— Сможете съесть кусочек моего дерьма за очень хорошие деньги?

— Что за бред?! — восклицает молодой. — Да как вы можете!..

— Успокойтесь. Я ведь вам сделку предлагаю всего на всего. Пятьсот тысяч.

— Перестаньте, или я уйду!

— Не уйдёте. Миллион.

Молодой встаёт...

— Десять миллионов!

Молодой долго стоит, молча, потом говорит негромко и как-то безразлично:

— Сто.

Старик хохочет и кричит сквозь хохот:

— Ну вот мы и узнали вашу истинную цену! И я, и вы сами! Хорошая цена, одобряю, но столько не дам. Да вы садитесь, садитесь, поторгуйтесь для порядка...

Диалог далеко не дословный, разумеется, но за суть его ручаюсь. И очень она американская именно, эта суть. Хотя есть и иное в Америке, прямо противоположное.

«И только позор хуже небытия». Фолкнер. А какая у него Нобелевская речь потрясающая! Истинный гимн несокрушимой стойкости и мужеству человека...

* * *

Японский художник Мураками сказал в интервью, что хочет и ищет пустоты в душе, даже создать её как-то пытается. Думает, что пустота поможет и продвинет его в работе. Очевидным представляется обратное: полнота души — творчества источник. Так бы я и посчитал его, Мураками, чудачком, мягко говоря, если б не узнал недавно, что современная физика считает пустоту не существующей в природе. Просто мы не можем пока нащупать содержание этой «пустоты». А Мураками, выходит, интуитивно на это вышел.

И ещё пример близкий. Средневековый богослов Николай Кузанский, создатель теории «умудрённого незнания», считал, что истинное знание достигается именно через незнание. Такой парадокс: зная, мы не знаем, а вот не зная, знаем как раз.

Заумь всё это, так может показаться, но останавливает много раз пережитое: бесплодная попытка понять что-то, для тебя очень сложное. И вдруг это понимание приходит, когда ты уже и попытку свою оставил. С таким притом ощущением, что ты это понимание вспомнил просто-напросто. Знал когда-то давно, забыл, а теперь вот и вспомнил...

* * *

Возраст, благоприятный для поэзии, не только молодость, но иногда и старость. И бытовуха, и всякая иная работа отходят понемногу, а пора ухода из этого мира приближается. Время прощанья всяческого настаёт. Вот оно-то и оживляет, и подпитывает поэтическую жилу в душе. Не у всех поэтов, разумеется, но у некоторых совершенно явно. Твардовский — яркий тому пример. И это проявилось у него рано, задолго до старости календарной, лет с пятидесяти примерно. Последняя его прижизненная книга «Из лирики этих лет» — очевидный тому пример. Правильный ход жизни, сопровождаемый стихами: сначала знакомство с миром, а потом прощание с ним...

* * *

Совершенно ни на кого не похож Андрей Платонов. Может показаться даже, что до него и писателей-то не было, что он первый начал славное это дело...

Сама фактура текста поразительна, слова отдельные, сочетания слов, фразы, наконец. Тут и нелепости, на первый взгляд, и «забубённость» какая-то непролазная... А вот застрянешь в таком «забубённом» месте, призадуматься над смыслом его, и оказывается этот смысл бездонным. И пять минут можно думать, и пятнадцать, а дна нет как нет. И понимаешь, не умом даже, не опытом своим и вкусом, а всем как-то существом — гениально! Да он, по посильному моему разумению, из всех русско-советских писателей, единственный гений и есть. Вот Шолохов, автор «Тихого Дона», несомненно, великий писатель, но чтобы гений — нет...

И ещё удивительно, что сразу после чтения Платонова, читать другого, даже вполне добротного, писателя почти невозможно. Надо подождать хоть немного, чтобы «послевкусие» платоновское потускнело, ушло. Иначе почувствуешь, что только вот пил ты прекрасный напиток — терпкий, крепкий, обжигающий, а перешёл на кисленькое винцо...

* * *

Когда работа не идёт, и, помучившись, бросаешь её на какое-то время, а порой, кажется, что навсегда, то на душе, конечно, тяжело, скверно. Но ведь и окружающий мир при этом тоже представляется изменившимся — мельчает как-то, отдаляется, пустеет, холоднее...

У большинства пишущих, наверное, так, только выражено по-разному, в меру натуры и дарования. Гигант Лев Толстой записал в дневнике, что когда он перестаёт писать, то ему кажется, что всё в мире остановилось. Вот тут уж, хочешь не хочешь, а пиши. Надо же ход миру вернуть!..

* * *

В девяностые годы особенно, но иногда и теперь слушаешь-посмотришь по ТВ на «толковище» политологов, политиков и политиканов да Пушкина и вспомнишь: «О, люди! Жалкий род, достойный слёз и смеха...» Но ведь и он, Пушкин, к этому «роду жалкому» принадлежал, вырываясь из его

«жалкости» лишь в минуты и часы вдохновения творческого. Как и все истинные художники в широком смысле этого слова...

* * *

Недавно вышла глубокая и очень нужная книга профессора Московской Духовной академии Алексея Ильича Осипова «Время и вечность. Посмертная жизнь души». Самой в ней важной мне представляется глава «Христос — спаситель всех человеков». В ней говорится о давнем-давнем разногласии среди Святых Отцов Церкви о том, кто окажется спасённым на Страшном суде: все покаявшиеся люди или лишь избранные? Перечисляются сторонники спасения всех покаявшихся. Св. Исаак Сирин, Ефрем Сирин, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Богослов, Иоанн Златоуст, Максим Исповедник и другие. Списка сторонников спасения лишь избранных нет, но, судя по тексту, их никак не меньше.

Поразительно, что обе точки зрения сосуществуют и сейчас в Православной Церкви. И выраженной борьбы между ними нет. Так, во всяком случае, показано в книге. Хотя вопрос-то важнейший, всех верующих людей касающийся живо. Ведь даже раскол Церкви Православной произошёл по причинам, гораздо менее значительным. Почему так? Могу высказать лишь догадку посильную: посмертная судьба души может лишь угадываться, предполагаться даже Великими Отцами Церкви, а двуеперстие или троеперстие — вот оно, в руке каждого христианина. На кону стоит, если можно по такому поводу так выразиться...

* * *

Кутивший рядом молодой сравнительно парень вдруг спросил о смысле жизни. С маху спросил и как бы со злинкой. Ответил ему, что надо любить кого-то или хотя бы что-то. Иначе всё не имеет смысла. Парень помолчал угрюмо, буркнул «спасибо» и ушёл.

Не впервые такое-подобное, седая борода моя провоцирует на вопрос, что ли? Или всё больше становится людей молодых и бездорожных? Тыкаются во все стороны, как волки зафлаженные, только вместо флажков везде обозначено: деньги, деньги, деньги... Вполне можно очуметь до обращения о помощи к случайным людям. А кто тут способен помочь? Церковь разве...

* * *

Уходят, уходят один за другим друзья-врачи, друзья-писатели, и с каждым уходом кажется, что в мире становится чуть темней. Светила душа каждого, как могла, по-своему — и для других, и для меня. А замены этому нет, да и быть уже не может...

* * *

Запись позднего Толстого в дневнике: «Вспомнил Аксиныю, её сильное тело. Где теперь оно?» В земле, на кладбище... Ответ, казалось бы, вполне

исчерпывающий, но нет! Остаётся в этом вопросе гения или ребёнка нечто безответное, тайное, глубочайшее...

* * *

Не вполне понимаю большую тревогу многих людей перед возможным «затягиванием поясов». Самому пришлось на долгом веку не раз переживать такое. И ничего эдакого уж страшного в этом я не находил. Ну, еда похуже, ну, с одежкой потрудней, ну, отказываешься вообще от чего-то... Ну так и что же? Получается нечто вроде поста такого расширенного и очень долгого. Кое-что, да и нередко, бывало даже на пользу. А когда приходила такая «тугая» полоса, то вспоминалось чаще всего с интересом и даже удовольствием. Больше того! Думаю и даже почти уверен, что если бы вдруг, внезапно и одинаково для всех-всех, жизненный уровень упал бы существенно или существенно вырос, то это было бы не очень-то для людей и важно. И малозаметно, кстати. А через какое-то небольшое время перемену такую забыли бы просто-напросто. Что-то во всём этом очень русское есть. От привычки и тренировки, что ли?

* * *

У друга Циолковского умер сын. Тогда он и сказал ему, желая помочь, утешить в горе: «Приходи вечером, будем смотреть на звёзды». Вот это утешение космосом! К тому же он верил в «живой атом». В то, что, умерев, мы превращаемся в эти самые, «живые атомы», которые когда-нибудь, через громадное космическое время, вновь могут соединиться, образовав наши прежние, живые, тела. Вот такое материалистическое, космическое бессмертие получается...

* * *

Вышел из своей комнаты в общую и увидел незнакомую старушку, вставшую навстречу. Подошла вплотную, в глаза посмотрела живыми, молодыми совсем глазами. Мучительное чувство неспособности узнать человека, очевидно и давно знакомого, дрогнуло во мне...

— Не узнаёшь? Лиля...

Обнял её, бормоча что-то виноватое. Но ведь и полвека почти разлуки не шутка...

Вскоре, в застолье, она рассказала, что долго жила в Сибири, в районе реки Подкаменная Тунгуска, чтобы заработать денег на жильё. В школе литературу преподавала. Вообразил я эту Тунгуску, глушь даже для Сибири, да зимы бесконечные, да морозы страшные... Но ведь выдержала, выполнила задачу и жильё в Подмоскovie купила. Теперь по-прежнему преподаёт литературу в школе, в старших классах, а ей ведь за семьдесят. При теперешней школьной жизни и нравах дело, близкое к подвигу! В разговоре спросил, к слову пришлось, есть ли у неё среди учеников прозвище, как

часто бывает. Оказалось, есть — «мадам». Это в её-то годы! Подумал, что, по одному этому прозвищу судя, ученики её уважают, а то и любят.

Вспоминали много, конечно, особенно школьное. На два класса она от меня отставала. Но общались всё-таки, уж очень она была жива, умна и мила. И такие подробности мельчайшие всплыли во мне вдруг. Как читала она лермонтовское стихотворение в летней, густой темноте со строчками: «В душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит». И так меня это тогда поразило: малявка, а такое помнит! Вспомнил и её чтение чеховского рассказа «Супруга» на каком-то празднестве в клубе. Удивительно прочитала, без намёка на обычную в ту пору декламацию. Совершенно просто, словно историю какую-то свою рассказывала подруге. И люди почувствовали и оценили эту доверительность необыкновенную. И аплодисменты ей выдали на редкость...

Уезжая, пообещала наша «мадам» ещё приехать, да вот что-то нет её и нет. А ведь поторапливаться в наши годы надо, можно и не успеть...

* * *

Есть у Бунина дневниковая запись о том, что ему, перечитывая в очередной раз «Анну Каренину», иногда хочется поправить, «улучшить» толстовский текст. Странное желание, если не сказать жёстче. Хорошо представляешь, как и что стал бы он «правлять». Многословие, длинноты, корявости и нескладности текста. И, конечно, не улучшал бы его, а портил, потому что во всём перечисленном некая глубинная суть толстовского текста живёт, художественность его, совершенно особенная, поразительно и неповторимо естественная, простая и могучая.

Подумал об этом, перечитывая «Идиота» Достоевского. Как прекрасно написано начало: вагон, разговор князя Мышкина с Рогожиным, посещение Епанчиных. И как сумбурна, тесна, тяжела для чтения середина романа! Вот тут, пожалуй, Бунину нашлась бы работа, но такое ему, разумеется, никогда в голову не приходило и не могло прийти. Уж очень он его, Достоевского, не любил. Да и понятно, антиподами они были как художники, да, пожалуй, и как люди...

* * *

Двухлетняя правнучка Аня в детском саду пробыла уже неделю, и ей там нравится, не плакала даже ни разу. Когда узнал такое, что-то меня странно царапнуло. Вспомнилось, как я, пятилетний уже, попав в детсад, проплакал целый день безутешно. Слабак что ли был такой никчёмный? А, может, дело в том, что у неё к людям разным, обществу, хоть и малому, привычка есть, я же четыре военных года и ещё год лишь с матушкой и тётушкой в глуши, в хуторке крохотном провёл — вот и не было привычки к другим, посторонним, людям. И играть привык одиноко, и в окрестностях хаты нашей бродить. Как в скиту монастырском жил, потому, может, многолюдье детсадовское так меня и ошарашило. Дитя войны, даже и в этом смысле...

* * *

Умер от инсульта наш поэт и краевед Виктор Пухов. Хорошо умер, на девятом десятке, и быстро. И очень его жаль, добрый и уютный какой-то был человек. Боровск свой родной очень любил. «Древности», как он говаривал, собирал всю жизнь. Мечту имел заветную и тоже чем-то уютную: сокровища Наполеона, брошенные им по легенде при отступлении из Москвы, найти где-то в окрестностях Боровска. Были у него для этого какие-то тайные «наколки». Да и не одна мечта была, было и дело — хаживал в «поле» с лопатой и киркой, как геолог заправский.

Бывало, встретишься с ним и спросишь, подмигнув: «Не нашёл?» «Пока нет», — отвечал он серьёзно.

И вот, не только его жаль, но и мечты его тоже. Уж очень было трогательно-мило...

А вскоре после Пухова ещё смерть — поэта и издательницы Нины Смирновой. Тоже от инсульта и всего-то в шестьдесят лет. Энергии она была поразительной, фонтанировала просто ею и брызги до окружающих долетали. Как-то встретились, она и говорит напористо: «Ты должен гениальный роман написать, а я его издам. И название дарю: «Золотое руно». Вот вспомнил, и хоть слезу роняй...

* * *

Как сложно и мучительно живут и противоборствуют в человеке вера и неверие! Поэзия Тютчева — особенно яркий этому пример. Есть стихи, не оставляющие сомнения в том, что автор человек верующий, но нередко есть и иные, прямо противоположные: «Мужайся сердце до конца, и нет в творении Творца, и смысла нет в мольбе». Вот и живи, мучаясь, между такими крайностями, как хочешь и как можешь...

Было нечто подобное и в Чехове, но гораздо мягче и спокойней. Вот в одном из писем: «Между верой и неверием лежит огромное поле, которое всю жизнь переходит истинный мудрец». Переходит, но доходит ли до цели своей конечной, вот вопрос.

Двойственность такая, на мой взгляд, касается очень многих, если не большинства...

* * *

Первый свой рассказ «Весной» я написал лет в восемнадцать. О леснике, который не захотел умирать в больнице, а ушёл к себе в лес, чтобы там и умереть — на воле. Странноватая тема для первого в жизни рассказа, что ни говори. Но ведь и второй был о том, как умирает от жажды человек, заблудившийся в знойной пустыне. И третий о смерти, только не человека, а дерева. Меня самого такое сгущение смертей не смущало, да я его как-то и не замечал. Писал, о чём хотелось, — а выходило вот так...

И первая повесть — «На этой земле» — была о смерти старого сельского врача, опубликованная в журнале «Нева» и перепечатанная потом в «Роман-газете».

Потом смертей стало поменьше, так, примерно. Как и в жизни самой. Нормально, даже можно сказать — правильно...

А вот годам к семидесяти пяти повышенное чувство смерти вернулось, но не в работу, не в тексты мои, а ко мне самому. Словно поселилось что-то тёмное, тяжёлое где-то неподалёку, вроде тучи небольшой на горизонте. Не обращаешь на неё внимание, и вроде нет её, а обратишь, посмотришь — висит и словно бы черней и ближе стала...

Не очень-то она, тучка эта, меня и беспокоит, но ведь висит, висит! Что ж, пожалуй, и это нормально и правильно. В молодости смерть интересует как тайна, загадка и угроза дальняя, а в старости становится частью жизни самой. Той самой «памятью смертной», которая и должна у человека быть...

* * *

Не так и давно исполнилось сто лет со дня рождения моей матушки. Лежит она на прекрасном кладбище, на самом краю, над речкой нашей чудесной Калужкой. Лучшего места нет и быть не может. Я уже вплотную придвинулся к возрасту материнского ухода и, глядишь, лягу рядом с ней.

Мысль горьковатая, но и отрадная тоже. На любимом месте последние полвека жил, на любимое место и в землю лягу...

Матушка была человеком редчайшей, истинно христианской доброты и любила всех людей подряд. И её все любили. А как умерла, так с тех пор вину свою перед ней и чувствую. И даже не за огорчения немалые, которые ей доставлял порой, а за недостаток внимания и заботы в самом простом, житейском смысле. Что делать, все мы задним умом крепки...

* * *

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? Но жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идёт, и плачет, уходя.

Афанасия Фета стихи — и непонятные, и гениальные одновременно. Что за «огонь» такой, по сравнению с которым и самой жизни не жаль? Сколько ни думай, но ничего, кроме огня любви или творчества, не придумаешь. Выберем любовь, конечно. Но как же её жизни предпочесть можно? Без жизни и любви быть не может. Не находится ответа, а стихи всё равно гениальные. Тут сердце решает, а не рассуждения головные...

* * *

Пришвин считал главным своим произведением «Дневник», который писал всю жизнь. Вот он и издан наконец — в 18-ти томах! Самый большой, наверное, не только в русской, но и в мировой литературе. Да и по содержанию, глубине мысли один из первых, конечно. (Пришлось из него большие отрывки читать.)

Узнал я про это по радиопередаче и запомнил дословно приведённую из «Дневника» фразу: «Я уцелел потому, что сохранил личность и знал, что жизнь прекрасна». Массовые репрессии и гибель при них многих и многих писателей имел он в виду, конечно.

А ведь был близок к тому, чтобы покончить с собой — уйти в лес, лечь в глухом месте и умереть. Есть такая запись в «Дневнике». Удержался же от этого, на мой взгляд, по той причине, что именно «з н а л , что жизнь прекрасна». Вот если бы он такое не знал, а только чувствовал, то мог бы и не удержаться. Потому что «знать» — это твёрдо и постоянно, а лишь чувствовать — зыбко и переменчиво. Сегодня жизнь хороша, а завтра вдруг такова, что лучше из неё уйти...

* * *

Олимпиада в Южной Корее, на арене женщины-фигуристки. Объявили нашу Евгению Медведеву, а комментатор добавил, что она выступит в роли Анны Карениной. В костюме у неё кое-где чёрные полоски и клочки траурного такого вида.

Вот замерла она в центре арены, и тут же вместо музыки раздаётся типичный, громкий, вокзальный шум. Укалывает догадка, что это обозначает станцию Обираловку, где Анна закончила свою жизнь, бросившись под поезд. Потом, после шума, музыка могучая и трагическая и танец Жени потрясающей, отчаянной силы и красоты. Прекрасно так, что дышать перестаёшь. Вот последний прыжок Жени, вот она замерла — и тут же гудок паровозный, страшный — и Женя роняет голову на грудь. Всё кончено...

А потом, через мгновение полной, знобящей тишины, овация обвальная. Плачет Женя, плачет великий тренер Тарасова, плачут зрители... О чём? О том, что жизнь прекрасна и ужасна. Ужасна и прекрасна...

2018 г.



Вадим Терёхин

Вадим Фёдорович Терёхин — поэт, сопредседатель Союза писателей России, член координационного Совета международного поэтического движения «Мир без стен» (WWW), вице-президент Международной академии русской словесности (Москва), член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург), действительный член академии Российской словесности (Москва), действительный государственный советник II класса Калужской области. Родился в 1963 году в п. Песоченский Тульской области. Окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала артиллерии М. Н. Чистякова и Литературный институт им. М. Горького. Печатался в журналах «Наш современник», «Аврора», «Русская провинция» и других. Автор восьми книг стихов. Лауреат многих литературных премий. Живёт в Калуге.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ БЕЖИТ НА ПАРАХ

* * *

И когда повстречал я бомжа
На каком-то вокзале убогом,
Я подумал, что наша душа
Точно так же смердит перед Богом.

Бог не требует наших молитв.
Но лежу пред тобой распростёртый.
Это я — изнемогший от битв.
Это я — художественный и чёрный.

Это я — предъявивший права
И просящий пощады несмело.
Понимаю, что эти слова,
Может быть, наше главное дело.

* * *

Вот дожив до седин, наконец
Понимаешь, как грозно нависла
Над тобой безнадёга.
Пупец
Наполняется мощью и смыслом.

Понимаешь без всяких прикрас,
Как одно нецензурное слово
Поджидает любого из нас
И намного сильнее живого.

И тогда, выбиваясь из сил,
Лихорадочно ищешь спасенья
В тех, кого ты так сильно любил
И кто дан тебе для воскресенья.

* * *

Я решил, что я — Жар-Птица!
А Жар-Птице ни к чему
За любовь начальства биться,
Низко кланяться ему.

Тёмным силам потакая,
Всем начальство говорит:
Птица? Жар? Да. Есть такая.
Но не очень-то горит.

И, сказать, она не очень.
Светит тускло, хоть убой.

А у нас есть, между прочим,
Птица лучше — воробей.

Но и он по всем законам
В тщетном поиске огня
Светит светом отражённым,
Исходящим от меня.

Совещание молодых, 02.02.1993

Помню, помню, вижу, вижу
Как в далёком феврале,
Нам читает Боря Рыжий
Вирши, стоя на столе.

За окном ночная замять,
И вокруг полно тоски.
Только врезались мне в память
Бори белые носки.

Он пацан лихого сорта,
Полон жизни и огня.
Гневно просит: «Дай мне в морду!» —
Захмелевшего меня.

Я бы дал бы, чёрт с тобою!
Но, нарушив этот план,
Нас восточной красотой
Примириет Диана Кан.

Время сгнуло куда-то.
Тихо сводит нас с ума
То, откуда нет возврата,
Ни открытки, ни письма.

* * *

Нипочём непогода
Жениху и невесте.
Тридцать лет и три года
Мы вместе!

Мы не падали духом
В мире скорби и горя,

Как старик со старухой
У моря.

На любой распродаже,
Даже если разбито,
Мы держались за наше
Корыто.

И без помощи рыбки,
Как-то сами собою
Стали наши ошибки
Судьбою.

* * *

Распласталось сине море.
Бесконечность и тоска.
Это счастье или горе
Быть женою моряка?

Вслед смотреть волне белёсой.
Знать, что там, на корабле,
Море почитают прозой,
А не раем на земле.

Сознавать, что этим летом,
Вдруг покинув свой причал,
Между темнотой и светом
Где-то суженый застрял?

* * *

Помню, была ты девчонкой
Звонкой, как веточка тонкой,
Милой, хорошей, незлой,
Родом из маленьких птичек.
Мнилось: под взмахом косичек
Ты воспаришь над землёй.

Помню, была ты девицей
Нежной, такой белолицей —
Чище прозрачного дня,
Словно цветочная ваза.
Грудь, как горы Кавказа,
Так волновали меня.

Помню, как стала ты мамой,
Доброй, заботливой самой,
Солью родимой земли,
Верной заложницей чести.
И застывал я на месте,
Видя тебя издали.

Жизнь пронеслась, прошумела,
Дух вытесняя из тела
В мир зазеркальный, иной.
Что ж меня мысль эта мучит —
Время, где были мы лучше,
Ты провела не со мной.

* * *

Надеваем призрачные маски
В облике скупцов и негодяев.
В радуге разрозненные краски
Обрели непрошенных хозяев.

То, что одиноко и печально,
И казалось в век неискупимым,
В этом мире было изначально
Целым, многоцветным, неделимым.

Каждый хочет правды и участия,
Стать одной душой с единой кровью.
То, что в нас разорвано на части,
Вместе называется любовью!

* * *

Время жизни бежит на парах.
Понимая, что всем его мало,
Я хотел его высечь в словах,
Но оно от меня утекало.

Улетало под взмах птичьих крыл.
Уползало, как в щель черепаха.
Забирало, кого я любил.
И земля тяжелела от праха.

Равнодушное к каждой судьбе,
Проглотившее сонмы событий,

Время возит весь мир на себе
По своей предreshённой орбите.

Повторяет любое число
И летит по привычному кругу.
Вот опять часть меня унесло
В предосеннюю жёлтую вьюгу.

Для того ли нам послана Весть —
Объяснить проходящее мимо,
Что для каждого вроде бы есть,
Но для рук его неуловимо.

* * *

Я живу как росток от земли,
Подбираю, что миру негоже.
Делу рук моих благоволи,
Милосердный и Праведный Боже!

Сделай так, чтоб вернулся сюда
Улизнувший в бездонное небо
Добросовестный ангел труда
И принёс мне и соли, и хлеба!

И в бескрайний простор вострубя,
Мне вернул все былые надежды,
Чтоб рассчитывал я на Тебя
В трудный час этой жизни, как прежде!

* * *

Известно, что, придя в движенье,
По всем законам естества
В системе общего снабженья
Вода безвидна и мертва.

И ждёт спасения, доколе
Не образует в трубах течь.
Вода не может жить в неволе,
Как поэтическая речь.

Она подвижница течения,
Напора, скрытого в груди,
И из любого заточенья
Всегда пробьёт себе пути.

И если посмотреть на воду,
Примерить жалкий опыт свой —
Лишь вырываясь на свободу,
Вода становится живой.

* * *

Фонтан, обложенный камнями,
Твоя проточная вода
Стремится кверху и всегда
Востребована небесами.

Но в мире вечного течения
На землю падает назад
И образует водопад
По всем законам притяженья.

И я у Господа в передней
Слепым подобием воды
Стремлюсь достигнуть высоты
И каплей становлюсь последней.

* * *

Народ свергает монументы
Как будто бы в его судьбе
Гранит, охваченный цементом,
Виновен сам был по себе.

Как будто ждёт, что непременно
От боли, горя и тоски
Его избавят перемены
И эти битые куски.

И выбирая путь особый,
Непроторённый, новый путь,
Воздвигнет вновь источник злобы
Как памятник кому-нибудь.

* * *

Прости, Боже, нас многогрешных!
Известно о том наперёд —
Уверенных, смелых, успешных
Земля без остатка возьмёт.

Хотя и везёт им во многом,
И радостно их бытие,
Придётся предстать перед Богом,
Ответить за счастье своё!

* * *

Блажен, кто выстрадал немало!
И в этом жизни нашей соль —
Благотворящее начало
Несёт в себе людская боль.

Мир падший жаждет милосердия.
О том гласит благая весть —
В окаменелых муках смерти
Надежда на бессмертье есть.

* * *

Поэт не исчезает в вечной мгле.
Он остаётся в памяти заветной
И открывает то, что на земле
Простому взгляду было незаметно.

И если нам взлететь за облака
И посмотреть на контурные пятна,
Становится их жизнь издали
Иначе, чем обыденность, понятна.

Его теперь с тобою вроде нет,
Но, будь ты хоть последний забулдыга,
Стихами, источающими свет,
Твой мир перевернёт простая книга.

Она лежит на письменном столе,
Теперь играя роль ориентира
Для заплутавших в беспробудном зле,
Его вторая жизнь, как совесть мира.

И чтобы твой народ не взял суму,
И чтобы твой народ был ввек свободен,
Из чистого источника ему
Пошлёт поэта промысел Господень.



Вячеслав Некрасов

Вячеслав Михайлович Некрасов родился в 1957 году в городе Омске. Закончил ВГИК. Член Союза художников. Работы находятся в музеях России, в том числе в Государственной Третьяковской галерее. С начала 90-х жил в Петербурге, здесь и начал писать стихи. Автор поэтического сборника «Фарфоровая дорожка» и нескольких книг прозы. Член Союза российских писателей. С 2016 года живёт в Калуге.

ИЗ СБОРНИКА «СЕМЕЧКИ СИНИЧКАМ»

СНЕГОВАЯ ТУЧА

Вот эта туча точно снеговая. Непрозрачная — как будто с белилами или молоком. Растёт как гора. Настоящая гора. Завтра обещали снег...

Я стою в чужом саду, под пологом чёрных яблоневых крон — чёрных мелких веток. Поднял голову и почувствовал, как лица коснулся далёкий-далёкий-далёкий-далёкий, очень далёкий... инопланетный свет. Свет, вообщето, всегда инопланетный.

Надо мной — яркие (словно ёлочные игрушки) яблоки. Их много... и много лежит на земле. Тёмная земля, тёмно-красные яблоки. Уже плоховато видно. Но надо собирать. Наклоняюсь...

А вот и Толик (хозяин сада). Взлохмаченный, в короткой, лёгкой курточке, — вышел из зарослей, улыбается:

— С деревьев тоже снимай!

Я разгибаюсь:

— С деревьев это можно потом...

— Ну да-да... А мне они... как-то по барабану!

Улыбнулся счастливо, ушёл, гроыхнул дверями... потом снова выглянул и опять улыбнулся:

— Закроешь меня снаружи на замок? И палку только приставь! А завтра откроешь.

— А если задержусь, забуду?

— Ну и ничего.

Купил, видать, пузырёк. Сейчас ляжет, включит приёмник на кухне на полную громкость (он работает только в лежащем положении, и на нём всегда сушатся спички). Будет звучать «Танец с саблями» Хачатуряна или «Полёт Валькирии» Вагнера. Отдельные ноты будут вылетать за пределы

дома и с удивлением запутываться в ветвях и воробьях. Тёплые ноты, оранжевые... А на Толике будут сидеть коты и светить зелёными глазами. Рядом печка-трамвайка. Чуть греет, но...

И никто ему в этом состоянии не нужен. Поэтому и просит повесить висячий замок и приставить палку. Чтоб было видно издалека. Чтобы ни одна собака не подходила к дому. А у самого-то есть возможность выйти через чердак... Как, впрочем, и войти. Многое условно в нашем мире.

Опять наклоняюсь. Собираю в мешок. Коза будет очень благодарна за эти яблоки. Очень! А потом уже их нигде не достанешь — снег выпадет. Но... какое-то движение... Силуэт среди листьев... На первый взгляд, старый китаец. Престарелый учитель какой-нибудь по ушу. Круглое лицо. Треники. Ноги нетвёрдые. Куртка. Кепка... подходит ко мне... Нет, это женщина!

— А Толик дома?

— Я не знаю... Постучите...

Она начинает стучать, но... стекло местами разбито и затянато полиэтиленом. Густо. В несколько слоёв. А ещё скотч. Тоже не жалея. В результате получился некий шевелящийся от сквозняков, таинственный экран (или портал), в котором можно показывать мультфильмы о лондонских туманах, но в который стучать невозможно, как в небо. (Толик как бы хочет сказать миру: люди, будьте мягче, прошу вас! К чему эта жёсткость?)

— Не отвечает...

— А вы постучите не в стекло, а в раму. В раму.

— Точно...

Наклоняюсь к земле... Женщина стучит и удивляется одновременно краем глаза:

— Собирает что-то в темноте...

— Яблоки. Завтра снег обещали.

— А-а...

Постучала, походила вокруг... и исчезла. Постепенно... Сначала руки, потом плечи... потом голос... Ну кто тебе откроет? Наивная душа. Я поднимаюсь на свою горку. Дом Толика растворился среди веток без остатка... Деревья расплылись чернильными пятнами... Только по двум белым прищепкам опытный охотник может определить, что здесь где-то рядом затаился и дремлет (с ненужным яблоком или с нужной мокрой самокруткой в руке) человек...

Вдруг дверь Толика открывается — ах да, я забыл повесить замок! — он появляется на крылечке — в оранжевом свете, босоножках бывшей жены, трусах и меховом берете. Последний, так сказать, выход перед зимой.

— Муха! Муха!.. Кс-кс-кс-кс!.. Я закрываюсь!.. Последний раз зову!.. Возможен снег!.. Кс-кс-кс!.. Ну, ладно тогда!.. Смотри! Дело твоё!.. Потом не жалеи! Я десять раз предупреждать не буду, как некоторые тут!.. Ну и всё! Болтайся до утра! А я ушёл!.. Точно ушёл! Всё!.. Ушёл!.. А?..

Грохот... Дверь затворилась... Тишина... Если б была уверенность, что это точно последний выход перед зимой, может, он бы ещё что-то сказал миру... последний раз-то! Этим предзимним чёрным холмам...

Я сходил — повесил замок, приставил палку. Снова поднимаюсь на свою горку по её бурой, широкой шкурке. Как по чьему-то гигантскому (очень дружелюбному) плечу... Вот маленькая яблонька. Стройная! Тоненькая! Объела балда-коза чуть-чуть. Надо будет замазать варом...

У дома я почему-то обернулся... и понял... — все холмы, все дома и сады... да и весь тёмный воздух (высокий тёмный купол) Вселенной... — всё в маленьких-маленьких (не тронутых никем пока ещё) красивых снежинках... Они медленно опускаются на деревню. Надвигаются. На нас.

БУТЕРБРОДНОЕ ПОЛЕ

Коза Белка идёт со мной по полю. Голова на длинной шее у неё движется — направо, налево... Хвать цветок, хвать листок... Хвать жёлтую пижму, хвать розовый тысячелистник... Хруп-хруп... Только сливки. Только верхушки. Только самое вкусное.

Ноги короткие, крепкие. Коленки протёртые до жёсткой, чёрной кожи, до мозолей. Шерсть длинная, жёсткая. И редкая, так как — жара. Глажу её по острому хребту, но ей не до меня. Только отлетают шерстинки, светятся на солнце... Пух иван-чая проплывает мимо...

Хвать жёлтую пижму, хвать розовый тысячелистник... Выбирает что-то, различает... Интересно, а ведь, наверное, она очень отличает эти бесконечные вкусы...

Это, наверное, как для нас было бы... например... вот поле, и на нём на тоненьких, длинных соломинках качаются... бутерброды с колбасой сырокопчёной... вот, наклонились во все стороны — с краковской... вот, подалее, на холме, — с сыром Пармезан... вот островок Дор Блю, с голубой плесенью... вот, зашевелились, зашуршали под ветром рижские ржаные хлебцы, а ними — заросли бутербродов с икрой (здесь приостановимся)... красная, чёрная... Бутербродное поле, одним словом... И — никаких проблем при этом. И — ничего не знаешь о печали... О смерти...

И если так... А это, скорее всего, именно так... И рядом идёт существо — высокое, с длинной, увесистой палкой. Высшее существо. Словно ангел. Ты под его сверхнадёжной защитой. Этот своей палкой отдубасит любого! Шерстинки твои отлетают... взлетают вверх, светятся на солнце... Пух иван-чая проплывает мимо глаза (и в глубине глаза), задевая твои длинные, прекрасные ресницы... Расплывается в золоте бутербродное поле...

БУРУНДУКИ

Мужчина:

— Знаешь, когда я гуляю по холмам... спускаюсь на дорожку — реально холодно лысине. Поднимаюсь чуть-чуть — реально чувствую тепло...

Женщина:

— Шапку надо надевать!

Мужчина:

— Ну, это понятно, но как интересно всё-таки, ты подумай! Как мы зависим от солнца, как бурундуки какие-то или выхухоли, — два шага вниз и все... уже холодно. Два шага вверх — и, как черепашка на камешке где-нибудь в Караганде, греешься. А внизу... степь, заключённые идут по этапу...

Женщина:

— Шапку надо надевать!

Мужчина:

— Ясно.

ДЕРЕВНЯ СУШИТ ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ

Бабье лето. Деревня. Солнце до весны прощается со мной и с кошкой. И с птичками. Оно прогревает нас до самой-самой середины, и внутри начинает приятно и легонечко ныть... Кошка завалилась на спину и слегка ползёт вверх по траве, отталкиваясь задними лапами, открыв свой пушистый животик солнышку и миру.

Я тоже прикрываю веки и поднимаю лицо. Поворачиваюсь то одной, то другой стороной луны... Постепенно в голове становится светло. В глазницах светло. И пушисто. Свет заполняет всё изнутри...

Боковым зрением замечаю какую-то активность у соседей. Они выносят на крыльцо что-то... одежду, подушки... Видимо, чтобы прогреть перед зимой. Просушить, как следует. Смотрю — вывесили несколько чёрных бушлатов с золотыми пуговицами. Сын у них учится в мореходке. Смотрятся солидно и уютно. Добротно! Люблю морскую форму.

Вдруг вспоминаю, что у меня тоже есть один! Один бушлат! Остался на чердаке от прошлых хозяев. Маленький, как на ребёнка, но настоящий морской бушлат — качественный, с золотыми пуговицами!

Я сбежал — вынес его, отряхнул и повесил (на плечиках) — на яблоню, рядом с крыльцом... Красота!.. Солидность!.. Уют!.. Основательность!

А то ещё подумают, что у нас нет ни одного бушлата.

И представил вдруг фотографию в каком-нибудь журнале и подпись — «Осень. Деревня сушит чёрные бушлаты».

Соседям, я думаю, такая солидарность должна понравиться. Может, даже они меня полюбят, как родного...

ЖЕНЩИНА И НАТЮРМОРТ

Художник ставил натюрморты. Всё время. Не затем, чтобы их рисовать, а просто. Невольно. Он как бы осваивал окружающий мир — встраивая в него свой.

Жена часто уезжала в город, и приходилось самому убирать со стола, мыть посуду... На чистом столе оставались какие-то предметы, и он всегда ставил из них небольшой натюрморт. Не мог удержаться.

Стол круглый, раздвигающийся. Через него идёт разделительная полоса (на стыке двух половинок). Сегодня натюрморт такой... С той и другой стороны этой линии (этой бездонной! пропасти) симметрично стоят сосуды. С одной стороны они наполнены водой, а с другой — нет. Совершенно пустые. И в этом что-то есть. Определённо.

Женщина приходила внезапно, шумно. Много говорила, бросала на стол сумку, газеты, ключи, овощи... Она никогда не увидела ни одного натюрморта.

УТКИ И ПОЛИЭТИЛЕН

Тёмный вечер. Осень. Я вышел во двор подышать перед сном. Оглядеть деревню... Но — ничего не видно. Муть предзимняя.

Вдруг слышу (вернее, чувствую) какой-то скрежет... и сквозь него как бы автомобильные клаксоны... Звуки приблизились, накрыли... и вот стали ослабевать... А! Это утки!.. Утки улетают!.. И как низко! Прямо вот они... Крещу их наугад в темноту. Помогите им, Господи, всем долететь...

Ещё странный звук... Словно кто ползёт по земле. По короткой траве, застывшей, побелевшей. Что такое?.. Вот опять ползёт... Тьфу ты! Это толстая плёнка! Полиэтилен, задубевший от холода. Ползает, будто человек на четвереньках. Будто чего-то ищет...

Я подошёл и придавил его двумя кирпичами.

— Не ползай!

КУЛИНАРНЫЙ ТАЛАНТ

Она несколько дней не разговаривает со мной, и никто не знает почему. Интересно, а она сама знает?.. На улице сумерки. Начало или конец (или середина) зимы. Сыро... Фонари не светят — они светятся — розовыми детскими игрушками, повешенными кем-то для радости. И — этот климат не для меня...

Варю мускулистую, беговую курицу (кто её поймал?), чтобы идти к приятелю (здесь, через два дома) — посидеть с ним, попить вина (у него несколько 20-литровых бутылей странного вина), поговорить за жизнь.

Он считает, что у меня кулинарный талант... Кладу горячую ещё курицу в пакет, бросаю туда щепоть крупной соли (курица несолёная) и бегу семеню быстрыми шагами (и в этот момент почему-то явно представляется, что у меня кривоватые ноги в чёрных галифе и я — кавалерист, хотя это, конечно же, и абсолютно, не так). Тороплюсь между чёрных, мрачных домов...

Тороплюсь, кстати, ещё и потому, что последние пару дней в нашем конце деревни бегают огромный волкодав (алабай), отвязавшийся. Тревожно, но идти надо... Я сунул в сапог надёжную заточку из напильника.

Он меня уже ждёт. Не волкодав, конечно, а Дима. Дверь приотворил, стоит в проёме, говорит со своей собакой через сад:

- Бася-я!.. Бася-я! Свои-и!.. — ко мне. — Ну, чего ты? Я тебя заждался.
- Да иду!.. Пока то да сё... Ты вина нацедил?..
- Давно нацедил...

В нос ударяет запах холостяцкого быта... Духота... Ну, да ладно. Нам на это нечего смотреть, как говорил Шариков. Ладно... Разгребли беспорядок, сели... Выпили по полстакана (вино странное...), закусываем... Я говорю:

- Хороша курица, но несолёная...

Он:

- Да нет, Слава, нормально солёная...
- Совсем несолёная!.. Вообще никак! Ты что!
- Говорю тебе — нормально солёная! Даже немного... на грани, я бы

сказал.

— Да у тебя нарушение вкуса что ли? Рецепторы не работают? Или нарушение обмена веществ что ли?

- Всё у меня работает! Нормальная курица.

- А у тебя соли нет?

— Слушай, соли нет. Кончилась. Не хочу к Ленке идти — разбужу... потом не оберёшься. Посидеть не даст. Иди туда, иди сюда...

(А у них два дома на участке. В одном — он, в другом — жена. Между ними запущенный, тёмный сад, до одури полный яблок... Ходят друг к другу в гости.)

После второго стакана до меня наконец дошло, что соль-то, которую я кинул горстью, попала вся на одну сторону и вся абсолютно досталась Диме. Ему курица очень понравилась.

— Слава, у тебя всё-таки кулинарный талант! Я тебе давно говорю. Тебе бы, знаешь, кафе своё открыть. Я серьёзно! К тебе народ пойдёт. Бросай ты свои стихи.

НИКОГДА Я НЕ БЫЛ НА БОСФОРЕ

Деревня под Петербургом. Канун Рождества. Серо-голубой вечер. Светло, но уже горят огоньки...

Собака что-то разлаялась. Накинул куртку, вышел на крыльцо... За калиткой кто-то барахтается... Чёрный силуэт. Подхожу... на дорожке незнакомый мужчина. Пожилой. Не может встать. Никак... Видать, выпимши крепко... Отворяю калитку:

- Ну что, встать не можем?

- Да мне... вот рядом... никак это... улица Тенистая... знаешь?

— Не знаю. Но если рядом, давай помогу, не сидеть же тебе тут. Давай, держись за меня, вставай... Вот, так... Давай, говори, куда идти. Руководи, так сказать... как лоцман.

— А вот сюда. Здесь рядом. Пойдём... Ты тут живёшь?

— Тут я живу...

Через пять минут. Заиндевелый, заснеженный дом...

— А здесь, вроде, Витька... Нет, не здесь... Туда!..

Ещё через пять минут. Решётка в инее, над ней розовая луна восходит... Собаки лают...

— Нет, не такой дом должен быть... Давай кругом... Мне надо к нему зайти ещё...

— Слушай, я с тобой не собираюсь тут целый вечер болтаться. Куда тебе ещё заходить!.. Ты не на экскурсии здесь!.. Я могу тебя только домой отвести. Понял? Давай, говори адрес. Ты где живёшь?

— Домой?.. Ну, пойдём... Это в другой стороне.

— Ну, ты даёшь!.. Сразу не мог сказать? Так... пошли отсюда... Знаешь, что моя жена скажет? Она скажет: «Я так и знала, что ты с алкашом каким-нибудь возишься. Все ненормальные и алкаши — это всё твои друзья».

Новый знакомый вдруг засветился светлым детским глазом и предложил:

— А давай песню споём?.. А?.. Никогда-а я не был на Босфоре, ты меня-я не спрашивай о нём... Я в твоих глазах увидел море, полыха-а-ющее... огнём...

Я с удивлением глянул на него (знает Есенина, собака!) и подхватил хриловато:

— Не ходи-ил в Багдад я с караваном, не возил я шёлк туда и хну...

Человек повернул голову в розовом фонарном свете:

— Нет, так мы с тобой друг друга не поймём!.. Дальше вот так... — тут он сжал кулак, чтобы отбивать ритм... — А за кормо-о-й шумят винты стальные!.. В котлах кипит солёная вода!.. И провожа-а-ют чайки лишь морские... в далёкий р-рэ-эйс ушедшие суда!.. Понял?..

— Понял... Давай!

И мы, идя под ручки, под низкой розовой луной запели негромко, но искренне:

— А за кормо-о-й шумят винты стальные!.. В котлах кипит солёная вода!.. И провожа-а-ют чайки лишь морские... в далёкий р-рэ-эйс ушедшие суда!..

Александр Мызников

Александр Викторович Мызников родился и вырос в Калуге. Окончил исторический факультет Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского и Литературный институт имени М. Горького. Печатался в толстых журналах Москвы («Арион», «Дружба народов» и других), в антологиях современной поэзии.



СИНЕВАТАЯ ЛУНА

* * *

Каренина верхом и в чёрной амазонке,
и на неё с небес осенний льётся свет.
Стволы березняка так первозданно тонки.
И смысла больше нет. И утешений нет...

...Старик полуслепой, застыл я у колонны,
вливаясь в свет витрин небесно-голубой.
Здесь девушки глядят в китайские смартфоны,
здесь юноши давно плюют на нас с тобой.

Не повторится жизнь, как Бога ни проси я.
Мерцает вдалеке лимонная заря.
В аду я вспомню снег, летящий на Россию,
звёздами хризантем к исходу ноября.

* * *

Метель бушует над Москвою
над временем, текущим прочь,
над этой шубкой меховую,
в которой ты была в ту ночь.

И голубыми светляками
летит с темнеющих небес
над умными, над дураками
с остатком совести и без.

Стоят рождественские ели,
позёмка обметает наст.
Но для меня из той метели
Господь тебя не воссоздаст.

И остаётся окунуться
в толпу на станции Тверской.
Взорваться и в поту проснуться.
Сойти с ума на Кольцевой.

* * *

...а в старой книге Мастер говорил,
что в юности, когда живут надеждой,
мечтал объехать весь огромный мир.
Теперь не то. Теперь не то, что прежде.

Теперь пейзаж из этого окна,
луна, стоящая над тёмным лесом,
вот эта синеватая луна
единственным осталась интересом.

Вот так и я в окошечко смотрю
и обнимаю склотую кружку,
соседей по палате я люблю,
Евангелие прячу под подушку.

В окошко вижу серую страну
и кромку подступающего сада.
Зато я близко видел сатану
и бросил взгляд на внутренности ада.

Когда я окончательно пойму,
куда летит холодная комета,
Как просто опрокинуться во тьму,
Как трудно заслужить немного света.

* * *

Когда я слушаю старинные пластинки,
сгущается туман и голубая мгла,
где дует в саксофон умерший невидимка,
мне нравится — шипит скользкая игла.

Американский клуб — аплодисменты
мёртвых,
и чёрный человек с серебряной змеей,
свободнее бродяг, беспечней беззаботных,
рождённых на века сияющей землёй.

Горит в его душе свечи седой огарок,
который никого не ставит в медный грош.
Он, Чарли Паркер, пьёт и колется вдобавок.
Он дует против всех. Он дьявольски хорош.

* * *

Каравеллу клеит из картона
мальчик, так похожий на меня.
На корме испанская корона
в отблесках рассветного огня.

Берег тает в розовом тумане,
маяки теряются вдали.
Только бы исчезнуть в океане,
только бы подальше от земли.

Скоро смерть и мне поставит парус,
в трубку дунет старый капитан.
Я покину этот скучный градус,
Перейду в другой меридиан.

Все мы только странники. Но вера
нас хранит в той дымке голубой.
Это всё отчасти из Бодлера,
а отчасти выдуманно мной.

* * *

Война окончена. Маме четыре года.
Установилась солнечная погода.

Весёлый зайчик играет в оконной раме.
Жеглов с Шараповым едут вдвоём
в трамвае.

Танкист безногий читает свою газету.
Поёт Утёсов, и голуби рады лету.

Из лимузина, посверкивая очками,
следит мужчина за белыми каблучками.

Война окончена. Но многого не хватает.
Но все смеются, и мама не унывает.

И дядя Коля, убитый под Ленинградом,
на маму с карточки смотрит весёлым
взглядом.

* * *

Я давно на стороне погибших,
проклятых и сброшенных на лёд.
Тёмными глазами смотрит Ницше
и взыскует ангелов полёт.

Я всегда на стороне пропащих,
заживо зарытых в шар земной.
Я не за красивых. Я за страшных,
занесённых вьюгой голубой,

На кого в упор взирает бездна
и кого пронзило острей.
Леди Макбет Мценского уезда
смотрит в небо, где не ждут её.

Он пришёл распяться не за средних
фарисеев, благостных на вид.
Он пришёл распяться за последних.
Так Лука в Завете говорит.

* * *

Я люблю невидимое что-то
в тайне поэтических страниц.
Дребезжит нервическая нота,
словно трепетание ресниц.

Так играет золотистый волос
в барабане Спаса-на-Крови,
мальчика подводит тонкий голос
так при объяснении в любви.

Вам случалось видеть сумасшедших
в окружении бесконечных глаз?
Вам случалось вспоминать умерших
одноклассниц, целовавших вас?

Ничего мне от тебя не надо,
музыка. Так уличный альтист
на границе тленья и распада
свой смычок бросает вверх и вниз.

Вспоминая рождество и детство,
как шары развешивал, и шар
падал вдруг. И снова — шумный Невский
носом провалившимся дышал.

Из старой тетради

... а в лёгкости классической балета
нет никаких весомых перемен.
Взмахнёт крылами юная Одетта.
Но лучше Саломея и Кармен.

Ни одному мужчине ты не пара.
И свёрнута, давно известно мне,
Вселенной догоревшая сигара
у андалуски смуглой на бедре.

Взлети, умри, перетряхни всю мелочь,
забуди себя в той гибельной мольбе.
Так говорил холодный Ходасевич:
«Пере-что хочешь» — миру и себе.

Трагедия по свету на пуантах
не ходит. Она гибнет вместе с ним.
Так вечно недочитывался Данте:
Ад — интересен, рай — невыносим.



Владимир Кормильцев

Владимир Николаевич Кормильцев родился в 1958 году, калужанин. Окончил Московский государственный институт культуры. Занимается фотографией (член Творческого союза «Фотоискусство»), тележурналистикой, работает обозревателем в «Издательском доме «Калужские губернские ведомости». Член Союза журналистов России. Стихи и прозу пишет со студенческих лет, публиковаться в периодической печати и литературных сборниках начал около десяти лет назад.

ЦИФРОВЫЕ. ДВЕ ШТУКИ

Прежде чем позвонить в дверь, Толян нацепил на куртку большой круглый значок с яркими буквами «Цифровое ТВ», пригладил волосы и, оглянувшись, подмигнул напарнику:

— Работаем.

День складывался удачно. С утра они успели пройтись по двум адресам. Первый клиент расплатился наличкой, второго удалось уговорить только на получение субсидии. С этим придётся немного поморочиться, но, при удачном раскладе, имея данные паспорта и банковской карты, бабла можно будет снять больше в разы. Наверное, стоило бы этим и ограничиться на сегодня, но Толян уговорил Стаса заглянуть ещё к одной старушке. Ей можно было толкнуть две оставшиеся у них цифровые приставки оптом, разыграв нехитрую комбинацию, которую они как-то раз уже опробовали.

Конечно, с такими разводками пора было завязывать. Пенсионеры стали попадаться слишком уж недоверчивые, и продолжать светить свои физиономии не хотелось. Каждый раз, начиная с Толяном обход адресов, Стас обещал сам себе: «Сегодня — в последний раз. Надо придумывать что-то другое...» Но ничего нового пока не придумывалось, и всё, как говорится, ехало по накатанному.

За дверью слышались шаркающие шаги и старческий голос произнёс:

— Э-э... Кто там?

— Здравствуйте! Мы из службы социальной помощи! — объявил Толян. — Скажите, Алёна Карповна Неупокоева здесь проживает?

После короткой паузы дверь приоткрылась, и хозяйка квартиры ответила:

— Ну, я Алёна Карповна.

На вид ей было лет семьдесят. Голова в седых кудряшках перехвачена тёмным платком в горошек, внимательные серые глаза за стёклами очков, старая, но чистая вязаная кофта и аккуратно повязанный кухонный фартук.

«Типичная среднестатистическая старушенция, — подумал Стас, — из тех, что летом сидят на лавочках у подъезда, неспешно переминая косточки соседям, а осенью и зимой оккупируют коридоры поликлиник, где часами делятся в очередях рассказами о своих болячках. Такие, как она, любят порассуждать, что при прежней власти порядка было больше, да и вообще раньше и трава была зеленей, и сахар слаще. А ещё — постоянно жалуются на маленькую пенсию, сидят на молоке и пшённой каше, но при этом хранят в шкафу под стопкой белья сумму денег, достаточную для покупки недорогого автомобиля».

— Наш клиент, — еле слышно шепнул Стас напарнику. Но Толян в под- сказках не нуждался и продолжал играть свою, хорошо заученную роль:

— Очень хорошо, что мы вас застали! — продолжал он голосом, полным оптимизма. — Алёна Карповна, вам, как ветерану труда, положено раз в год получение бесплатных услуг по ремонту бытовой техники и настройке радио- и телеприёмников. Сейчас, в связи с переходом теле вещания на цифровой формат, это особенно актуально! — выпалил он на одном дыхании.

— Телемастера что ли? — старушка недоверчиво поглядела на них поверх очков. — Так я никого не вызывала, вы, верно, квартирой ошиблись...

— Нет-нет, не ошиблись, — вступил в разговор Стас. — Алёна Карповна, мы — волонтеры, работаем бесплатно, согласно спискам ветеранов труда, малоимущих и многодетных граждан, зарегистрированных в управлении соцзащиты. Может, разрешите войти? Неудобно как-то через порог разговаривать...

Старушка, помедлив, отступила в сторону, пропуская их в квартиру:

— Ну, заходите, раз так...

Пока они следом за ней шли по длинному коридору в комнату, хозяйка бормотала, словно размышляя вслух:

— Ишь ты, бесплатно помогаете... Волонтеры — это кто ж такие? Вроде, как раньше, — пионеры, тимуровцы?

— Ну, вроде того, — согласился Толян, проходя в комнату и озираясь вокруг — внимательно, оценивающе.

Старый полированный сервант с хрусталём и фарфоровыми статуэтками, репродукции пейзажей в простых рамках на стенах, белые кружевные салфетки на круглом столе, покрытом плюшевой скатертью, длинный дешёвый коврик над спинкой дивана — обычная обстановка жилья одинокой пенсионерки, где все вещи родом из середины прошлого века. Телевизор, увенчанный рогатой комнатной антенной, был ненамного моложе.

— Надо же, какой у вас ящик сохранился... Такие скоро только в музее увидишь, — заметил Стас.

Хозяйка возразила, словно оправдываясь:

— Нет, он ещё хорошо показывает. Я новости каждый день смотрю... и сериалы.

— Сейчас смотрите, а через пару месяцев не сможете! — авторитетно заявил Толян. — По всей стране телевидение переводят с аналогового сигнала

на цифру. Чтобы каналов было больше и картинка лучше. Да вы и сами наверняка слышали в новостях... Так вот, чтобы старый телевизор, такой, как у вас, продолжал работать, к нему нужно подсоединить специальную цифровую приставку. Её можно приобрести в магазине радиоэлектроники. Ассортимент аппаратуры, которая там есть, весьма богатый, и выбрать нужное устройство, конечно, непросто...

Пока Толян говорил, Стас проворно раскладывал на плюшевой скатерти глянцевые буклеты — те, которые можно набрать бесплатно в крупных торговых центрах. На хозяйку квартиры яркие рекламные картинки произвели сильное впечатление.

— Ох, батюшки, — вздохнула она, — ну что я в этом понимаю! Да и не знаю я, где магазины такие есть. Только в наш продуктовый хожу, да в аптеку...

— Алёна Карповна, вам и не надо теперь никуда ходить! — сказал Стас. — Мы можем подключить приставку к вашему телевизору прямо сейчас. Специально взяли две штуки, для таких вот случаев.

И он торжественно извлёк из сумки пару картонных коробочек.

— Фирменное оборудование, на гарантии! Сделано в Японии. Установка и настройка бесплатно. Если согласитесь, это всё будет ваше.

Старушка глянула на коробки уважительно, и Стас удовлетворённо подумал, что не зря он вчера украшал их блестящими стикерами из «Канцтоваров». Три-четыре наклейки с иностранными надписями — и совсем другой вид!

— Они ведь, наверное, дорогие очень, — заметила старушка.

— Да, не дешёвые, — подтвердил Толян. — Но вам, Алёна Карповна, очень повезло, потому что электронные устройства, которые в магазине стоят около тридцати тысяч каждое, мы передаём ветеранам труда и пенсионерам за полцены. То есть — по пятнадцать тысяч.

— А если возьмёте сразу два, — подхватил Стас, — ну, на случай, если первая приставка сломается, то вам положена скидка ещё на одну тысячу девятьсот девяносто рублей с каждого устройства. Итого... — он пробежался пальцами по кнопкам калькулятора на экране смартфона, — вам это будет стоить всего лишь каких-то двадцать шесть тысяч. С копейками! — просто-душно улыбнулся он.

На самом деле декодеры китайского производства обошлись им с Толяном в пределах тысячи рублей каждый, но зачем об этом знать старушке? Если она считает, что современная электроника не может стоить дёшево — пусть так считает и дальше.

Стас достал из сумки несколько самодельных бланков, распечатанных на принтере:

— Можете оплатить карточкой, но лучше — наличными. Так быстрее и проще. Ну, что? Будем оформлять оказание услуг?

Но Алёна Карповна не ответила на вопрос, а сама спросила его, непременно глядя поверх очков:

— Вы же вроде сказали вначале, что всё будет бесплатно? Или я чего-то не поняла?

— Всё вы правильно поняли! — улыбнулся Толян. — Мы действительно работаем бесплатно, поэтому установка и настройка оборудования вам не будет стоить ни гроша. Но эти приставки для телевизоров городские власти приобретают на бюджетные средства, по программе социальной помощи, а нам, волонтерам, дают под расписку. Им же надо отчитаться, что деньги не ушли «налево»... ну, вы понимаете!

— Понимаю... — задумчиво промолвила Алёна Карповна. И поглядела в глаза Стасу как-то странно, внимательно. Как будто с сожалением.

— Ох, и нелёгкая у вас работа, ребятушки! — сочувственно сказала хозяйка квартиры.

Подойдя к столу, она положила руку на плечо Толяна, а потом коснулась сидящего с ним рядом Стаса.

— Устали, поди? Отдохнуть бы вам...

— Да нет, бабушка, вовсе мы не устали... — возразил Толян, но как-то неуверенно. — Вот, работу у вас сделаем, освободимся, тогда и отдыхать будем...

— А и то правда! — легко согласилась старушка. И, как-то озорно, по-молодому улыбнувшись, добавила:

— Пока от бремени не освободишься — какой же отдых!

Она по-прежнему стояла между парнями, положив им руки на плечи, и негромко говорила ещё какие-то слова — вроде бы знакомые, но фразы из них складывались странные и бессмысленные. Что-то вроде: «...чтоб себя потерять, горя-зла не зная, за то, что в горсти, не сказать «прости», далеко не снести, всё травой зарастить...»

«Она что, сумасшедшая? А может быть... ведьма?! — с ужасом понял Стас. — Блин, ну надо же так вляпаться...»

Он хотел убрать с плеча ладонь Алёны Карповны, подумал, что надо вставать, хватать за шиворот Толяна, и — бежать из этой чёртовой квартиры, бежать куда подальше и больше не возвращаться!

Но думал он об этом как-то отстранённо, словно не о себе. Тело становилось тяжёлым, мысли тоже текли тяжело и медленно, лениво.

А потом и глаза его сами собой закрылись. И всё исчезло.

* * *

Двое парней вышли из двухэтажного панельного дома и остановились у подъезда. Один — невысокий, в светлой куртке с большим круглым значком на груди, второй — долговязый, с чёрной кожаной сумкой на плече. Парень в куртке, похлопав себя по карманам, обратился к высокому:

— Я извиняюсь... У вас закурить не будет?

Высокий молча протянул открытую пачку, тоже достал сигарету, спросил:

— Не в курсе, где здесь ближайшая остановка?

Невысокий развёл руками:

— Без понятия. Сам не местный.

Парень с сумкой, затаившись, рассеянно огляделся. Местных жителей в округе не наблюдалось. Только в приоткрытом окне первого этажа видно

было старушку, хлопотавшую на кухне. Она аккуратно протирала тряпочкой банки, закрытые жестяными крышками. Парней у подъезда она не удостоила даже мимолётного взгляда.

— Похоже, и бабулька нам не подскажет, — усмехнулся тот, что в светлой куртке. — Вся в работе!

— Ну да, сезон заготовок, огурчики-помидорчики... — согласно кивнул высокий. — Ладно, сами дорогу найдём.

Докурив, парни бросили окурки в урну и не спеша пошли прочь.

* * *

Они уходили! Можно было орать, материться, стучать кулаками в толстое искривлённое стекло, через которое он с трудом различал двух парней, чем-то похожих на него и на Толяна (конечно, просто похожих, ведь и он, и Толян находились сейчас здесь, за стеклом...), можно было даже бессильно плакать, вытирая лицо рукавом — но никакой силой, никакой руганью или мольбой нельзя было заставить этих двоих вернуться.

Стас уже в который раз ощущал полупрозрачную стеклянную стену, которая окружала его, образуя тесное пространство, не больше трёх шагов от стены до стены. Больше всего это помещение походило на стеклянную банку, только неестественно огромного размера, либо... Либо он сам странным образом уменьшился до размеров мыши, вместе со своим приятелем. Толян лежал тут же, свернувшись в «позе эмбриона». Минуту назад Стас пытался привести его в чувство, тряс за плечи, хлестал по щекам — но приятель только бессмысленно таращил глаза и мычал что-то невнятное, словно упился до беспамятства.

Стас видел его таким лишь однажды, в начале их знакомства, когда Толян так перебрал на вечеринке в общежитии, что пришлось вызывать «скорую». С тех пор приятель завязал со спиртным, не пробовал даже пива. Что же случилось с ним теперь?

Да, чёрт побери, что с ними обоими случилось?!

Впервые за многие годы Стас чувствовал, что попал в ситуацию, из которой не знает выхода. Здесь не годился практический опыт «обработки клиентов», которым они представлялись то проверяющими из «Горгаза», то распространителями чудодейственных медицинских аппаратов, то сотрудниками собеса. Не всегда дело проходило гладко, однажды даже пришлось объясняться с полицией, но в тот раз обошлось: откупились, уболтали хитроглазого лейтенанта, клятвенно пообещав никогда больше не появляться у него на районе.

Но с кем договариваться теперь? С этим чудовищем в седых кудряшках и в очках, сквозь толстые линзы которых снова смотрят на него большие серые глаза — внимательно, изучающе... Потом старуха ухватила банку огромной рукой, закрывшей полнеба, и мир вокруг него качнулся и потемнел.

А может, это Стас опять потерял сознание, и сейчас это было даже к лучшему.

* * *

Алёна Карповна открыла дверку стенного шкафа, где широкие полки были аккуратно заставлены запечатанными стеклянными банками разного объёма с разным содержимым.

В дальней литровой ёмкости виднелась фигурка человечка в форме НКВД, сидевшего на корточках, закрывая ладонями лицо. Синяя фуражка с красным околышем валялась на дне банки, возле ног заключённого офицера, обутого в блестящие начищенные сапожки. На крышке банки был приклеен клочок пожелтевшей бумаги с аккуратной надписью синим химическим карандашом «ДУШЕГУБ».

Чуть в стороне стояла трёхлитровая банка, битком набитая человечками в деловых костюмах. Они толкались локтями, о чём-то оживлённо спорили, но голосов из-за толстого стекла было не слышно. Сбоку банку украшала рукописная этикетка — «КАЗНОКРАДЫ, ЧЁРТОВА ДЮЖИНА».

Все полки стенного шкафчика Алёны Карповны заполняли подобные стеклянные ёмкости с крупными надписями: «МЗДОИМЕЦ», «КЛЕВЕТНИЦА», «БЛУДОДЕИ, ТРИ ПАРЫ», «ВОР», «СУПОСТАТЫ. НЕ СЧИТАНЫ»...

Прежде чем поставить новую запечатанную банку на предназначенное место, старушка достала из кармана фартука чёрный маркер и аккуратно начертала на жестяной крышке:

«ЖУЛИКИ ЦИФРОВЫЕ».

И, подумав, добавила: «ДВЕ ШТУКИ»



Ольга Шилова

Ольга Васильевна Шилова — поэт, журналист, родилась и живёт в г. Мещовске Калужской области. Автор трёх поэтических книг: «Нетерпёж», «Скит», «Благовременье». Лауреат Всероссийской литературной премии им. Валерия Прокошина (2014), член Союза российских писателей. Публиковалась в журналах «Фома», «Сибирские огни», «Человек на Земле», «Гостиная» (США), «Лифт», «Восток свыше», антологии «Молитвы русских поэтов», «Учительской газете», литературных альманахах «Истоки», «Синие мосты», «Облака», в сборниках «Сорок сороков», «На обнинских перекрёстах».

НАИТИЯ ЖИВАЯ НИТЬ

* * *

Картофель выкопан, и «Фауст» перечитан,
и старая исписана тетрадь,
и в ветхом, на гнилую нитку свитом
гнездовье предстоит мне зимовать.

Привычно неприметной жить в юдоли,
как сердцу, заключённому в груди.
Картофель надо высыпать в подполье,
не то с субботы зарядят дожди.

Стекольщика и сварщика дожждаться,
чтоб не задуло и не залило.
Глядишь, и раем может показаться
жизнь: сытно, сухо и теплым-тепло.

* * *

Всё дождь и дождь, всё лужицы-озёрца,
все огороды — хлюпкие болотца,
все бабочки исчезли и жуки,
все ягоды, что вызрели, осклизли,
и лишь лягушки счастливы и слизни,
и в междурядьях злые сорняки.

А я гляжу, как шлёпает спросонок
в сапожках и в цветном дождевике
соседский неулыбчивый ребёнок,
и правлю текст в своём черновике.

Благое у словесника занятие —
в уме, на языке, и под рукой —
сиди, живописуй себе ненастье,
а завтра, даст Господь, и летний зной.

* * *

С рассветом кружили над старым парком,
галдели со всех сторон...
А к ночи его оглушили гарком
в ветвях поредевших крон.

Их здесь поджидало собранье галок,
болтающих меж собой.
Все птицы смешались без перепалок,
устроившись на покой.

На самых макушках — листва скупая,
а выше — покров из звёзд.

Семейство грачей — небольшая стая —
питомцы окрестных гнёзд.

И долго ещё говорили птички
на множество голосов.
И слышались в галочей перекличке
раскаты густых басов.

И вдруг — как отрезало: все умолкли —
как будто был подан знак.
Ах, вот бы сейчас подглядеть в бинокль,
грачи почивают как...

* * *

Мы с Виталей крышу подлатали,
тазик мне теперь не подставлять.
Жизни невеликие печали
так легко и просто исправлять.

Заодно и выкрасили крышу,
а затем веранду и крыльцо.
Я иду по улице и вижу
дома обновлённое лицо.

По натуре я, конечно, кошка,
но и к людям привыкаю я.
Мы с Виталей сблизились немножко,
и уже, нам кажется, друзья.

Мне его присутствие не в тягость:
это ангел Божий во плоти.
Нам ещё герметиком осталось
по оконным стёклышкам пройти

и монтажной пеной между брёвен
(паклю растаскали по весне
птицы на строительство гнездовий),
и сего довольно мне вполне.

Жаль, что не прожить зимою снежной
в одиночку с кошкой и котом —
как они — легко и безмятежно.
Но зато надёжным будет дом.

* * *

Декабрь ошалел от дождей, теплоты,
меж рам пробудившихся мушек.
Не знаю, но верю: так милуешь Ты
бездомных окрестных зверушек.

Подкидышей — тех, что доверил Ты мне, —
я, кажется, всех приютила.
Как много их было по этой весне,
и снова всё та же картина.

И кто виноват, что приспичило ей —
дворняге помойной — теперь-то — моей! —
среди декабря оцениться —
не ведая, где прокормиться...

И кошке приёмной — тринадцати лет —
вдруг время пришло уйти на тот свет,
и стонет она, умирая,
в тепле дровяного сарая...

... Живу в окружении родного зверья,
скорбя о блаженстве в Эдеме...
И, старую кошку свою схороня,
завою над ними, над всеми...

* * *

Стоят весёлые погоды —
дождя и солнца в меру,
ожившие вдруг огороды
в себя внушают веру.

Уже укропа и редиса
пощипанные гряды,
вот-вот, и расцветёт мелисса
и перечная мята.

Весь день в теплице ободочной —
жара, как возле печки,
и стрелки у стеблей чесночных
закручены в колечки.

И меж писанием рассказа
и переделкой книги
по три и по четыре раза
рву ягоды клубники.

* * *

Мы коршуна видали в поле
и аиста видали.
Три дня о мировом футболе
и не подозревали.

Мы посреди травы и сена,
закатанного в тюки,
предивные вели беседы
без даже тени скуки —

о трав удачной косовице,
их будущей продаже,
о звонкой и весёлой птице,
что из небесной чаши

расплёскивает столько счастья
на каждого без меры!
Мы говорили о Причастье,
о простодушье веры,

о полыхающем закате
над монастырской крышей...
о мировом чемпионате
почти в упор не слыша.

* * *

*Вячеславу Черникову —
«книжкиному» художнику*

Твои автографы под ними.
И в каждом — часть твоей души.
Но как ты делаешь моими
свои рисунки, расскажи.

А хочешь я, доверясь слову,
секрет попробую раскрыть?
Творя, берём мы за основу
наития живую нить

и труд, умноженный талантом
(иль, кажется, наоборот?) —
и вот спускаются десанты:
слова в стихи, и в свой черёд —

их образы на лист бумаги:
кружки, фигурки, завитки...
Графической полны отваги —
как пёрышко твоё — тонки..

И — будто с птичьего на птичий —
летят подстрочники ко мне!
Высокое косноязычье
в пиктографическом письме...

...Что — словом неизобразимо —
бессилен где — деталей бог —
твой гений — росчерком осилил,
неизреченность превозмог.

Ольга Клюкина

Ольга Петровна Клюкина — прозаик и драматург. Родилась в посёлке Приволжский Саратовской области. Окончила филологический факультет Саратовского университета им. Н. Г. Чернышевского. Публикуется с 2001 года. Автор романа «Эсфирь», серии книг «Святые в истории. Жития святых в новом формате», других произведений для взрослых и детей. На сцене калужского ТЮЗа поставлена её пьеса «Беликов. Реабилитация». Член Союза российских писателей. Живёт в Калуге.



НАТЮРМОРТ С ЭКЗОТИЧЕСКИМИ ФРУКТАМИ

На столе стояла ваза с фруктами. Антон Сергеевич сидел и смотрел на неё, смотрел, смотрел.

Ночью он никак не мог заснуть, вышел на кухню съесть что-нибудь, нашёл в холодильнике яблоко. А потом сел с антоновкой в руке за стол и уставился на вазу.

В последнее время у него снова появилась привычка подолгу что-нибудь разглядывать, как в детстве. Маленьким он мог застыть на полуслове («как истукан» — сердился отец), найти взглядом какой-нибудь предмет и долго, не мигая, на него глядеть (отец говорил «таращиться» или «лупиться»).

Позже Антон Сергеевич постарался от этого отучиться и не цепенеть внезапно, чтобы жену с дочкой не пугать. Но теперь, когда жены не стало, а дочь уехала на край света, к нему вернулось детское желание подробно всё рассматривать.

В белой вазе лежали экзотические фрукты, привезённые дочерью из Таиланда. Разноцветные съели, и остались только коричневые, разных оттенков, от бежевого до цвета сухой гранатовой корки. Все как на подбор маленькие, тёмные, словно их в печке пекли.

Дочь просто бредит Таиландом. Два раза съездила в отпуск, а потом бросила работу и решила там навсегда поселиться.

Неделю назад примчалась из аэропорта и чуть ли не с порога выдала новый план: отец должен сдать квартиру и срочно перебираться на Пхукет. Она всё рассчитала: если они скооперируются, то смогут вместе арендовать приличное жильё на второй береговой линии. И тогда ей не придётся, как сейчас, ютиться с тремя подружками в полуподвальной студии.

«Но... что я там буду делать?» — изумился Антон Сергеевич.

«Как что? Жить. А здесь что ты делаешь? Что тебя тут держит?»

«Ну, как же... всё... друзья... дача»

«И часто ты видишься со своими друзьями? Раз в году? А позвонить и оттуда можно. Да они все сами к тебе туда примчатся, ещё прятаться будешь, — сказала Дашка. — А фруктов всяких там и без твоей дачи завались, сами на деревьях растут».

«Всё равно... я и языка-то никакого не знаю, кроме русского».

«И не надо. Там полно наших, найдёшь с кем общаться. Знаешь, как переводится слово «Таиланд»? Земля свободы! Неужто ты не хочешь наконец-то пожить как свободный человек?»

«Да мне и здесь вроде ничего. Я ж на пенсии, на работу не хожу».

«Вроде!» — похоже передразнила Дашка. — «Ничего»... «Уж я как-нибудь»... Вот именно — ничего! Потому что не знаешь, как бывает хорошо. Год поживёшь, потом сам возвращаться не захочешь. Мы там тебя ещё на какой-нибудь богатой мадам женим. Там такие, как ты, с профессорской бородкой, нарасхват...»

Они беседовали на кухне, где Антон Сергеевич под присмотром дочери пробовал экзотические фрукты. Начать пришлось с красного с зелёными шипами, самого диковинного. Под упругой коркой обнаружилась белая мякоть с чёрными зёрнышками, похожими на маковые. По вкусу «драконий фрукт» отдалённо напоминал недозревший пресный арбуз.

«Ну как, вкусно? — строго допрашивала дочь. — Вкусно ведь? Где ты ещё такое попробуешь?»

Больше всего Антону Сергеевичу понравилось манго — как сладкая печёная тыква с запахом новогодней ёлочки. Киви тоже ничего, он иногда их тоже в магазине покупает. Правда, дочь велела есть киви прямо с кожурой, в которой содержатся какие-то особые витамины молодости, и показала, как можно безопасной бритвой сбривать с киви щетину, чтобы язык не колоть.

Антон Сергеевич потрогал свою небритую щёку и улыбнулся, вспомнив, с каким серьёзным, сосредоточенным видом Дашка брила фрукт. Этот киви до сих пор лежал в вазе гладкий, с потемневшими боками и казался обиженным на весь мир.

Рядом с ним примостилась тёмно-коричневая круглая маракуйя, которая за неделю сморщилась, покрылась зеленоватыми пятнами и стала похожа на подгнившую картошку. Но экзотический фрукт вовсе не испортился, а лишь усох и затвердел. Дашка разрежала маракуйю пополам и велела чайной ложкой выскрести изнутри жижичу, похожую на лягушачью икру.

«Истинный вкус тропиков! — приговаривала она восторженно. — Я его просто обожаю!»

Чтобы не обижать дочь, Антон Сергеевич заставил себя проглотить что-то ароматное и кислое, вместе с крупными тёмными семечками, и с тоской подумал про мезим форте, с которым было бы комфортно. Кожуру он сразу не выбросил, а внимательно, со всех сторон рассмотрел. Изнутри половинка маракуйи напоминала раковину с перламутровыми прожилками или розовое нёбо какого-то диковинного существа.

«В Таиланде ужасные тайфуны случаются, по телевизору показывали, — вспомнил Антон Сергеевич, прощаясь с дочкой в коридоре. — Да и климат там для меня жарковатый».

«Зато здесь, в московском смоге, для тебя — вэри найс, — засмеялась Дашка и громко чмокнула отца в щеку. — А кондиционер на что? В жару будешь в бассейне плавать. Я вчера попала в метро в час пик. Вот где тайфун каждый день».

«Ну а эти... всякие вирусы. Они же к нам с востока приходят... Пожилым велят дома сидеть».

«Я тебя умоляю! Наоборот, все твои вирусы сразу содохнут на жаре».

Дочь дала на размышление недельный срок и велела дать по телефону точный ответ. Но Антон Сергеевич никак не мог определиться, ночами не спал. Думал то так, то эдак, то снова так.

Хорошо бы годок пожить с дочкой, но ехать в такую даль? А как квартиру на чужих людей оставишь? Вернётся к разбитому корыту, а где деньги брать на ремонт? Дашка сказала, что хочет учиться тайскому массажу и одну комнату планирует оборудовать под массажный кабинет. Выходит, она его и через год назад не отпустит, такие дела быстро не налаживаются. А если с массажем ничего не выйдет? Дочь не очень-то умеет ладить с людьми, чересчур нетерпеливая...

Антон Сергеевич вздохнул и снова сфокусировал внимание на вазе с экзотическими фруктами. Самым тёмным, почти дочерна в ней был этот... он никак не мог запомнить его название... мангостин или мангустин. На вид что-то вроде маленькой и твёрдой, как орех, свеколки, если сверху к ней прилепить гипсовый чубчик.

И не лень было Дашке тащить эти мангустины из Таиланда? В них и есть-то нечего: белые сладковатые дольки, как у чеснока, спичкой не выковыряешь. То ли дело обычное яблоко или груша.

Антон Сергеевич вспомнил, что до сих пор держит в руке антоновку. Он поднёс яблоко к лицу, понюхал — ах, какой аромат! — и зачем-то положил в вазу рядом с киви, маракуйей и мангустином. Получился совершенно другой натюрморт. Да что там, почти фигурная композиция!

Лимонно-жёлтая антоновка напоминала девушку, случайно затесавшуюся в компанию мелких, коричневых от загара тайцев. Яблоко словно светилося изнутри, и его мелкие чёрные крапинки напоминали родинки на нежной девичьей щеке.

Антон Сергеевич присмотрелся и заметил на одном боку коричневое пятно — антоновка незаметно начинала портиться.

Дашка приехала из Таиланда с лицом цвета розовой кафельной плитки и облезлым на солнце носом. На неё с детства плохо ложился загар, а туда же... Как она там будет одна, среди чужих, толстокожих людей? Такая ранимая, не приспособленная к жизни, всегда бегом, напролом. Пропадёт в дальних краях — и глазом не успеешь моргнуть.

Антон Сергеевич вспомнил, как давным-давно отец пел под баян: «Эх, яблочко, куда ж ты котишься, к чёрту в лапы попадёшь — не воротишься».

«Ничего не поделаешь, надо ехать, — принял он окончательное решение. — Уж как-нибудь... ладно... пока зовёт. Хоть годок за дочкой пригляжу, а там видно будет. И не такое в жизни приходилось терпеть. Эх, Антоновна моя, куда ж ты по-ка-ти-ла-ся...»



Владимир Обухов

Владимир Михайлович Обухов — искусствовед, художник, писатель. Выпускник отделения истории искусства МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор искусствоведческих книг и альбомов, поэтических сборников. Член Союза художников России и Союза российских писателей, вице-президент Академии аналитического искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Живёт в Калуге.

СТИХИ-ПЕРЕВЕРТНИ

Оказывается, это вполне возможно — делать невозможное.

Во всяком случае в ту, давнюю уже, пору, когда я вдруг, неожиданно для самого себя, начал выделять первые свои палиндромы, и мысли у меня не было, что когда-нибудь сумею создать полноценные стихи-перевёртыши, закованные в чёткие ритмы, а порой и окованные рифмами.

Но вот ведь — смог!

Потому как понял: палиндромы не столько сочинять надо, сколько взращивать. Из густой словесной массы растить.

И тогда — и только тогда! — происходит невероятное: словесный фокус оборачивается поэзией. Строки, одинаково читаемые слева направо и справа налево, оживают, одушевляются, одухотворяются.

А я, автор, как бы уже и ни при чём. Как будто они сами собой на этот свет заявили. И уж точно не задуманы изначально, не продуманы в становлении своём мною.

Есть у меня всему этому самозарождению словесных образов довольно чёткая формула. Разумеется, в виде перевертня.

Муку мук, ум
лире вверил
я — и музе безумия.

И эта странная особа, муза безумия, одаряет меня время от времени и отнюдь не безумными мыслями, и воспоминаниями об основательно забытых происшествиях, и неожиданными поэтическими образами.

Вот, например, давнее уже размышление о судьбе России:

Ты пока как опыт.
Ты пока копыт
топот.

Намутили. Туман.
Топора ропот.
Нарывы ран.

Конечно, стихи эти несколько туманны. Но, если вдуматься, весьма содержательны.

Или вот, казалось бы, совершенно заумные строки:

Как
Аргус — Угра.
Как
зал. Гири глаз.

Но если вспомнить, что у Аргуса было, как минимум, сто глаз, то образ этот оказывается не столь уж и странным: река Угра многоглаза, а глазастые воды её тяжелы.

А вот и только что возникший перевертень. Вроде бы несколько аморфный.

След ал. Холод. Дол охладел. С
дорог, колок, город
летел.

Ну а если записать всё несколько иначе?

След ал. Холод.
Дол охладел.
С дорог, колок, город
летел.

Очевидно же, что у этого палиндрома довольно крепкая стиховая основа. Другое дело, что в стихотворения-перевертни надо очень внимательно вглядываться, дабы уяснить их строй, их содержательную суть.

А многие ли готовы к этому?

Стоит завести разговор о палиндроме, и собеседники в лучшем случае вспоминают строчку, сочинённую Фетом: «А роза упала на лапу Азора».

Что ж, процитирую ещё один палиндром.

На мраморной купели, стоявшей в самом главном храме православного мира, в константинопольском соборе Святой Софии, было вырезано изречение-перевертень: «Nisponano mima ta mi monanopsin».

«Омывайте не только лицо, а и грехи ваши».

Какова строка!

* * *

Я, розу зари разузоря,
море пищу души — пером.

* * *

Увижу деву, уведу. Живу
у дива — на виду.

* * *

Как
лал, ал
был глыб
лав вал.

* * *

Ого
как
ало, косо сокола
око.

* * *

Зори ли роз
или
взоры роз? В
море сада сером —
зори роз.

* * *

Ярок якоря
коралл. Арок
кора. Жара. Жарок
коралл арок.

* * *

Как
колок
косы мысок.
А на
косе — лесок.

* * *

Как
герб тут — брег
и колокол Оки.
А гимн — ор крон, мига-
мага гам.

* * *

А на
косе — песок.

А за
косой — осок
косы. Высок
гор и пара пирог.

* * *

А на
море — роман.
То хохот.
То гогот.
То коралла рокот.

* * *

Веер реев.
Гуд дуг.
Моря верхи — в вихре, в яром
гуле белуг.

* * *

Гор глыбы. Был грог
гор — как рог:
грот сини вал лавин исторг.

* * *

Этна — Данте.
Нива вин
и лад дали.
Нива лавин.

* * *

Тонов звон. От
ноты — тон.
Тон — от
тонн нот.

* * *

А тонка как нотка!
Тут,
Отче, что
и кто? Немота в атоме нотки.

Татьяна Каледина

Татьяна Евгеньевна Каледина родилась и выросла в Калуге. Окончила факультет иностранных языков Калужского государственного педагогического университета им. К. Э. Циолковского и магистратуру Северно-Иллинойского университета (США). Автор сборника рассказов «Эскизы», два из которых были опубликованы в журнале «Наш современник». В настоящее время работает генеральным директором Агентства по развитию туризма Калужской области.



ИЗ РАССКАЗОВ ПЕРЕВОДЧИЦЫ

СТЭНЛИ

You keep me under your spell
You keep me under your spell
You keep me under your spell...

Desire «Under your spell»

Не то чтобы мне везёт на знаменитостей, но сталкиваться с ними приходится по работе время от времени. Один раз в ожидании очередных американцев в Шереметьево зацепила взглядом долговязую фигуру с очень знакомым лицом. Я минут сорок вспоминала, где бы я могла учить или переводить этого человека. Почему-то перебирала вузы, больно лицо у субъекта было сосредоточенное. Спустя час, после мучительных размышлений, осознала, что это был Иван Ургант. Ну да, когда-то он тоже, наверно, был студентом, но у меня точно не учился.

Тут своих-то знаменитостей не упомнишь и не вспомнишь вовремя, а когда приезжают импортные гастролёры, то просто кричи караул. Ибо мои кумиры почему-то не заезжают в губернский город К. Вот, например, приезд Джона бон Джови я жду уже лет двадцать. И ещё, похоже, столько же прожду.

Перевод — не основная моя работа, хотя устно переводить я просто обожаю, особенно если налажен контакт с подопечным. Это когда ты на одной волне с ним, когда можешь предугадать уже по интонации, по началу предложения, что он сейчас скажет. И тогда перевод идёт как по маслу — чуть запаздываешь с репликами, и получается очень красивый гармоничный полусинхрон. Для меня такие моменты важны и ценны, это как в сёрфинге — поймать волну и обкатывать её. Я смакую такие переводы. Потом, правда,

я выжата, как лимон, но ощущения классные. Это моя зависимость и мой личный кайф. Я не могу жить без живого языка.

Я не считаю себя профессиональным переводчиком. Не училась этому, но как-то так складывается, что жизнь постоянно подбрасывает мне такие подарки, как будто день рождения не раз в году. И практически всегда я дико волнуюсь, так как боюсь облажаться даже в крохотной мелочи, которую, возможно, никто не заметит. Но замечу я. И буду недовольна, и опять начнётся самозабвенное самокопание.

Так что к переводам, особенно с известными людьми, стараюсь подходить достаточно основательно. Хвала Интернету! В сети всегда выложена куча интервью, ролики на ютьюбе погружают в акцент объекта будущего пристального внимания — и всё, мне уже не так страшно. Я начинаю верить в то, что справлюсь. Шлифуешь ещё день терминами по тематике, наряд по дресс-коду и ура-ура! Нас ждут великие дела! Главное, чтобы костюмчик сидел.

В этот тёплый майский день очередным моим подопечным оказался гитарист-виртуоз Стэнли Джордан. Я слышала про него первый раз, но Википедия — известный источник просвещения. Ого, да реально звезда! И вроде даже «Грэмми» есть. Ну уж номинация-то точно!

Мероприятие неофициальное, на камеры не попаду сегодня, перед народом светиться не планирую. Перевод на полчаса, потом можно и личными делами заняться. И поэтому задорные кеды, джинсы и клетчатая рубашка. Вот тебе, Стэнли, lumberjack style! Чувствуй себя как дома!

В Калужском концертном зале за кулисами жду в каморке. Организаторы жалуются — очень сложный товарищ.

— А что там? — оживляюсь я.

— Огромный список нужной аппаратуры, схема стола, на которой только в строгом порядке нужно расставить еду, цветы и напитки.

Ух ты! Разглядываю план — ну надо же, наверняка по фен-шую!

— Но это не самое сложное, — сетуют ребята. — Прикинь, воду пьёт определённую и только из стеклянных бутылок. У нас столько упаковок пластика тут, а он нос воротит. Мы уж хотели перелить в стекло, поставить ему открытые. Но боимся, что вообще психанет и выступление отменит.

Ребят жалко. Стараются.

— Может, в ресторане что есть? Там же всегда в стеклянных бутылках воду подают.

— О! — оживляются они. — Всё, мы побежали в ближайший!

Я смотрю на часы и с тоской в окно. Там дразнится прекрасный майский день, и у меня, вообще-то, планы. Со сцены доносится музыка. Обожаю саундчек, не знаю почему, но есть в этом что-то особенное, притягательное. Когда выдёргиваются ноты из разных инструментов — сначала нестройно и в разнобой, а потом раз — плавно выстраиваются в гармоничные аккорды, впоследствии сплетающиеся в мелодию, которая потом, возможно, проникнет в твою душу, зацепит и внутри, и снаружи да так, что ты и опомниться не успеешь от того, как это так вышло. В такие моменты хорошо давать

выхлоп эмоциям. Хочешь плакать — плачь, хочешь улыбаться — не стесняйся! Ну что, Стэнли, чем ты нас порадуешь сегодня?

Я стою за сценой, наблюдая вдалеке за худенькой фигурой с гитарой. Стэнли тоже одет в джинсы и кеды. Чёрный свитер сливается с тёмной кожей музыканта, длинные волосы цвета вороньего крыла убраны в низкий хвост. Что-то есть знакомое в этой картинке.

— А это точно не Ленни Кравиц? — уточняю у стоящего рядом журналиста.

Тот закатывает глаза:

— Какой Кравиц? Это же сам Стэнли Джордан! «Грэмми»!

Да поняла тебя, ок! Как будто у Кравица «Грэмми» нет. Ну уж очень похожи издалека.

Фигурка-тростинка стремительно двигается по сцене. Стэнли недоволен: что-то не так со звуком. Но он ни на кого не кричит. Он вкрадчиво объясняет команде, где и что нужно подправить, подкрепляя слова жестами. Всё должно быть доведено до совершенства, уникальный звук непременно надо поймать! Невозможно сыграть одно и то же произведение совершенно одинаково. Однако его нужно сыграть именно так, как хочет это сделать сегодня Джордан.

Я снова смотрю на циферблат — репетиция явно затягивается. Организаторы немного нервничают, журналисты лениво зевают за сценой, где уже собралась местная богема — поглядеть на звезду. Но никто даже и не осмеливается прервать музыканта — если уж тарелка супа у него должна стоять чётко по схеме на столе, то что же будет, если его прервать прямо сейчас? Улетит муза, треснув как следует крылом по головам гостей бала, и всё, можно расходиться.

Менеджер Стэнли тихо что-то шепчет ему на ухо. Тот ошарашенно моргает головой — нет, нет, никаких интервью до концерта. Может быть, после.

Что значит — может быть, после? Вообще-то у меня дела! В ярости выдыхаю — звездаааа... Ну, а нам-то простым смертным что делать-то?

— Ну как что, — разводит руками один из ребят. — Видишь, вон там стульчик стоит? Иди посиди, послушай его — не каждый же день такое чудо к нам приезжает, а после быстренько переведёшь его для нас всех, и домой.

Я вытягиваюсь на жёстком сиденье за сценой, среди настоящих ценителей музыки. Чувствую себя немного глупо, специфика Стэнли — джаз-фьюжн — я же в этом совершенно ничего не понимаю. Ладно, если что — вздремну.

— Играть будет минимум час, — с придыханием уверяют организаторы. — А то и больше. У него как пойдёт. Иной раз и со сцены не выгонишь.

Так себе новость.

У Стэнли на самом деле уникальная техника игры на гитаре, которая называется фортепианная.

— Он играет на гитарном грифе двумя руками, словно на рояле, — поясняет один из знакомых музыкантов за сценой. — Он крут! Вообще, феноменальные способности.

Спустя всего лишь несколько минут я с ним соглашаюсь. С моей локации не видно Стенли — я лишь слышу звук. Станный, необычный, заполняющий меня постепенно, словно тёплый глинтвейн в промозглый осенний день. Я уже не стремлюсь домой и по делам никаким бежать не хочу. Я хочу быть здесь и сейчас, вот в этой мелодии. Мне кажется, что на сцене не один человек, а два или три. Слышатся звуки фортепиано и приятный голос, поющий на английском. Мгновение! Остановись! И снова вступает гитара. Уже непонятно, где я и что тут делаю. Мне хочется грустить, а спустя пять минут смеяться.

Подобные сильные ощущения от музыки я испытала в Чикаго, когда попала на концерт знаменитейшего виолончелиста Йо Йо Ма, про которого мне рассказал приятель-виолончелист. Он настойчиво утверждал, что мне непременно нужно побывать на его концерте, ибо легенда не приезжает в Россию. Раз был вроде, и публике не очень-то понравилось.

Цены на него были запредельные. Я сидела на самом верху, на самом дешёвом месте. Я определила Йо Йо Ма только по виолончели — в тот день он играл не один, а в квартете. Но это было нечто. Мне кажется, что в моём животе в тот момент была не одна бабочка, а целый бабочкиный сад. Перед моими глазами пронеслась куча мест и людей... в конце концерта я аплодировала стоя, растирая тушь по лицу. Этот мужчина довёл-таки меня до слёз.

Как сейчас помню всё, что произошло после концерта Йо Йо Ма...

...Я решаю отблагодарить виолончелиста за испорченный макияж и спускаюсь вниз. С правой стороны замечаю лестницу, у которой толпится народ в дорогих шубах и костюмах. На мне тоже шуба, искусственная, правда, но смотрится отлично и мне идёт.

— А куда эта очередь? — пылливо спрашиваю я, как будто в советские времена. Но в отличие от советских времён, народ в теме.

— Сейчас выйдет ОН!

— Кто он? — недоумеваю я.

Дама в мехах закатывает глаза, словно тот журналист, с которым мы обсудили Кравица.

— Йо Йо Ма, конечно!

Ага! Я выключаю в себе приобретённую американскую вежливость и включаю русскую на полную катушку. Раз-два, и я уже в первом ряду. Мне жарко в шубе, но я держу марку. Дамы закутаны в соболя и норку, а на мне — вот именно! Мексиканский тушкан! Сшитый в Турции, из России привезённый. Греет, кстати, отменно, в холодные чикагские зимы.

Маэстро не заставляет себя долго ждать. Он только что отыграл сложнейший концерт. Возможно, это для него всего лишь работа, обычный «офисный» день. Но для нас это особенный момент, момент, который запомнится на всю жизнь.

Йо Йо Ма выходит к публике. На нём свежая кипельно-белая рубашка, на лбу ни капельки пота, на лице широкая улыбка. Да, да, я рад видеть вас всех! Весь Йо Йо Ма излучает этот послыл. И нам хочется этому верить, хотя, скорее всего, это неправда. Наверняка музыкант устал, хочет нормально

поужинать, пообщаться с женой и детьми. Но он не может этого себе позволить, как это делают многие известные люди, не достигшие даже и минимума того, чего достиг он. Йо Йо Ма продолжает работать, теперь вторая часть напряжённого расписания — общение с публикой.

К маэстро подводят восьмилетнего виолончелиста — получить благословение кумира. Тот обнимает мальчика, говорит несколько ласковых, ободряющих слов. Фото на память, автограф... следующий!

Моя очередь. Я путаюсь в словах, говорю ему комплименты, который он слышал, возможно, сто пятьсот миллионов раз. Йо Йо Ма подписывает мне автографы — один для меня, второй для моего приятеля, старательно выводя странные славянские имена.

— Как-как ты там сказала? Какие буквы? — улыбается он. Остальной народ терпеливо ждёт, ни произнося ни слова. Им тоже достанется минутка счастья от гения. Надо только чуточку подождать.

Мне хочется обнять Йо Йо Ма. Он не против. Следующий...

...А вот у нас Стэнли публике нравится. Вообще, в Калуге публика очень воспитанная, принимает артистов просто отлично. Поэтому многие исполнители так любят возвращаться сюда не раз. Денежный вопрос, конечно, никто не отменял, но и подобную атмосферу найти тоже непросто.

Стэнли играет уже больше часа, практически не делая никаких пауз. Публика то и дело рукоплещет после каждого шедевра. Музыкант вновь берёт в руки гитару, и снова ноты вытанцовывают затейливый танец... Ненавижу джаз, обожаю этот джаз...

Полтора часа пролетели как одна секунда. Стэнли выбегает со сцены, за кулисы, словно ему лет десять, и обнимает организатора. Как это по-американски! Он играет на бис ещё одно произведение и, словно порхая, скрывается в своей гримёрке, прижимая к себе драгоценную гитару.

Суровый менеджер призывает журналистов к порядку — музыканту нужно немного отдохнуть. Спустя десять минут мы забиваемся в небольшую комнатку. Стэнли сменил концертный свитер на удобную чёрную футболку — он похож на грациозную пантеру. В ухе поблёскивает длинная серёжка. Пират!

По-голливудски улыбается. Готов работать. Йо Йо Ма!!!

— Привет, Стэнли, я — Татьяна, я сейчас буду для вас переводить.

Он кидает незатейливое Ни и внимательно смотрит в глаза. Отлично, есть контакт! Вообще, американцы это любят, это часть их культуры. Я это знаю и редко теперь отвожу глаза. А русским такая манера не нравится. Для русских — это вызов, а для американцев — знак, что ты расположен вести переговоры.

У Стэнли чудесный акцент. Он родился в Чикаго, а сейчас живёт в Калифорнии. Крутой микс. Музыкант медленно выстраивает фразы, делает паузы, удостоверяясь в том, что я всё понимаю и успеваю переводить. Получается мой любимый полусинхрон, ещё благодаря тому, что журналисты даже не удосужились придумать новые вопросы. Я их уже читала в других интервью, статью в Википедии тоже. Друзья мои, ну симпровизируйте уже

что-то оригинальное! Хотя ведь ваша банальность так облегчает мою работу! И на этом спасибо.

При вопросе о новых проектах музыкант с воодушевлением рассказывает о своей школе в Калифорнии для молодых музыкантов. У него горят глаза, улыбка становится ещё шире. Говори, Стенли, ещё, ещё! Я вглядываюсь в его лицо и вижу едва заметные морщинки. Сколько, сколько тебе лет? За пятьдесят??? Это невозможно! Что ты ешь? Может, какие-то особые пилюли? Открой нам всем секрет!

Спустя сорок минут интервью подходит к концу. Джордан подписывает фотографии.

— Спасибо тебе, Татьяна, — улыбается он.

Хм, имя моё запомнил, приятно! Я понимаю, что через две секунды он его забудет. Но это не имеет значения. Зато я навсегда запомню то волшебство музыки, созданное руками гения.

— My pleasure, Stanley! Good luck with your projects!

Я выхожу на улицу — майский вечер располагает к длительной прогулке. В голове журчат джазовые фьюжн мелодии, жутко хочется мороженого и на Воскресенку. Айда гулять!

ЛЮЦИЯ И ПАУЛЬ

Why don't you come and go with me
Somehow I know, I've waited my whole life to see
You standing there with the wind in your hair
I'm as sure as a boy, could be
You are the girl that's been running around in my dreams

Tyrone Wells «Running around in my dreams»

Уютную просторную террасу обдаёт лёгкий морской ветер. Я медленно и глубоко вдыхаю Испанию, точнее, свободолюбивое настроение Барселоны. Да, я именно здесь, в пригороде этого своенравного города. В семи минутах ходьбы — Средиземное море. В нескольких сантиметрах от меня — Люция и Пауль. Мы завтракаем. Они только что забрали меня из аэропорта, и вот сейчас мы стараемся обменяться всевозможными новостями. Мы не виделись год, а может, чуть больше. Но это не имеет значения. Если между кем-то есть хоть тоненькая, но очень крепкая цепочка, сотканная из позвякивающих звеньев дружбы, то она очень крепко может связать совершенно разных людей. И неважно, сколько дней или лет ты не виделся с этим человеком. Вам всегда есть чем поделиться.

Люция и Пауль — две противоположности. Она — красивая словачка. С яркими голубыми глазами, резко, но аккуратно очерченными синей подводкой, коротко стриженными рыжими волосами, классно промелированными красным и чёрным. Люция уверенно держится и очень любит цвет. Вся её одежда идеально ей подходит, и она с первых секунд привлекает к себе

внимание — гордая, независимая, прямо смотрящая тебе в глаза. Лидер. На неё хочется быть похожей — начиная от осанки, заканчивая тем, как она разговаривает с Паулем. И тут ты наблюдаешь совсем другие метаморфозы. В глазах тают даже самые малюсенькие льдинки, растворяясь в бирюзе, когда Люция смотрит на него. От неё тут же исходит какое-то домашнее тепло, словно от свежее выпеченного хлеба. Оно обволакивает, и этому совершенно невозможно сопротивляться. И Пауль не может, да и не хочет.

Всё-таки славянские женщины — да простят меня представительницы других национальностей — особая каста. Мы можем быть мягкими, домашними, заботливыми, но, как только услышим малейший шорох опасности, тут же встаём в стойку и защищаем не только своё потомство, но порой и своего мужчину. Но очень незаметно для него. Здесь уж мы мастера. Имея два сильных плеча, мы втайне мечтаем о двух других, более выносливых, чем у нас. Но если не находим, то всегда готовы подставить своё. В русских сказках одним из самых любимых персонажей выступает Иванушка-дурачок, который иногда даже бывает и царевичем. И ему постоянно несказанно везёт, когда ему попадает не Василиса Прекрасная, а Василиса Премудрая, которая своими советами и выводит бедолагу на путь истинный, вытаскивая его из разных передраг, но как-то неприметно, уходя в тень, давая возможность Иванушке из дурачка всё-таки стать человеком. Порой вынужден Иванушка с Кощеем сразиться или Змеем Горынычем, но всё ж для его блага. Ибо нечего малахольным по миру скитаться, взрослеть пора, дружок. Женщина-то мудрая твоя ничего плохого не посоветует. Слушай ты её иногда хоть... и мож станешь царевичем настоящим. А то и царём! Уж она-то постарается.

Пауль — полная противоположность Люции. Он интроверт, прячущий свою природную застенчивость под немецкой сдержанностью. Всё у него аккуратно: прекрасно подстриженные седые усы, замечательная стрижка, тщательно накрахмаленные белоснежные рубашки. И конечно, дорогие стильные часы — Пауль в них разбирается и коллекционирует. У них дома везде часы — на стенах, на столах, — многие очень забавные и занятные, Люция любит дарить ему такие. В Испании у них очень интересный дом — они арендуют его у местного художника, поэтому часовое безумие прекрасно вписывается в интерьер.

А сама Люция предпочитает простые модели на разноцветных ремешках. Их у неё великое множество — под каждое платье, блузочку или брюки. Цвет! Яркий, броский, сочный... он всегда с ней. Он не режет глаз, он манит, притягивает. Люция напоминает мне жар-птицу. Но одно неловкое движение — и можешь получить ожог, который долго не затянется, а потом превратится в незаметный шрамик, то и дело напоминающий о себе, особенно в плохую погоду.

Пауля ранило подобным образом внезапно десять лет назад. Он и сам не понял, как это произошло. Когда тебе пятьдесят, у тебя уже давным-давно устроенная жизнь, добротный дом, привычная жена, взрослый ребёнок — всё под контролем, по порядку, предсказуемо, ты не думаешь о том, что

что-то может поменяться. Вроде бы уж большая часть жизни прожита вполне достойно и хорошо, сравнительно скоро пенсия и новые размеренные занятия. Чего уж ещё ждать? Рациональные спокойные люди чаще всего подвержены подобным шуткам судьбы. Ррррраз! Секундное умопомешательств — и вот, привычный мирок нарушен, и ты совершенно не знаешь, куда себя деть. В твоём старом мире уже нет для тебя места, а новый ещё даже не построен. Нет даже проекта. Но ты точно знаешь, что очень бы хотел пожить в новом доме. Непонятно, правда, надолго ли, но какое-то время точно.

Те, кто испытал любовь с первого взгляда, счастливые люди.

— Если бы мне кто-то сказал, что я выйду замуж в пятьдесят лет! — смеётся Люция.

Мы стоим в очереди на фуникулёр, чтобы добраться до старинного монастыря Монсерат в пригороде Барселоны. Погода чудесная — а разве она может быть иной в Каталонии в сентябре! На безымянном пальце левой руки у Люции поблёскивает колечко из белого золота. Украшение выбрал Пауль для их свадьбы год назад. Вообще, пожениться — это была его идея.

— После неудачного брака я больше не планировала выходить замуж. Это вовсе не обязательно. Да и не всем это надо. Навязанный стереотип! Сколько женщин, да и сколько мужчин, счастливы в браке? Просто почему-то есть некие рамки, что именно в этом возрасте ты должен сделать именно это. Особенно остро видно это в России. В Москве, может быть, это не так, но вот в Калуге очень даже заметно. Когда мне было столько же лет, сколько и тебе, у меня была отличная работа, маленький ребёнок, своя квартира и отличные перспективы впереди. И вообще ни о чём там не беспокоилась, что я одна, что у меня нет мужа и всё в этом роде. Чушь какая! Даже когда у меня появился Пауль и я через некоторое время поняла, что это достаточно серьёзно, всё равно не стремилась к браку. Захотел так он! Ты не представляешь, как на этом настаивал. Мне даже пришлось менять фамилию. Во как!

Действительно, годичная командировка Люции в Ганновер принесла ей массу сюрпризов. Судьба словно водила их за нос — они постоянно оказывались в одних и тех же местах, но с временным опозданием. Люция стажировалась в том же самом университете в Германии, что и Пауль, но на несколько лет позже. Он должен был получить контракт в Братиславу на завод, когда она там работала, но в последний момент всё переигралось. Командировки, семинары, конференции... они должны были встретиться намного раньше, но этого не случилось. Ибо время знает само, когда что наступит.

Ты получишь своё, только подожди. Не торопи время, оно всё расставит по своим местам.

Иногда, анализируя цепь событий, думаем: как же так? Ведь всё могло бы быть по-другому, если бы тогда! Было бы по-другому... Но это была бы уже не твоя история.

В тот день, когда Люция уезжала из Ганновера, как ей казалось, навсёгда, Пауль пришёл проводить её с дочкой на парковку. Её годичный контракт закончился, предстояло вернуться в Братиславу. Отношения с Паулем, как ей казалось, тоже. Немец был не свободен, поэтому она всячески гнала

от себя сентиментальные мысли прочь. Всё! Дальше, дальше. Люция вообще не живёт в прошлом. Для неё существует настоящее, где есть мощный телескоп, при помощи которого она отлично видит будущее на несколько шагов вперёд.

Пауль медленно помогал ей загрузить вещи в багажник.

— Я старалась об этом вообще не думать, — продолжает Люция, когда мы стоим в очереди к Чёрной Мадонне; Пауль не поехал с нами, он терпеть не может очереди, а тут приходится ждать. — Что было, то было. Но я до сих пор не могу забыть его взгляд, такой пронзительный щемящий, когда он стоял на парковке. Я дала по газам и отправились в Словакию. А он всё стоял и смотрел нам вслед.

Через неделю Пауль появился у Люции на пороге её дома в Братиславе с чемоданом. Он приехал. Чтобы остаться навсегда.

Десять лет они колесили по разным странам, расставаясь максимум на неделю. Прожили три года в Калуге — Люция отлично освоила русский. У неё вообще всё получается на пятёрку. Сейчас в процессе — испанский.

А Пауль всё стесняется говорить на русском, хотя учил его в школе. Но очень старается. Ему есть за кем тянуться.

— Зато я понимаю по-словацки, — парирует немец.

Да и испанский пошёл у него гораздо быстрее. Все заказы в ресторане гордо делает он. Люция внимательно слушает — подстраховка не помешает.

Мы с ней заходим в собор, чтобы поклониться святыне. Чёрная Мадонна терпелива, она выслушивает всех, внимательно взирая на тебя со своего трона. Мы загадываем по желанию.

— Главное, никому не рассказывать, — говорит Люция. — Если сбудется, то нужно непременно вернуться через год.

— Хорошо, — радостно киваю головой.

Мы неспешно прогуливаемся по территории монастыря, зажигаем толстые восковые свечи у намоленного места. Удивительно всё-таки, на что способен человек! Как можно было возвести подобное чудо так высоко в горах? Учитывая то, что это было построено несколько столетий назад. Иногда мне кажется, что тогда мастера были даже искуснее и изобретательнее, умудряясь создавать нереальные шедевры самими простыми инструментами. Подобное впечатление произвёл на меня храм Покрова на Нерли во Владимире. Разумеется, их нельзя сравнивать. Но я долго не могла прийти себя от восхищения, разглядывая архитектурный замысел древнего зодчего.

Технический прогресс ускоряет и в какой-то степени упрощает нашу жизнь, но порой он делает её менее творческой и созидательной.

— Всему своё время, — Люция откусывает кусочек шоколадного мороженого, оно в Испании просто изумительное. — Нужно дожидаться своего человека. Это просто обязательно. Он придёт, особенно, когда его совсем не ждёшь. И ни в коем случае нельзя в нём растворяться. Надо быть самодостаточной. Во всём. И потом, когда он появляется, у тебя возникает такое чувство, что, несмотря на то что у тебя всё есть, вот именно его и не доставало.

— Как вишенка на торте!

— Именно. Торт и без вишенки вкусен сам по себе. Но с вишенкой получается законченная композиция.

Они проводят вместе почти всё время. Ездят на работу и с работы на одной машине, хотя у каждого есть своя, проводят вместе отпуска, смотрят по вечерам новости, Формулу-1 и биатлон. У Пауля недавно родилась внучка. Люция считает её своей.

— Я всегда мечтала встретить человека, с которым можно просто быть собой. С которым можно просто подурочиться.

Быть самим собой и с самим собой не всегда получается. А вот так, с кем-то другим — это явление просто из ряда фантастики. Да нет же, будь уверен: это реальность. Ведь ты и сам не знаешь, что ждёт тебя завтра? Что таится за углом? Ты к этому готов?

— До встречи через год, Монсерат, — улыбается Люция. — Ну что, поехали есть паэлью? Пауль уже точно проголодался и нас ждёт.

— А ты расскажешь ему про своё желание?

— Конечно, нет! Должна же быть в женщине какая-то загадка!

Люция уверенно мчит на «Сиате» по ровной каталонской дороге. По радио поёт Бон Джови.

It's my life...

It's now or never...

Через полтора часа мы будем ужинать паэльей в уютном испанском ресторанчике, слушать море, пить чудесное испанское вино, от которого можно немного захмелеть, прекрасно выспаться, а потом бодрячком пойти на работу на следующий день... или болтать. Обо всём на свете. Что принесёт нам завтра — мы не знаем. Но наверняка что-то хорошее. Главное, быть к этому готовым. Ну а пока...

— На здоровье! Prosit! Na zdravie!

Павел Тришкин

Павел Сергеевич Тришкин родился в 1981 году. Окончил КГУ им. К.Э. Циолковского. Работал учителем, менеджером. Участник нескольких литературных фестивалей и Форумов молодых писателей России и зарубежья. Стихи публиковались в различных сборниках и альманахах Калужской области и России. Автор книг стихов «Птичий остров», «Помарки». Руководитель областной литературной студии «Вега» с 2013 по 2019 год. Составитель молодёжного литературного альманаха «Зерно». Лауреат нескольких областных литературных премий. Член Союза российских писателей. Живёт в Калуге.



НЕЛОВКИЙ ДЕНЬ

* * *

Холодный кофе, тёплая рука.
Хорошего, спокойного, земного!
Люби меня, мой мир, люби такого,
Пока я здесь, ещё с тобой пока,
Потом люби кого-нибудь другого.

по сияющей набережной.
А за ним,
не спеша,
шагает
история России.

* * *

Мой Пушкин
на берегу реки
Фонтанки.
Смотрит на ледоход.
Февраль забыт.
Весна
набирает силу.

Мой Пушкин
невыносимо красив,
хотя его
довольно просто
считать красивым.

И вот он отворачивается
и идёт,

* * *

Лишь тени тех, кого я так любил, мне
не дают терять источник света.
Боль помнит всех, и сколько хватит сил,
я буду благодарен ей за это.

Отчаяние, печаль — не так уж много
за имя каждое, не отступлю, не дрогну.
И на ладони выдуманной Бога
о встрече будущей, уверовав, молю.

* * *

Когда не было смерти, а были
велосипеды и удочки.
Лето (огромное, как твои вопросы)

Чингачгук, капитан Блад,
соседская девочка.
Лето (пахнущее как твои волосы)

Вся семья собиралась за самоваром,
дед кидал в трубу щепочки.
А ты спрашиваешь (про осень)

У стола не хватало места,
так что младшие ели торт отдельно.
Что тебе до осени? (она наступит)

Мне же было без разницы,
какой сейчас день недели.
Что тебе до зимы? (и зима будет)

Самовар стоит в комнате,
у него сломан кран, стол сгнил.
Я любил эту девочку? (Да, я её любил)

Так и не научился
чинить самовары.

* * *

Неловкий день рассыпал воробьёв,
Они на полпути в кустах застряли,
Сбежавшимся на выручку котам
Теперь смешные песенки поют.
Коты следят, чтоб воробьи с кустов
Нечаянно на землю не упали.
День выдал дел котам и воробьям.
Даст Бог, и нам найдётся смысл тут.

* * *

До того, как нас заперли в тесную клетку
Мы качались гордо на тонких ветках,
Мы с тобою были певчие птицы,
А теперь, кто скажет, во что превратились?
Но во что бы не выпало превратиться,
Всё равно мы помним, какими были.

Иногда не важно, каким ты станешь,
Если знаешь твёрдо родную стаю,
И хотя нас накрепко запирали,
Все преграды выглядят так нелепо,
И пускай мы долго с тобой молчали,
Но споём, как только коснёмся неба.

* * *

а впрочем, какой там космос, какая там
бесконечная всеобъемлющая пустота?
если всё, что мы можем — это сидеть вот
так, на краю холста.

и не то что художник, не то что его эскизы,
мы случайные капли, сорвавшиеся с кисти,
и такие вот капли рассуждают о смысле
жизни?

находясь на холсте, невозможно понять
картину.
мы подняли голову и подумали,
что летим, но
мы всего лишь маленькое пятно.

мы всего лишь маленькое пятно.

* * *

Когда из нас посыплется песок и заскрипит
у смерти на зубах, даст Бог, мы выйдем
в путь,
запасшись впрок, из точек «Б» до точек
в небесах.

Даст Бог, мы прошивнемся в бутиках
хорошей
памяти, со скидкой на года. И навсегда
исчезнем на глазах своих детей, уже тогда,
когда из нас совсем посыплется песок,
не ранее положенных часов.

Вадим Шевяков

Вадим Олегович Шевяков родился в 1988 году в городе Сухиничи Калужской области. Учился на математика, работает программистом, в свободное время иногда пишет стихи. Публиковался в нескольких альманахах, неоднократный призёр локальных конкурсов. Живёт в Калуге.



ОДУВАНЧИК ЛОМАЕТ БЕТОН

* * *

Нет ничего красивее,
Что тут ни говори,
Чем небо вечернее синее,
Оранжевые фонари.

В этих прозрачных сумерках,
Словно в воде, плыву.
Лампы свинцовым суриком
Очерчивают синеву.

Отсвет зари дрожит за мной,
Тенью ночной гоним.
На горизонте джинсовом —
Пуговицы-огни.

Здесь, на востоке города,
Куда меня вёл проспект,
Реет, как знамя, гордо
Ясный индигов цвет.

А я иду, не сворачиваю,
Ласковым ветром пьян.
Синее и оранжевое —
Новые инь и ян.

Колбы с парами натрия —
Солнцами надо мной,
И наплевать, женат ли я,
Во сколько приду домой.

* * *

Поэт выступает на маленькой летней сцене,
Надеясь, что кто-то его хорошо оценит.
Хоть я половину аллюзий не понимаю,
Но слушаю, даже можно сказать — внимаю.

А между мной и поэтом проходят дети,
Они ничего не думают о поэте.
Совсем ничего — ни хорошего, ни плохого.
Они ещё слишком умные для такого.

* * *

Одуванчик ломает бетон
И растёт посреди автострады.
Я пишу, как всегда, не о том
И не так, как, наверное, надо.

Не пристало мечтать о цветах —
В этом возрасте всяк плодоносит.
Мне пора бы пройти через страх
И принять свою близкую осень.

Но смотрю, тихий вздох затая:
Это грустно, и страшно, и мило,
Как крошит полотно бытия
Твоя хрупкая, нежная сила.

Этот маленький вздёрнутый нос
Ни пред чем не склонится на свете,

Твой шампунь и бальзам для волос
Заглушают зловоние смерти.

Провожая тебя до такси
В затрапезном махровом халате
И, запретного плода вкусив,
Становлюсь оттого лишь крылатей;

Как обычно, пишу не о том,
И метафора слишком конкретна:
Одуванчик растёт сквозь бетон,
Ожидая июльского ветра.

* * *

Я тебя не пойму. Ты права, это вряд ли возможно.
В древе рода людского друг другу придёмся никем.
Боль твою никогда не почувствую собственной кожей —
Я могу лишь легонько погладить тебя по щеке,

Чтоб тебе стало легче. Увы, ты меня не попросишь,
Ведь щека онемела, замёрзла от слёз и от зла.
Но сквозь нашу двойную броню ледяных одиночеств
Я хочу передать хоть немного живого тепла.

Хоть немного... И вправду немного. Не хватит согреться.
Нужен ад — растопить эту стужу, что родом из детства.
С половинкою спички куда же я лезу, дурак?..
Я тебя обниму. Без причин. Без надежд. Просто так.

* * *

Я сижу на кухне голый,
И со мной — никто.
Из колонок звук тяжёлый
(Вроде Sabaton).

Гитарист терзает струны,
Что-то вереща,
А в руках моих — кастрюля,
Полная борща.

Этот борщ краснее крови,
Гуще киселя.
Мне жена его готовит
Пропитанья для.

Я люблю её за это,
Да и просто так.
Оттого сижу раздетый
Ночью, как чужак.

Носом втягиваю запах
Свёклы и морквы.
Одиночество внезапно,
Как звонок с Москвы.

Над столом нависнув телом,
Ливером ворча,
Я смотрюсь оцепенело
В зеркало борща.

Акроакrostих

Аура солнца, сияющее гало,
Елей озябших касается еле-еле.
Свет долетел до земли, но не стал теплом.
Листья ушедшего лета давно сопрели.

Иней на ветках, лишайники на стволах —
Януса лики. Живое и неживое.
Нежность рябин и ранение ножевое
Единокровны. Рябина, как кровь, ала.

Падает хвоя, не выдержав высоты, —
Редкость события не отменяет данность.
Азимут мха незаметно ведёт в кусты,
В тёмный овраг, минус первый подземный ярус.

Долгая ночь, за которой зари не жди,
Ляжет на лес невесомой, но плотной тенью.
Я уважаю простой стоицизм растений,
Не убоявшихся тьмы. Неисповедим

Астрономически точный её приход,
Сырость земли поднимается ей навстречу.
И черед добродетелей и грехов
Тьме безразлична. Она просто гасит свечи

Огненных клёнов и факелы тополей,
Газовые горелки кустов сирени...
Нет огонька, над которым не властно время,
Есть только голые ветви. И всё голей

Плеши пригорков. Пустыннее волглый лог.
Реже чащобы. И весь, как невеста, в белом,
Автоматический жнец, многорукий бог
Хронос вращает серпами секундных стрелок.

* * *

Мне очень нравилось прощаться.
Я это делал слишком часто.
Кричал «карету мне», как Чацкий,
И уходил, захлопнув дверь.

Прощался, словно на вокзале,
Подставив щёки для лобзаний.
Скулу бороздкой прорезая,
Стекала сладкая слеза.

Демонстративно был несчастным.
Потом, конечно, возвращался.
Мне очень нравилось прощаться —
Гораздо больше, чем теперь.

Дверям цены ещё не зная,
Я хлопал ими, как глазами,
А двери просто исчезали,
А двери просто исчезали...



Александр Ларин

Александр Константинович Ларин — член Союза писателей России с 1998 года. Автор 25 книг художественной прозы, девять из них вышли в крупных издательствах Москвы. В областной периодической печати опубликовано около пятидесяти историко-краеведческих работ. Лауреат Всероссийской литературной премии им. братьев Киреевских «Отчий дом», областных литературных премий, а также журналистской премии Государственного Эрмитажа «Искусный глагол». Живёт в Калуге.

КУРИНЫЙ БОГ

Повесть

Дверь скрипнула ноткой «си» второй октавы.
— Я у тебя кружку не оставлял? — беззубо прошамкал, входя, старик Бубнов.

— На тумбочке, Михалыч, за самоваром. Творил сегодня? — не оборачиваясь, осведомился я.

— Кое-что изобразил. Зайди, покажу.

Его мастерская почти рядом с моей — через коридор наискосок. Я всегда жалел старика Бубнова. Живописец от Бога, тонко чувствующий цвет. Выпускник «Строгановки», ещё той, советской. Лет десять назад от него ушла жена с ребёнком, и он начал тихонько сходить с ума. Именно тихонько.

Вот уже несколько лет Бубнов пишет одну и ту же картину. Зимний лес. На переднем плане — волк, воющий на огромную луну. Михалыч приходил в свою келью ежедневно, причём раньше всех своих коллег-соседей, и немедленно приступал к работе. Начинал он с того, что мастихином счищал с изображения спутника Земли вчерашнюю невысохшую краску. Затем принимался переписывать луну (она, как в детских иллюстрациях, была с человеческим лицом). К концу дня соседи навевались к Бубнову посмотреть, чей лик на сей раз он изобразил.

Обладая редким даром портретиста, он за неполный день успевал сотворить очередное чудо. В лунном лике коллеги-зрители узнавали самых популярных людей страны: или министра иностранных дел РФ Лаврова с его широкой улыбкой, или, к примеру, профессионально одухотворённое лицо лидера КПРФ Зюганова... Но чаще на спутнике Земли отражались лики коррумпированных чиновников. Все эти ежедневные метаморфозы педантично фиксировал на цифровую минольту контравангардист Дроботов-Вальтер. Этот новатор готовил инсталляцию «Планета бытия».

* * *

Но всё это лирика. Сегодня что-то совсем грустно. Не помогло ритуальное чаепитие с пейзажистом Володей. Он показал свежие деревенские этюды, похвастался новым приобретением — зонтиком для летних пленэров.

Настрой сегодня был минорный. А ведь день только начинался. Я было вознамерился для поднятия тонуса дербалызнуть рюмку коньяку, как в дверь постучали. Это заглянул искусствовед Гена Топорков. Как всегда, вовремя.

— Одному пить, старик, не есть гут, — наставительно сказал теоретик изобразительного искусства, кивнув на бутылку и одинокий стакан.

— Согласен, — вздохнул я. — Примешь?

— Исключительно за компанию. Итак, вздрогнем за торжество соцреализма, хе-хе.

Ну что же, после недолгого визита искусствоведа самочувствие заметно улучшилось. Умел, умел Гена воздействовать на серое вещество, вселять надежду неизвестно на что: то ли на нечто эфемерное, не имеющее названия, то ли на светлое будущее (тоже, увы, не имеющее зримых очертаний). Одним словом, я приступил к начатой месяц назад работе.

* * *

Месяц назад позвонил старый знакомый, ныне предприниматель средней руки Ваня Громов.

— Как творчество, Андрюха? — услышал я его бодрый голос.

— Да как сказать... — начал я.

— Короче. Есть реальная тема. Ведь тебе деньги нужны?

— Глупый вопрос. Естественно.

— Тогда давай пересечёмся.

— Заезжай. Я всегда на месте.

— Через полчаса буду.

Стремительно, в свойственной ему манере ворвавшись в мастерскую, Ваня начал с порога объяснять суть дела.

— Ты ведь знаешь, что я себе построил загородный домишко. Что я говорю: новоселье вместе отмечали. Ну вот. Через дорогу от моего бунгало буквально за год построился банкир Ягузов. Я не буду тебе рассказывать, каким курятником кажется моё жилище по сравнению с его коттеджем. Неделю назад он меня пригласил по-соседски знакомства ради. Таких интерьеров, Андрюха, в реальной жизни мне видеть не приходилось, ей-Богу. Тебе как художнику было бы любопытно: сплошной антиквариат. Я ещё тогда о тебе вспомнил: вот бы Андрюху сюда! И знаешь, почему? Ягузов неровно дышит насчёт отечественной исторической живописи. Дензнаков на неё не жалеет. В общем, мы хорошо провели время, он ко мне тоже через пару дней заглянул. Короче, смысл в том, что банкир заикнулся на исторических картинках.

— Я понял, Ваня, понял. Но в чём суть дела?

— Так я же говорю: он фанатеет от исторической живописи. И сейчас Ягузов ищет полотно на тему крещения Руси. Но! С местным колоритом.

Грубо говоря, чтобы на картине было изображено, как крестили народ не в Киеве, а в наших краях.

— Хм. Не помню, чтобы кто-то из наших такое изобразил, — вслух подумал я.

— Вот! Вот именно так он и выразился. Я ему: мол, знаю я одного маэстро, который сейчас трудится над подобной темой. Ягузов отреагировал моментально. Твою фамилию я, естественно, не назвал. Сказал только, что приглашу посмотреть, когда вещь будет готова. Но рекламу я тебе, Андрюха, дал ломовую. Так что дерзай, художник.

— Да, Ваня, с тобой не соскучишься. Но вся эта затея смахивает на сюр.

— Почему сюр? Ты ведь живописец, ну?

— Лапти гну! Тема крещения... Как минимум, это сложная многофигурная композиция, сложнейшая светотеневая моделировка, изощрённый цвет... За такой сюжет взяться — очень ответственное дело. А время? Тут полгода работать придётся; впрочем, насчёт сроков ничего определённого не скажешь.

— Ну-у...

— А на что прикажешь жить эти полгода? Ты, что ли, кормить меня будешь? Я, в отличие от тебя, капиталами не ворочаю.

— Не борзей, Андрюха. Мой бизнес — так себе, только что позволяет сводить концы с концами, ты ведь в курсе. Впрочем, смотри. Я предложил — ты услышал. Если сработает хорошо — Ягузов заплатит столько, сколько ты запросишь. Думай. Мой телефон ты знаешь, — с этими словами Ваня Громов покинул мастерскую, оставив меня в глубокой задумчивости.

Предложение Громова пахло авантюрой, казалось зыбким, ирреальным. «Несерьёзно, забудь», — сказал я себе. Однако дня через два поймал себя на том, что непрерывно думаю над композицией и общим решением подкинутой приятелем темы. Утром третьего дня я судорожно выдернул из папки лист бумаги и стал фиксировать родившиеся за это время мысли. И с удивлением понял: получается нечто интересное.

В отношении творчества я человек запойный. Если уж захватит тема, то общество (включая близких) теряет меня до завершения задуманного. Фигурально выражаясь, я абстрагируюсь от внешних раздражителей. Поэтому в предчувствии очередного «запоя» позвонил Громову и сообщил: предложение принято, пусть держит интригу. Ещё я ему сказал, что телефон отключаю, при необходимости сам выйду на связь.

* * *

К такой серьёзной теме нельзя подходить с кондачка. Предстояло погрузиться в эпоху языческой Руси конца X века. И я засел за книги. Передо мной предстали драматические картины, по сравнению с которыми шекспировские страсти покажутся рождественскими сказками.

Оказалось, что далеко не все язычники на Руси согласились стать христианами по воле князя-крестителя Владимира. Они принимали мученическую смерть за своих богов, а чаще убегали, скрывались в соседних княжествах. Много их осело и в нашей вятичской земле, куда христианство добралось

не скоро. Новая религия насаждалась не только проповедями миссионеров, но часто огнём и мечом. Да и времена были жестокими, что там говорить.

Как-то забрёл я в наш краеведческий музей. Разговорился со старинным приятелем Олегом, только что защитившим кандидатскую по археологии. Почувствовав мой живой интерес к вопросу христианизации вятичей, Олег сел на своего любимого конька и часа три с жаром рассказывал о раскопках очередного городища, демонстрируя артефакты. Подписав мне экземпляр реферата своей диссертации, на прощание он посоветовал:

— На эту тему, Андрей, есть интересный текст. Записывай: «Церковно-историческое исследование о древней области вятичей». Скучно, но по существу. Напечатано в 1861 или 1862 году в альманахе чтений в Императорском обществе любителей истории и древностей Российских. Даже скажу, где этот фолиант находится...

В начале XII века на земле вятичей появился пришелец из Киево-Печерского монастыря прозванием Кукша с учеником Никоном. Два этих проповедника призывали вятичей принять православную веру. Надо ли говорить, как непросто заставить человека забыть, отринуть своих намоленных богов и поверить в сына человеческого Иисуса Христа, принявшего страдания и смерть за все грехи человечества.

С проповедями и молитвами двигались Кукша и Никон по дремучим вятическим дебрям. Несомненно, это вызывало ненависть языческих волхвов. И когда христианские проповедники пришли в город Серенск, их убили.

Я начинал понимать, почему местные художники никогда не пытались изобразить процесс христианизации вятичей. И ещё я осознал: те наброски, что я делал — жалкий лепет, ничего общего с историей не имеющий. Всё надо делать по-иному. Или расписаться в собственной беспомощности.

* * *

Но мыслительный процесс пошёл, я уже не мог отказаться от задуманного. Без всякого сожаления уничтожил свои слащавые карандашные и акварельные почеркушки, где фигурировали ходульные персонажи и композиции, наполовину «слизанные» с исторических полотен отечественных и европейских живописцев. Выверенные позы, причёсанный благополучный пейзаж, просветлённые лица — это было совсем из другой оперы. И совсем другой действительности.

По идее, меня должно было посетить некое озарение. Количество приобретённых знаний предполагало совершить качественный переход к иному осмыслению персонажей и событий. Но я понимал и другое: такого озарения нельзя ожидать, лёжа на диване и разглядывая даже самые роскошные альбомы по искусству. Подковавшись в теории, решил я поконтактировать с народом. Как известно, он всегда был носителем национальной идеи и хранителем исторической памяти. Целое состоит из крупиц. С миру по нитке — художнику сюжет. Вперёд, в народные массы.

Первый представитель народа сам пришёл ко мне в образе родного брата. Точнее, прилетел из далёкой Воркуты. Ещё в юности мой романтически

настроенный братец Вадик отправился покорять северные просторы и недра, освоив профессию геолога. До распада Союза его мечты воплощались, как говорится, в жизнь. Но нынче ремесло геолога-поисковика не востребовано, и Вадик занялся частным промыслом. Он сколотил артель старателей из оставшихся за бортом коллег и фартовых авантюристов. Каждую весну они берут в аренду определённое количество земли в труднодоступных районах Зауралья, и моют золото в каньонах северных речушек. Пока ему везёт в этом опасном и трудном деле (язык не поворачивается назвать его бизнесом).

— Ну, как ты тут, братишка? — обняв меня, растроганно спросил Вадик. — Совсем кожа да кости. Не болеешь?

— Да брось ты! Сам-то как?

— Э-э, разве сразу ответишь. Убирай-ка со стола свои тюбики, Андрюха. Будем пробовать дары северного края.

Застелив газетой заляпанную темперой столешницу, Вадик поставил на неё сумку, стал вынимать воркутинскую съедобную экзотику, комментируя каждый продукт:

— Копчёный голец. Копчёный чир. Как обычно, собственного приготовления. Икорка. Так, это для интерьера, — он развернул холщовую тряпку, и засверкала всеми цветами спектра друга горного хрусталя. — Обещал — владей.

— Вадик, ну стоило такую тяжесть волочить? — пытался я остановить его. — Да и куда мне столько?

— Обижусь, брат. Кому мне ещё везти? Так. Это у нас... ага, это опять копчёности, медвежатинка. А это китайские товарищи презентовали корень женьшеня, уже заспиртовал.

— Как, и там китайские товарищи?

— Ха! Да они везде, Андрюха! Ты что, не знал? Настоятельно рекомендую: учи китайский язык, скоро он станет вторым государственным, блин.

Немного выпив за встречу и отведав даров Севера, заговорили о насущном, поплакались друг другу в жилетку. Естественно, я свернул в сторону творчества, хотел было рассказать о своей новой задумке.

— Эх, братишка, да разве этим сейчас народ озабочен? Он занят собственным выживанием, ты понимаешь это? Далеки вы от народа, мастера кисти и резца, как сказал бы Никита Хрущёв.

— А я, по-твоему, кто, разве не часть народа?

— Да Боже упаси! Ты — часть народа? Андрей, смотри на мир трезво. Я ведь тоже иногда выставки посещаю, когда есть возможность. Далеко ходить не надо. Прежде чем к тебе нагрянуть, я в столице дня три поболтался. Сходил в Третьяковку на выставку Коровина к его 150-летию, Фешина вернисаж посмотрел. Да-а-леко вам до них, ребята. Погрязли вы в мелкотемье. Пейзажики, натюрмортики... Такое чувство, что выставки вы устраиваете для себя любимых, а на зрителей вам наплевать. Начхать вам на то, чем народ живёт. Вы как на рынке: всё для продажи. А для души? И не надо вот этого: мы несём красоту людям, мы проповедуем вечные ценности... Пустая риторика.

Такие разговоры Вадик заводит постоянно, и с таким же постоянством клеймит позором современное искусство и меня, как его типичного представителя. Я привык, особо не огрызаюсь. Тем более что элемент сермяжной правды в его мыслях присутствовал.

* * *

Братишка мой отчалил в свою Воркуту: начиналось короткое северное лето, тот самый полевой сезон, когда можно мыть драгметалл. На прощание он сказал:

— Ты зла не держи, Андрюха. Твори. Я тебя уважаю и люблю. А то, что говорил, — забудь, всё суета.

Теперь мне надо было сходить к одному интересному человеку, который мог мне кое в чём помочь. Одна фамилия чего стоила — Особенный! Именно так. Живописец Слава Особенный был известен не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Ну, во-первых, потому, что имеет звание «заслуженного», лауреат многих серьёзных премий. Во-вторых, он настоящий мастер с ярко выраженным философским уклоном. Имеет роскошную мастерскую на мансарде пятиэтажки. Коллекционирует иконы, самовары, настольные лампы и изразцы.

Правда, постперестроечный период и наплевательское отношение местных властей к деятелям культуры сильно осложнили его существование. Аренда полутора сотен квадратных метров мастерской влетала в копеечку, живопись продавать стало большой проблемой, и Слава пустился во все тяжкие. Чтобы заработать конкретные деньги, он был вынужден расписывать пасхальные яйца и продавать их в Швейцарии, где проживали знакомые коллеги. Эти же коллеги познакомили его с частными галеристами, потихоньку он начал продвигать за «бугром» свою живопись. Укрепив зарубежные связи, он значительно улучшил своё финансовое положение.

Но это между прочим и к делу не относится. К Особенному я шёл, чтобы порыться в его бескрайней библиотеке по искусству, а заодно ещё раз обозреть коллекцию икон, чтобы лучше прочувствовать тему. Со Славой мы пребывали в приятельских отношениях, он меня встретил чаем из всамделишного пузатого самовара.

— Ну и что тебя ко мне привело? — спросил Особенный, наливая огненный кипяток в зелёную кружку с драконами. — То по полгода ни ответа ни привета, а то — срочное дело.

— Да где ещё, как не у тебя, можно посозерцать мировые шедевры. Надо, Слава, полистать некоторые альбомы, с твоего позволения. Над чем работаешь?

— Пока застой, — вяло махнул Слава своей сухонькой рукой. — Да ты пей чай-то, специально для тебя заваривал. Элитный.

Около высокого — во всю мансардную стену — окна боком стоял на выверенном по освещённости месте основательный мольберт, сработанный из ценных пород дерева (маэстро может себе позволить!). На нём был закреплён новый холст, завешенный полотном. Увидев мой взгляд, направленный на мольберт, Слава нервно встал и поправил угол полотна,

прикрывающего новую, как я понял, работу. Лукавит Особенный. Не хочет говорить. Ну и правильно.

Однако примерное направление его новой вещи я всё-таки вычислил. На рабочем столике рядом с палитрой лежало несколько набросков сангиной и раскрытых книг. Я скосил глаза на эти книги. Иллюстрация в одной из них представляла собой изображение... языческого идола Хорса! Глаз зацепил и название на корешке одного из фолиантов: «Быт и верования древних славян».

Любопытно, к чему бы это? Особой исторической дрёмью Слава не занимался. Его волновали философские общечеловеческие темы. Очень интересно. На всякий случай я это запомнил, но у Особенного ничего спрашивать не стал, наводящих вопросов не задал. Время всё поставит на свои места. Всё тайное станет явным.

* * *

Первые контакты ничего существенного не принесли: пообщавшись с народом, я такого наслушался, что некоторые откровения по причине явного исторического дебилизма озвучить не решусь. Видно, насчёт памяти о прошлом у населения не всё в порядке. Оно, конечно, объяснимо: нас столько лет дурили историки-коммунисты, поливая грязью всё, что происходило до переворота 1917 года, что теперь в головах многих обывателей кривда причудливо переплелась с правдой, и этот коктейль породил самые невероятные гипотезы об истории Руси.

Да что говорить о далёком прошлом, если даже то, что произошло после Октябрьской революции, успели перевернуть. И убедить в этом враньё наших детей. Они, нынешние дети, на вопрос о том, например, кто такой был Ленин, долго морщат лобики и отвечают: лётчик, преступник, генерал и т.д. Кто угодно, только не вождь мирового пролетариата! Создаётся впечатление, что и сами педагоги забыли, кем был Владимир Ильич.

В общем, хождение в народ закончилось ничем. Его память крепко спала. Иначе и быть не могло. Искать корни нужно было в других местах. Вопрос на засыпку: в каких? Нет ответа. Но меня не просто зацепила тема. Я растворился в ней, и наплевать было на какого-то там банкира Ягузова, я и фамилию его забыл.

Однажды утром я нашёл под своей дверью записку от Громова. Текст был лаконичен: «Есть новости. Будь в мастерской в полдень».

— Ты совсем пропал, Андрюха, — жизнерадостно сказал Ваня, входя в означенное время. — Творишь?

— Пытаюсь, — буркнул я. — Выкладывай свои новости.

— Вот именно. Выкладываю.

С этими словами Громов вынул из своего кейса тощий конверт, небрежно бросил на стол.

— Что это?

— Это, маэстро, спонсорская помощь. Привет от банковской системы в лице господина Ягузова.

— Надо же! Вот уж не ждал! В каком же объёме? И на каких условиях?

— Две тысячи баксов. Без всяких условий, но с надеждой, что ты сработашь ту вещьцу насчёт крещения.

— С ума спрыгнуть! Надеюсь, ты не сказал ему мою фамилию?

— Естественно, не сказал. Держу интригу, старик. Но он мне верит, ведь соседи же. Так что, Андрей, ты меня не подведи. Да, вот что ещё: готовая картина будет оплачена независимо от аванса. И никому ни слова до моего сигнала!

— Хорошо.

— Как вообще-то, дело движется?

— В процессе. Но без комментариев.

— Понял.

* * *

На самом деле никакого процесса в его материальном воплощении не наблюдалось, если не считать нескольких десятков набросков и мучительных бессонных ночей. Я внутренним взором никак не мог увидеть дохристианскую Русь, ощутить её колорит. В один из дней решил развеяться на природе, сделать лёгкий этюдик. Начало лета к этому располагало, зелень не успела пожухнуть от солнца, да и устал я в четырёх стенах, честно говоря. Утречком сел я на пригородный дизель и через полтора часа сошёл на знакомом маленьком полустанке.

Взобравшись на пригорок, заросший вишней-дикаркой, утвердил в траве треногу этюдника. Волшебный вид открывался с этого места. Будто и не было в полутора часах езды никакого города с его бессмысленной суетой. Зелене-ла берёзовая рощица на соседней возвышенности, на горизонте виднелась деревенька. Между ней и рощицей, отражаясь в круглом озерце, стояла полуразрушенная краснокирпичная церковь. Видимо, она была красива когда-то, но колокольня была снесена, угрюмо чернело лекальное сопряжение на месте входных ворот, лишь фрагменты кирпичной кружевной кладки намекали на её бывшее изысканное великолепие.

Этюд получился звонкий, я сам себе удивился. Уже кладя последние мазки на картон, я увидел старика библейской наружности, идущего в мою сторону из низинки. Ивовым прутиком он гнал перед собой двух коз. Пустив их пастись около вишенника, старик подошёл ко мне, стеснительно остановился, не доходя нескольких шагов, посмотрел на этюд.

— Ну как, дедушка, нравится? — спросил я, вытирая кисти.

Он сделал ещё один шаг, тронул себя за бороду, прищурился.

— Жизненно, — сказал он после довольно долгого молчания. — И похоже. А нравится... Как такое может нравиться?

— Это почему?

— Да как почему! — старик стегнул прутиком по траве. — Эх, мил человек, видал бы ты эту церкву в двадцать пятом году! Вот когда она нравилась-то! А нынче что? Срам один!

— Что, в войну под бомбардировку попала?

— Если бы. Свои же, деревенские испоганили. Ещё до войны, при товарище Сталине. Аккурат в двадцать восьмом. А зелены ты верным цветом взял. Чистый изумруд.

— Расскажи, дедушка, про церкву, — попросил я, закрывая этюдник.

— Не спешишь? Тогда я своих блудней привяжу, чтоб не разбредились, а ты покуда свой инструмент сворачивай.

Собрав этюдник, я сел на него. Подошедший сбоку старик примостился рядом на траве, подстелив под себя стёганую фуфайку. Потом достал из нагрудного кармана куртки портсигар, сыпанул из него махорки на четвертинку газетной бумаги, ловко свернул самокрутку. Закурив, предложил:

— Не желаешь горлодёрю побаловаться? Пробирает до мозгов, язвы его!

— Не откажусь. Давненько не пробовал. Моршанка?

— Бери выше: самосад. Ох, грехи наши... Вот слушай. Сам я тогда был мал, в двадцать восьмом годе, мне ведь и повоевать-то почти не пришлось: призвали в сорок пятом. Потому на девятое мая праздновать попервости стыдно было: у всех мужиков, что воевали, вон сколько медалей да орденов, а я — с единою медалькой «За победу над Германией». А про церкву мне мать рассказывала да бабка.

Когда большевики пришли, они стали все церкви закрывать, а попов изничтожать, чтоб духу от религии, значит, не оставить. Ну, ты знаешь, небось. Закрыли и нашу красавицу. Начальник приехал из города, собрал окрестных мужиков и говорит: разбирайте, товарищи, культовое сооружение на хозяйственные нужды. Конечно, старики да старухи креститься начали, иные плачут-убиваются. Как же так, говорят, ведь наши предки на церкву эту всем миром по грошу собирали, и клали свои же мастера. Зачем ломать, кому она мешает?

Да куда там, молодые из комсомольцев и слушать не стали, за кирки, молотки да зубила взялись. Ан нет, не поддаётся кладка-то, больно крепка. Раньше ведь, мне старики сказывали, эту кладку на куриных яйцах замешивали да на особой извести. Походили-походили вокруг добры молодцы несолоно хлебавши, отколупали десятка четыре кирпичей, из каких и три ступеньки не сложишь, да и отстали на время. Но ведь кирпич дармовой, манит: кому печь сложить, кому колодец, кому ещё для чего. Неймётся охотникам до дармовщинки.

Долго подступались к намоленным тем кирпичам, долго способ приискивали. И нашли-таки, поганцы. Прислали в деревню нашу два трактора по осени, поля под озимые вспахать, тут и смекнули богоборцы, как своротить постройку неподатливую. Ведь не поленились же, нехристи, в город поехать, нашли в мехмастерских стальной трос, каких у нас отродясь не бывало. Взволокли тот трос на колокольню, обвязали (не могу понять, как удосужились такую тяжесть взгромоздить на такую-то верхотуру), прицепили к тракторам — и на двойной тяге дёрнули!

И легла колоколенка наземь, как шелом, раскололась на куски. Вот теперь слушай. Наготовили мужики битых кирпичей — говорят, почти ни одного цельного не добыли, — начали строиться. Кто сараюшку кособокою слепил, кто печь сложил. Кузницу возвели вместо деревянной. И всё. На том кирпичи и кончились.

Главное ведь что? В тех домах, где церковный кирпич пользовали, начались нестроения. Может, случайно, а может — наказание оттуда пришло

(старик поднял вверх палец). Одна изба сгорела той же осенью, следом — кузнец в новой кузне помер посереде дня, а был молодец — кровь с молоком. Ещё в одной избе детишки померли в одночасье от непонятной хвори. Хошь верь, хошь не верь, а так оно и было. Нельзя Его гневить, вот как получается. Как видишь, до конца разбирать не стали, забоялись. А теперь вот слух пошёл, будто скоро ремонтировать начнут.

Старик замолчал, выцветшими глазами глядя куда-то за окоём.

— Да-а, — протянул я, — печальная история.

— То-то и оно, — старик встал, поднял с травы фуфайку. — Пойду дальше блудней своих пасти, будь они неладны. Тебе табачку ещё сыпануть?

— Нет, спасибо. Мне тоже пора, а то на дизель опоздаю.

— И то верно. Время к полудню, он скоро обернуться должен.

* * *

В мастерской я первым делом достал этюд, поставил его на подоконник, стал придирчиво искать недостатки. А ведь прав был старик с библейской внешностью (он был похож чем-то неуловимым на Николу-угодника): жестоким получился пейзаж. И с чего я взял, что он мог понравиться престарелому козопасу?

Неожиданно мне пришло в голову, что этот абориген поведал нечто важное. Ну конечно! Он рассказал, как почти на его глазах победившая власть расправлялась с неудобной для неё религией. Жестоко, не обращая внимания на окружающих, не считаясь ни с чем. И насаждала православным христианам всеми возможными способами новую веру — учение Карла Маркса и Владимира Ульянова-Ленина. Надо это дело обмозговать.

Я хотел было поставить свежееиспечённый этюд подальше, на антресоли, к старым пейзажным работам, как в дверь постучали. Это был Гена Топорков.

— Вижу следы пленэра, — плюхаясь на диван, констатировал искусствовед. — Давно писал?

— Только что с дизеля, востроглазый ты наш.

— Чувствую, чувствую, маэстро, пьянящий запах терпентина! Ну, что могу сказать: благополучная работа. Всегда приятно видеть натуру. И место мне знакомо. А я, старик, тоже только что с колёс. Гостил у столичных коллег.

— Сейчас будет чай. Я правильно тебя понял?

— Йес. Полная обезвоженность внутренних органов вследствие...

— Неумеренного употребления алкоголя, — закончил я фразу.

— Примерно так.

Обжигаясь и шумно отхлёбывая, он пил чай и одновременно рассказывал о своих приключениях и наблюдениях за конъюнктурой арт-рынка.

— Покрутился я, Андрей Петрович, по вернисажам, познакомился с актуальными тенденциями, хе-хе. В ходу, например...

Его живой монолог прервало внедрение контравангардиста Дроботова-Вальтера (как ни странно, та часть фамилии, что после дефиса, вовсе не псевдоним, а настоящая, и принадлежит его матушке-немке). Он вошёл как

всегда без стука, на правах соседа, молча присел на табуретку в уголке, обозначив своё присутствие исключительно как слушателя. Гена продолжил:

— В ходу, например, пейзажный продукт с мистически-религиозным подтекстом. Ангелочек, летящий над храмом, либо прекрасная монашенка, кормящая голубей на фоне цветущих яблонек. Натюрморт вообще в глубоком ауте. В особом фаворе всё тот же триумвират: Церетели — Шилов — Сафонов. Увы. Так что твой, Андрей, исторический жанр — мимо кассы. Есть, правда, слабо теплящийся интерес к героическому эпосу. Но сам понимаешь, мало кто потянет из нынешних: тут ведь трудиться надо не по-детски. Многоплановая разработка пространства, многофигурность, знание военной амуниции, одежды и вооружений прошлых веков, то есть всё, касаемое батального жанра. Слабо вам, ребята, богатыри — не вы. Плесни-ка ещё, Андрюха, классный чаёк.

Всё так же молча, впитав информацию, удалился Дроботов. Этот парень всегда держал нос по ветру благодаря Гене и его знанию конъюнктуры. Дроботов всегда чётко знал, чем заняться выживания ради. Актуален пейзажный продукт с религиозной мистикой? Да без вопросов! А может, поднять планку и замахнуться на батальную тематику? Ничего особенного.

Скажу между строк, что уже через неделю после этого разговора умелец Дроботов-Вальтер завершал новый хит. На сравнительно небольшом холсте он быстросохнущим акрилом написал абстрактную композицию в стиле Пауля Клее, вставил работу в широкую раму, которую выкрасил в цвета русского и французского флагов.

На псевдопаульклеевской живописи художник с двойной фамилией при помощи клея «момент» (качество «хейнкель»!) закомпоновал нехитрый набор, извлечённый из механизма сломанных ходиков, как то: фигурные стрелки, разнокалиберные зубчатые колёсики, залитые эмалью циферки и чугунные гиры в виде сосновых шишек. Ещё через неделю работа красовалась в модном московском салоне на Кузнецком. Она называлась «Хронос: Наполеон под Березиной»...

Выпив третью чашку, Гена блаженно откинулся на диванную спинку:

— Спасибо, маэстро, ты вернул меня к жизни. Ну, теперь колись, над чем работаешь? Надеюсь, этот этюдик — в тему?

— Как сказать... И да, и нет. Точнее, в тему он попал случайно.

— Загадками излагаешь. А точнее?

— Ну-у, Гена! Я самому себе боюсь это озвучить. Скажу только: очень серьёзная задумка.

— Конечно, конечно, такие вещи надо держать в себе. Но хоть намекни.

— История, господин Топорков. Тема — история. Отечественная.

— Уважаю. Ты смелый чел, старик. Как я понимаю, вещь не конъюнктурная?

— Можно сказать, что у неё есть конкретный заказчик.

Гена дурашливо прикрыл рукой глаза, произнёс полушёпотом:

— Я никому не скажу; его фамилия случайно не Билл Гейтс (ах да, он уже помер), не потомок Ротшильдов?

Я усмехнулся:

— Ротшильды, товарищ искусствовед, приобретают Сурбарана, Ван Гога, ранних голландцев. Ныне живущих они в упор не видят. Намекну лишь исключительно чтобы тебя озадачить: мой заказчик тоже не из бедных.

— Такой заказ от частного в наше-то время — это просто выигрыш в лотерею. Повезло тебе.

— Не сглазь. Тема, брат, сложная. Никак подходов к ней не найду.

— Слушай, Андрей, а нет ли в твоей задумке религиозной нотки?

— Религиозной? Ну почему же нет: есть, конечно. Как в отечественной истории без религиозной составляющей обойтись? Не будет жизненной правды.

Гена посмотрел на меня с прищуром, понимающе покачал головой и задумчиво произнёс:

— Знаешь, я не воинствующий атеист, но к религии отношусь прохладно. Это, как говорится, не самая сильная сторона моих познаний. Тем не менее — прими совет от теоретика искусства. Причём совершенно бесплатно. Ты Никольскую церковь знаешь?

— Естественно.

— Вот. Найди там отца Анатолия, скажи, что от меня — и задавай любые вопросы. Он человек высокой культуры, прекрасно образован, обладает тонким художественным вкусом и чутьём. Между прочим, окончил Репинскую академию. Тебе будет о чём с ним поговорить. Глядишь — и найдётся зацепка.

— Спасибо. Учту.

* * *

Небольшая Никольская церковь была мне хорошо знакома. Не раз я её рисовал, да и несколько живописных этюдов сделал. Был даже в дружбе с одним её сотрудником. Его звали Владимир, он служил звонарём. Однажды он сделал мне подарок на день рождения: затащил на колокольню и позволил извлечь несколько малиновых звуков из средних колоколов. Помнится, я ему даже позавидовал — ведь человек видит каждый день такую красоту. Потому что вид с колокольни открывался неописуемый!

Но внутри, к стыду своему, бывать не приходилось. В один прекрасный день я решил последовать совету искусствоведа и переступил порог этой церкви. Службы не было, внутри было тихо и безлюдно. У сухонькой старушенции, протиравшей нижние тябла иконостаса, я спросил, как бы мне увидеть отца Анатолия.

— А тебе какой? — остро оглядев меня, неприветливо поинтересовалась она.

— Поговорить надо, бабуль.

— Сурьёзный разговор-то? Батюшка наш попусту говорить не станет.

— Сурьёзный.

— Ты сам-то верующий?

— Обязательно.

— Тогда обожди тут, — прошелестела старушенция и бесшумно пошла к одной из дверей.

Несколько минут спустя мы сидели с отцом Анатолием в небольшой комнате.

— Значит, меня вам порекомендовал Геннадий Топорков? Ну что же, достойный человек. Я вас слушаю.

Когда я озвучил цель своего визита, священнослужитель посмотрел на меня с неподдельным интересом. Перебирая тонкими пальцами деревянные чёрные чётки, он какое-то время молча смотрел на меня, явно подыскивая слова.

— А скажите честно, тема крещения Руси — она родилась в вашей голове спонтанно, или её вам кто-то подсказал?

— Скрывать не буду: это заказная работа. Я взялся за неё, бьюсь уже несколько недель — и никаких сдвигов.

— Бьётесь? Интересно. И забавно. Ну, а от меня-то вы чего ждёте?

— Не знаю. Наверное, совета. Ведь вся ваша жизнь посвящена служению Богу. У вас должно быть совсем другое видение истории. Вы наверняка по-иному воспринимаете язычество, и причину замены его христианством видите в чём-то большем, нежели в смене одной веры на другую. Или я не прав?

Анатолий усмехнулся:

— Существует такое словосочетание: таинство крещения. Таинство! Ни образом, ни словом это выразить невозможно. На бытовом уровне средствами живописи это изобразить относительно несложно, всё зависит от уровня таланта и воображения. Но глубинный смысл сего деяния изобразить нельзя, это я вам сразу скажу.

— Ну и что же мне делать? Отказаться?

— Зачем же? Ищите, и обрящете. Только я посоветовал бы вам поменьше вдаваться в бытовые подробности. Обратитесь к аллегории, пожалуй. Если Гена Топорков вам не говорил — я имею некоторое отношение к искусству, ибо в своё время окончил в Санкт-Петербурге Репинскую академию. Как собрату по кисти могу посоветовать следующее...

Одним словом, в беседе с отцом Анатолием провели мы несколько часов. Прощаясь, он осенил меня крестом и сказал:

— Закончите работу — пригласите посмотреть. Мне почему-то кажется, что у вас должно получиться.

Не могу сказать, что общение со священнослужителем приблизило меня к озарению.

* * *

Июнь приближался к середине. Я предавался меланхолическим раздумьям о прошлом славян, подпитывая свои скудные знания (Боже, как же мало мы обо всём этом знаем!) из святоотеческой литературы и научных изысканий русских историков. Живопись на время была забыта, благо что банкирский аванс при моих неприветливых запросах расходовался вполне экономно.

Но количество этих самых знаний никак не желало перейти в ожидаемое качество. Заколдованная тема. Ну что, отказаться? Вроде вот оно — своё, родное; уже должна заработать память предков, генная инженерия, в конце-то концов. Или сбой в хромосомах имеет место? Попробуй тут разберись...

На местном книжном развале меня стали узнавать. Я навевывался туда каждый день, потому что путь из дома к мастерской проходил через этот интеллект-базар. Знакомый краевед Глухов, распропадававший здесь свои раритеты, поинтересовался:

- Ты, Андрей, никак в историю ударился?
- Есть такое.
- Какое время интересуется? Какие события?
- Крещение Руси, Алексей Иванович.
- О-о, любопытно! Погоди-ка.

Он откинул клеёнку на своём убогом столике, покопался в сусеках, вынул стопку книг, молча выложил их передо мной.

- Это я читал.
- Всё? — недоверчиво протянул Глухов.
- Всё, Алексей Иванович. Но толку чуть.
- Вот как? Странно.

— Вы не поняли. Я не могу представить, как это было в реальности. Как это можно изобразить на полотне.

— А-а, это меняет дело. Может, альбомы полистать? Рерих, Васнецов, Нестеров, Врубель, Корин, Ге — да кому я говорю, ты лучше меня знаешь. Не пробовал?

- С этого и начал. Нет, не то.
- Стало быть, ищешь своё решение?
- Пожалуй, да.
- Это серьёзно. И давно ты этой темой заболел?
- Давно.

— Я старый человек, имею право советовать. И вот тебе совет, из собственного опыта. Не идёт дело, топчешься на месте — отставь его на время. Как бы забудь. Отвлекись.

- Да я вроде пробовал, на пленэр выезжал. Не помогло.
- Значит, плохо отвлекался.
- Значит, плохо. Вы лучше расскажите, как бизнес?

— Какой бизнес, парень, ты о чём? За два дня реализовал всего одну брошюру, да и та — путеводитель по городу. Ну его совсем, этот, извиняюсь, бизнес. Не хочу о грустном. А помнишь, мы ведь с тобой два... нет, три года тому — так здорово на рыбалку съездили на Рессету, а?!

- Помню, а как же.

— Так я и говорю: а может, ну её, окружающую действительность? Повторим? Одному вроде скучно, а вдвоём в самый раз.

- Да я не знаю...

— А я знаю! Давай, давай, соглашайся, а то передумаю. Значит, так: едем на ночь, за старые дачи, там голова берёт просто беспощадно. В общем, я сворачиваю на сегодня свою бессмысленную деятельность и иду собираться. Подходи в пять на лодочную станцию за лесозаводом. Мою лодку не забыл?

- Найду. Номер 1371. Правильно? Как сейчас помню: год основания Калуги.
- Точно.

* * *

Тихо скрипели уключины, мелкая волна билась в борт старой плоскодонки краоведа Глухова. Лукавый знаток истории местного края не зря искал напарника: приказал долго жить его лодочный мотор, надо было идти на вёслах несколько километров. Но зато по течению.

До места добрались ещё засветло. Выволокли чёлн на каменистый берег, перетащили повыше рюкзаки и мешок с палаткой.

— Распределим обязанности, — сказал краевед, возясь с неподатливой молнией продолговатого мягкого кофра, где рыболов-любитель хранил удочки и спиннинги (очень подозрительный предмет по нашим временам, в таких примерно кофрах киллеры носят свою профтехнику). — Стемнеет часика через полтора, так что ты сейчас у бережка на мелководье набери ракушек на наживку, а я пока быстренько со снастью разберусь.

Пока я, подвернув штанины, собирал тёмно-серые домики моллюсков в прибрежной тёплой водичке, краевед сноровисто разматывал донки и перемёты. Потом я вскрывал ножом створки ракушек, резал на куски скользкое упругое мясо, а Глухов нанизывал его на крючки-тройники и отработанным замахом отправлял донную снасть в воду.

Уже в сумерках мы кое-как развернули и утвердили на росной траве палатку, насобирали хвороста для костра. Успели. Пошёл вечерний клёв. Было не до разговоров, азарт добычи не допускал слов. И если донные колокольчики молчали, то на спиннинги мы натащали десятков окуней, не считая верхоплавов и особенно ершей, столь необходимых для ухи.

Ночь опустилась мгновенно. Пора было поужинать, чтобы хоть частично восполнить затраченную энергию и неумеренный выплеск адреналина. Затеplлся костерок, разожжённый опытной рукой Глухова. Потом он вбил рядом с костром две рогульки, повесил казанок с водой, принялся священнодействовать над приготовлением классического блюда рыбаков. Я извлёк из рюкзака дорожную бутылку массандровского портвейна, разлил по кружкам.

— Ну, за улов, — краевед шумно втянул содержимое своей ёмкости. — Слушай, Андрей, это ведь «Массандра», я угадал?

— Да. Но откуда такие тонкие вкусовые познания у скромного краоведа? Или вы подпольный миллионер?

— Просто приходилось в Крыму отдыхать, когда он был всесоюзной здравницей. Дорогой напиток. Откуда у тебя такие деньги? Скорее — это ты глава мафии.

— Да ладно, Алексей Иванович, остынь. Получил я аванс от заказчика. Имею право отметить приличным напитком. Убедительно?

— Другое дело.

Человеку, не бывавшему на ночной рыбалке, никогда не понять таинства этого почти ритуального действа. Мы спустились к берегу от костра. На реке царила первобытная тишина, лишь изредка издавала звуки какая-то птица.

— Вышь, — коротко ответил на мой вопрос краевед насчёт названия птицы.

Тем временем поспела уха. Нагуляв волчий аппетит, мы набросились на неё и опорожнили походный казанок в рекордные сроки. Я лёг на траву,

ощутив блаженную сытость и полное отсутствие мыслей. Небо сияло мириадами звёзд, терялся в бесконечности Млечный Путь. Где-то далеко, почти на краю Вселенной, гугукнул паровозный гудок, а вслед за ним тонко звякнул колокольчик. Страхнув полусонные чары, я вскочил и ринулся к берегу. Но там уже был краевед.

— Проснулся? Спал бы да спал себе, — пробурчал Глухов, осторожно вытаскивая донку. — А ведь что-то поймалось, Андрей. Неси подсачек.

Вскоре на кукане болтался увесистый — никак не меньше килограмма — судачок. И пошёл перезвон! К рассвету наша добыча едва умещалась на кукане.

— А ты ехать не хотел! — азартно крикнул мне Громов, извлекая из реки очередного голавля. — Вот чем заниматься надо, живописец! Вот она, добыча: весомая и зрямая.

— Согласен. И даже сна ни в одном глазу, — поддакнул я.

— Но это ещё не всё. Сейчас утренний клёв пойдёт, поспиннингуем.

Страда закончилась, когда солнце всю сияло над рекой и пекло голову. Туман растаял, над водой дрожало марево нагретого воздуха. Мы забрались в палатку, перекусили и завалились спать: назад решили отправиться под вечер, когда спадёт жара.

До старенького эллинга лодочной станции оставалось сотни три метров, и тут идиллически сидевший на корме Глухов сказал, зачерпнув ладонью забортной воды:

— Вспомнил я, Андрей, один случай. В прошлом году на своём корвете (только мотор был в порядке) ловил я почти в том же месте, только чуть дальше, около родника, где я воду брал для нашей ухи. Заякорился на течении, метрах в десяти от берега, ловлю на проводку. И вдруг вижу краем глаза — на другом берегу, на взгорочке, началось какое-то движение. Пригляделся, а там толпа людей в белых одеждах совершает некий хороводный танец. Потом услышал песни с непонятными мотивами, но на русском языке (правда, далековато было, и ветер звуки относил, так что слов я не разобрал). Вечером вернулся, разговорился с рыбаками. Рассказал о людях в белом. Они мне:

— Ты разве не в курсе, Иваныч? Это же община славян местная. Они язычники, любят всякие сходки с плясками и прочим. А сегодня праздник у них козырной, Купала. Они теперь всю ночь резвиться будут. Там такие дела творятся...

Про общину славян-язычников я слышал, но мельком, потому что они особо себя не рекламируют, действуют потихоньку. А вспомнил я об этом потому, Андрей, что узнал от одного коллеги-краеоведа: у этих язычников старейшина — мой бывший студент. Я ведь десять лет преподавал на филфаке историю. И вот сейчас у меня мелькнула мысль: а не поговорить ли тебе с этим парнем? Помню, студентом он был неплохим, к предмету относился серьёзно. Между прочим, тот самый Купала, если мне память не изменяет, через несколько дней, и в церковном календаре совпадает с днём рождества Иоанна Крестителя.

При этих словах нос лодки мягко коснулся мостков эллинга. Мы поделили добычу, пошли к остановке троллейбуса. Краевед молчал, его грузная фигура выражала усталость.

— А я бы поговорил с этим язычником, — сказал я, глядя ему в спину. — Но вы мне не дали его позывных.

— Увы, не осведомлён. Зовут его Виктор Климов. Но сейчас, Андрей, есть такая вещичка, даже я, старик, о ней извещён — Интернет. Там можно найти всё.

— Вы будете смеяться, Алексей Иванович: нет у меня Интернета. Я привык по старинке, книги читать. Но зато есть почти у всех знакомых. Найду.

* * *

— В Редькино — туда, — водитель попутного «КАМАЗа» махнул рукой в сторону леса, куда вела тропинка, исчезающая среди матёрых стволов. — Колёсный транспорт там не проходит. Только ногами.

— Далеко идти?

— Километров пять, и всё лесом.

Я закинул за спину рюкзак, заплатил водителю оговорённые полторы сотни и бодро двинулся по тропинке в неизвестность. Так оно и было на самом деле. Удивительно, но в наш век информационной перенасыщенности обнаружить место постоянной дислокации общины славян-язычников оказалось делом непростым. Эти ребята шифровались не по-детски. И всё же я их вычислил. Нет, это был вовсе не «яндекс» или «гугл», адрес мне поведал сосед по мастерской, пейзажист Володя.

— Андрей, — сказал он мне, — тут я услышал, что ты усиленно ищешь, где тусуются язычники. Подтверждаешь разведданные?

— Ищу, Володя, ищу.

— Тогда запоминай: деревня Редькино, от облцентра двести с лишком вёрст по шоссе, потом по грунтовке с полсотни км, и ещё сколько-то пешеходом по матёрому лесу.

— Даже странно: Интернет не в курсе, а мой сосед Володя знает. Откуда?

— Я, соседushка, в отличие от тебя пристально изучаю родной край и забираюсь в такие дебри, о которых ты понятия не имеешь. В Редькино места заповедные. Олигархические ручонки туда ещё, слава Богу, не дотянулись. Там, Андрюха, такие пейзажи...

— Ну, спасибо, ты меня выручил.

— Спасибо, как правильно выражаются представители андеграунда, не булькает.

— О чём речь! Заходи в мою келью.

— Непременно, но не сейчас.

— А что это Редькино собой представляет? Деревня-то большая?

— Эта деревня, Андрюха, на нынешних картах после названия имеет уточнение в скобках: «бывш.». То есть когда-то была, а нынче перевелась. Ушли оттуда жители по причине отсутствия смысла жизни, а также света, радио, мобильной связи, отопления и коммуникаций. И вот пришли на развалины язычники-неофиты и стали строить что-то вроде коммуны хиппи. Да что я тебе рассказываю, захочешь — сам увидишь. Весьма любопытное зрелище. Я его, правда, наблюдал издали. Сделал там несколько этюдов — и подался дальше. Губерния-то наша — она необъятная.

...Тропинка была малохоженная, сплошь поросшая подорожником. За одежду цеплялись кусты дикой малины. Я погрузился в дремучий лес, как в старую сказку. Стучал дятел, где-то вдали отсчитывала годы кукушка, верховой ветерок лениво раскачивал макушки сосен. Городская жизнь и весь её скачущий ритм остались на обочине грунтовки. Сюда вход урбанистике пока был заказан.

Косо врытый в дёрн деревянный идол пристально смотрел на меня из-за ствола сосны. Я почти физически ощутил этот взгляд, иначе не увидел бы творение рук человеческих, сооружённых топором: скульптура вырублена была именно что топорно, приближаясь по технике к примитиву. Я подошёл ближе, дотронулся до конусообразной головы языческого божества. Идол был тёплый на ощупь, только шершавый, в ладонь впилась заноза. Вытащив занозу зубами, я слизнул капельку крови, пробормотал про себя: «Первое знакомство с язычеством обошлось малой кровью» и двинулся дальше. Теперь я убедился, что иду в верном направлении. В прямом смысле. А вот что касается смысла иносказательного — это большой вопрос.

Лес понемногу редел, скоро я увидел среди расступающихся деревьев низкий берег речки, хлипкие мостки, а за речкой, за неширокой поймой на возвышенности — декорацию для то ли комедийного, то ли для сюрреалистического фильма. Рядом с несколькими тёмными полуразрушенными избами стояли, словно большие жёлтые кульки, шатры вроде индейских вигвамов. Между ними бродили люди в белых архаических одеждах.

В пойме, которая являлась первым планом декорации, паслись кони, числом пять. На заднем плане, удачно соревнуясь с Пизанским уникумом, опасно накренилась к земле тёмно-коричневая, изъеденная ржавчиной водонапорная башня. Ещё одним элементом ирреальности был пахарь, идущий за деревянной сохой, её тянула низкорослая кобылка. Да, это было впечатляюще и весело. Эффект перемещения в прошлое усилился, когда где-то в недрах эклектичного поселения раздался призывный женский голос:

— Добреюшко, обед поспел!

Голос не просто звал, а выпевал медово, окая по-северному. Пахарь остановил лошадь, которая подчинилась поводьям с понятной готовностью. Подолом рубахи вытер пот со лба, отпряг соху и пошёл в населённый пункт, держась за холку своей тягловой силы.

В предвкушении встречи с прошлым своей родины я нервно поправил лямки рюкзака, но путь мне преградили два человека в чёрных куртках с непонятными лейблами на рукавах. Один из них пробасил, лениво перебрасывая с ладони на ладонь портативную рацию:

— Куда?

— Туда, — кивнул я в сторону деревни.

— Читать умеешь? Глаза разуй.

Только тут я увидел в нескольких метрах от тропы деревянный столбик с прибитой к нему липовой доской, на которой читалась рельефная резная надпись: «Земля славян». Чуть ниже шла вторая строчка: «Частное владение. Проход и проезд воспрещены».

— Но мне надо поговорить с вашим старшим, его фамилия Климов, зовут Виктор.

— Нет у нас никакого Климова. Иди себе мимо, прохожий.

Меня захлестнула злость. Это что такое? Я на чьей земле? По какому праву эти мордовороты мне, русскому человеку, не дают ходить по земле, где жили мои предки? Но их было двое, причём у одного под курткой угадывалась кобура скрытого ношения. Испепелив взглядом сторожевых псов, я молча повернулся и пошёл восвояси.

Шагая назад, я шептал проклятия в адрес всего окружающего и прежде всего поливал себя. Надо же — кинулся разговоры разговаривать в такую даль! Не уточнив детали, не просчитав варианты. И ради чего? Не-е-т, ну её, эту тему. И славяне эти... Наверняка шуты гороховые. Ряженные, одним словом. Это мы проходили.

Вспомнилось, как года два или три назад знакомые вытащили меня в Подмоскovie на историческую реконструкцию какого-то сражения времён войны 1812 года. Посмеялись мы от души, созерцая уланов и гренадёров, бездарно играющих свои роли, пехтуру в нелепо сидящих шинелках, которые вообще ничего не изображали, а были второсортными статистами. Глядя на барахтающихся в снегу якобы кутузовских «богатырей» с деревянными макетами ружей, хотелось произнести классическое лермонтовское «богатыри — не вы».

Скорее всего, местные славяне недалеко ушли от виденных мною «реконструкторов» истории. Нынешнее время породило целый класс особей с нереализованными возможностями. В основном таковые особи составляют общности в местах совместной трудовой деятельности, а именно в столичных офисах. Работа безликая, с весьма спорной перспективой роста. А реализовать-то себя хочется, вон по TV каких реальных мэнов показывают. И начинает офисная плесень (не примите как оскорбление, леди энд джентльмены) рефлексировать по поводу самореализации. Пейнтбол, ночные клубы, исторические реконструкции, ночные игры на ориентирование, автогонки (опять же ночные, чтобы покруче)... Или вот в славяне податься, да ещё в язычники. Ради, как говорится, прикола.

Мои чёрные мысли прервал нарастающий топот копыт. Я оглянулся. Со стороны отвергнувшей меня деревни Редькино мчался галопом на рыжем жеребце без седла цыганистого вида «славянин», наяривая животину плёткой. Около меня он резко остановил жеребца, отчего тот сделал «свечу», встав на задние ноги.

— Эй! Постой! — крикнул всадник. — Ты кто будешь?

— Художник.

— Ты чего хотел-то?

— С Виктором Климовым поговорить.

— Откуда его знаешь?

— Мне посоветовал с ним поговорить его институтский преподаватель Глухов Алексей Иванович.

— Караульщики не в курсе, что наш старейшина в прошлой жизни был Климовым. Сейчас он — Тур Колояр. Он с кем попало беседы не водит.

Мало ли что у кого за душой. Ты здесь подожди, — сказал наездник, натягивая поводья и поворачивая жеребца. — Но-о!

— И скажи своему Туру: я целый день сюда добирался! — крикнул я «славянину» вослед.

* * *

Через час я шёл по деревне, ведомый мужиком в архаичном прикиде. Злость прошла, уступив место любопытству. При ближайшем рассмотрении уличные сценки вызывали острое желание немедленно достать бумагу и сделать натурный набросок, ибо в реальной жизни подобного не увидишь. Этикие картинки из быта дохристианской Руси, срежиссированные вполне достоверно.

Ну чем не праславяне: вот молодка толчёт что-то в большой долблёной ступе, стоящей на земле. Рядом, на сложенной из полевых валунов печурке стоит чёрный казан, в котором кипит и булькает варево. Кудахчут куры, свободно расшагивая по двору. В соседней усадьбе рядом с «вигвамом»-новоделом молодец в длинной, до колен рубахе и с обручем вокруг головы тесал топором слегу.

Изредка он прерывал своё занятие, по-лошадиному прядал головой, закидывая назад гриву волос, и жадно припадал к кувшину с квасом (наличие в нём другого напитка я в данной ситуации не предполагал). Нестыковка со временем была разве что одна: в ушах народного умельца стеснительно прятались радионаушники. Ногой, обутой в лапоть, он бодро отбивал сложный ритм, далёкий от музыкальных размеров отечественного фольклора.

В общем, аборигены, они же новосёлы «Земли славян», были заняты малопродуктивным ручным трудом, не обращая на меня никакого внимания. Глухие стуки топора, мычание коров, кудахтанье кур были так естественны в патриархальной благодати деревенского быта, в тёплой неге лета. Но всё же чего-то не хватало. А не хватало самой малости: детских голосов. Ни одного босоногого аборигенчика визуально не наблюдалось.

— Вот здесь, — мой провожатый остановился около одного из «вигвамов», покрытого берёзовой корой. — Старейшина тебя ждёт.

Я откинул матерчатый полог, вошёл внутрь. На противоположной от меня стороне на некоем подобии трона, застеленном оленьей шкурой, восседал, как я понял, основатель и идейный руководитель реанимированной деревни Редькино. Примостив на колени дощечку, старейшина что-то писал. На косяке стены жилища тихонько потрескивал светильник, освещая весьма аскетичный интерьер. Он состоял из упомянутого трона, грубо сколоченного стола с глиняными корчагами и кувшинами, несколькими скульптурами неизвестных мне богов, сложенными штабельком. Наличествовала также лавка справа от входа.

— Добрый день, — сказал я подчёркнуто вежливо, не вполне понимая, как себя вести.

— И тебе такого дня, добрый человек. Ты садись. Небось, притомился с дороги?

— Есть немного, — я присел на лавку. — Вы — Виктор Климов?

— Моё имя — Тур Колояр.

— Но мне ваш учитель...

— Это было в другой жизни, — прервал меня старейшина. — Повторяю: Тур Колояр. Что тебя привело в наши края?

— Я художник. Работаю над темой крещения Руси. Мне хотелось узнать, как это происходило.

— Испей-ка кваску для начала. Ядрёный, малиновый, — Тур положил дощечку с писаниной рядом с троном, легко встал.

Подойдя к столу, нацедил из широкогорлого кувшина квасу в берестяную кружку, подал мне.

Квас оказался холодным и очень вкусным. Вернувшись на своё место, Тур задумчиво посмотрел на меня маленькими колючими чёрными глазками, глубоко сидящими в глазницах, почесал редкую клочковатую бородёнку. Его лоб пересекала широкая бандана, на которой был вышит ромбовидный орнамент, отчего старейшина смахивал на биатлониста. Когда меня посетило это сравнение, я не удержался от улыбки.

— Сам-то, небось, православный? — впился в меня взглядом собеседник.

— Да.

— Ну, это ладно. Говоришь, интересно узнать, как смена веры происходила? А с чего ты взял, будто я это знаю?

— Хм. Да вам, как мне кажется, такие вещи знать необходимо. По должности.

— Мало ли что кому необходимо. Да и некогда мне с тобой, добрый человек, ласы точить. Дел невпроворот.

— Очень жаль. А я-то надеялся...

— Мне сказали — ты издалека?

— Из облцентра.

Немного помолчав, глава язычников резюмировал:

— Далековато ты забрался, сегодня уже ничем не уедешь. Стало быть, переночуешь в общине. А завтра посмотрим, чем тебе помочь. Только чур: не баловать.

— Спасибо.

— Угрюм! — негромко крикнул старейшина.

В проёме входа показалась голова.

— Отведи гостя нашего на постой к Дарёне-бобылке. Да накажи — пусть накормит.

Ночь я провёл на сеновале. Провалился в сон, как в омут, без видений. Проснулся от задорной петушиной переклички, что затеяли деревенские кочеты. Посмотрел на часы. Половина четвёртого, сквозь щели в брёвнах серел рассвет. Выбравшись из сеновала, чуть не наткнулся на Угрюма, что провожал меня сюда.

— Тур тебя ждёт, — пробормотал низкорослый селянин.

— Да ну? В такую рань? Зачем?

— Не ведаю.

* * *

Старейшина сидел в той же позе, что и вчера, только теперь он читал. Я поздоровался, приложил руку к груди, так как не был осведомлён, какими жестами обмениваются язычники, произнося приветствие. Словно прочтя мои мысли, Тур Колояр сказал:

— Здравствуй. Ты — человек не нашей веры. Веди себя так же, как всегда, не смейся людей. Ибо ты — гость. Я помню наш вчерашний разговор. Тогда я забыл спросить: ты нарочно приехал ко мне именно вчера?

— В каком смысле?

— В самом прямом.

— Да нет. Просто день выдался свободный.

— Ну, значит, так тому и быть. Нынче — великий наш праздник. В день солнцеворота наши предки славили Ивана Купалу. И я решил — будь нашим гостем на сём действе. Может, тогда ты проникнешься духом предков, почувствуешь глубинную суть истинной веры славян. Обращать тебя в «язычество» я не собираюсь...

— Огромное вам человеческое спасибо, — не выдержал я менторского тона собеседника (он был, судя по внешности, моим одноклассником).

— Не перебивай, у меня мало времени. Тебе нужно надеть нашу одежду, в общине не любят пришельцев. Сейчас люди будут заниматься подготовкой, а ты походи, посмотри. Ещё никто не опроверг народную мудрость: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А если и вправду художник — порисуй. Веселье начнётся вечером. Где — увидишь. Там и встретимся. Звать я тебя буду Неждан. Одежду тебе даст Угрюм. Всё, иди.

Тур вяло махнул рукой и склонился над книгой. Царёк самозванный, подумалось мне, а моё настоящее имя даже не спросил. Ишь ты, мессия новодельный! А имя неплохое: Неждан. Звучит как-то трогательно. И по значению точно пришлось. Ладно, Неждан так Неждан. Один денёк можно и под таким творческим псевдонимом провести. Теперь надо под новое имя сменить имидж.

Неразговорчивый Угрюм отвёл меня на давешний сеновал, где лежала моя сценическая прозодежда. Я разделся догола, натянул порты серо-зелёного цвета, завязывающиеся продёрнутой через пояс тесёмкой, облачился в длинную косоворотку с красивой вышивкой на рукавах и предплечьях. Перепоясался кожаным ремнём с металлической пряжкой. На нём болтался небольшой холщовый мешочек. Логично, ведь на одежде не было карманов, а сюда можно положить мелочь вроде зажигалки и пачки сигарет, что я и сделал.

Подумав, снял часы, отправил их в рюкзак: мало ли что придётся делать на этой языческой тусовке, ещё потеряешь. А часы — подарок отца. Заключительным аккордом древнеславянского прикида оказались всамделишные лапти. Новенькие, скрипучие, сплетённые в прямую клетку, отчаянно пахнущие свежей липой. Я надел их на вязаные аккуратные носочки со смешанным чувством любопытства и опасения за сохранность нижних конечностей: ведь натру ступни в кровь (зря волновался, между прочим: ногам было уютнее, чем в комнатных тапочках).

- Ну как? — раскинув руки, спросил я Угрюма.
- Обыкновенно, — пожал он плечами. — Ты оборы-то. Неждан, завяжи.
- Оборы — это что?
- Знамо дело, завязки на лаптях, что же ещё. Ну я пошёл, у меня дела.
- Ступай, не держу.

Завязав оборы и отметив при этом наблюдательность моего провожатого, я взял блокнот, карандаши, ластик, перочинный ножик — и отправился в автономное плавание по «Земле славян» и её окрестностей. Когда выходил из сеновала, моя хозяйка, женщина неопределённого возраста Дарёна, сунула мне холщовый узелок, лаконично объяснив:

- Тормозок. Проголодаешься — поешь.

* * *

Да-а, мой сосед Володя был прав: здешние пейзажи поражали. На каждом шагу открывались виды, которые так и просили: да изобрази же ты нас! Отойдя от деревни километра полтора, я наткнулся на совершенно сказочное сооружение, словно сошедшее с картины Рериха «Идолы». Это была круглая ограда, сработанная из дубовых стволов с заострёнными концами. Снаружи она была обложена обомшелыми валунами и казалась неприступной, если бы не узкий проход с восточной стороны. Несколько оградных кольев венчали конские (или коровьи?) черепа, что придавало сооружению устрашающий вид.

Внутри ограды среди буйно разросшегося разнотравья теснились деревянные идолы. Создателем резного пантеона богов, судя по технике, был один автор, и не самой высокой квалификации, или же таково было требование заказчика. Это заключение я сделал потому, что лики языческих богов были вырублены условно, походили один на другой, как братья (в памяти немедленно всплыли истуканы с острова Пасхи). Скульптуры разнились разве что по высоте и диаметру. А для уточнения, ху есть ху, под каждым поясным изображением было вырезано имя персонажа: Макошь, Перун, Велес, Хорс, Святovit. Мне подумалось: двадцать первый век на дворе, товарищи язычники, могли бы и на приличного скульптора потратиться, изваять своих божеств поизящнее, что ли. Но о вкусах не спорят. Более того: когда я нашёл место, с которого ритуальное сооружение выглядело наиболее эффектно, и стал рисовать его, то понял, что был неправ. Потому что именно нарочитая грубость скульптурной группы безупречно вписалась в девственную среднерусскую природу.

Рисунок состоялся. Убрав ластиком лишние штрихи, я сунул лист в альбомную папку и двинулся дальше. Скоро еле заметная тропка привела к лесному озеру. Овальное сталисто-синее зеркало водной глади было оторочено по краям изумрудной зеленью ивняка, разорванной на противоположном берегу проплешиной поляны. Там былолюдно. С двух телег сгружали брёвна, которые ставили пирамидой вокруг высокого шеста с тележным колесом в наверху. Рядом возводилось сооружение поменьше, а на самом краю поляны, под деревьями, плотник сбивал длинный стол.

Было похоже на приготовление к корпоративной вечеринке, а потому диссонировало с романтическим настроем. И я вернулся в лесные дебри. Уже без всякой тропки брёл наугад, ориентируясь по солнцу. Перелезая через упавшее лет десять назад трухлявое дерево с отслоённой корой, увидел серебром блеснувшую в траве ниточку ручейка. Пошёл против течения и довольно скоро оказался у родника. Напился из него, присел рядом. Над лесными цветами деловито жужжали пчёлы, тишина была такая, что мне показалось, будто я слышу их пчелиные разговоры.

От необычного для горожанина обилия свежего воздуха разыгрался чувовищный аппетит. Я лихорадочно развязал узелок с тормозком. Там лежали два крутых яйца, ломоть чёрного хлеба, кусок варёной говядины и соль в спичечной коробке. Спасибо тебе, Дарёна, всё было потрясающе вкусно. Эту благодарность подтвердило довольное урчание желудка. Потом наступила закономерная сонливость. Не в силах с ней бороться, я устроился под кустом орешника, подложил под голову альбомную папку, сложенную вчетверо тряпочку от узелка и погрузился в блаженный сон.

— ...Ой, кто это?

— По одежке — так нашенский.

— Да не из наших он!

— А я его видела нынче, он от Дарёны-бобылки шёл, от сеновала.

— И по одежке из своих...

Этот разговор вёлся шёпотом, но именно он меня разбудил. Я осторожно приоткрыл глаза. Сквозь траву увидел три женских фигуры метрах в трёх от себя. Интересно. Снова закрыв глаза, чтобы не выдать себя, стал ждать развития событий... Что могут предпринять эти три грации? До чего договорятся молоденькие (судя по голосам) создания?

— Может, сомлел от жары парень?

— И правда, давай подойдём.

— А вдруг он разбойник какой?

— Да нет, не может быть. Лицо-то у него не злое.

— Ага. Знаешь, как в народе говорят? «Он добрый, пока спит».

— Ну, вы как хотите, а я подойду.

Сначала я услышал шорох шагов в траве, потом почувствовал еле заметное прикосновение к плечу. И шёпот:

— Эй, вы как себя чувствуете?

Не открывая глаз, я ответил вопросом на вопрос (тоже шёпотом):

— А как нужно?

— Нужно — хорошо.

Открыв глаза, я увидел опрокинувшееся надо мной миловидное девичье лицо.

— Раз нужно, рапортую: чувствую себя великолепно. Вас как зовут?

— Злата.

— Прикольно. А по-настоящему?

— Нина.

— А меня Неждан, он же в миру — Андрей.

— Только здесь я — Злата.

— Понял, постараюсь не забыть оперативный псевдоним, — я сел, потянулся, спросил: — а какими судьбами здесь очутились?

— Собираю с подружками травы на обереги, — Злата покачала перед моей физиономией лёгким берестяным кузовком, в котором зеленели колдовские растения. — Сегодня ведь Купала.

— Ну как он, Злата? — подала голос одна из товаров. — Оклемался?

— Он просто спал.

— Тогда пошли, дело не ждёт. Не время флирт... ой, разговоры разговаривать!

— Пойду я, — Злата улыбнулась, ещё раз легонько взмахнула кузовком. — Вечером на гульбище приходите. Знаете, где оно?

— Около озера, если не ошибаюсь?

Она кивнула, подошла к подругам, и через минуту троица исчезла за родником, растворилась в безбрежном лесу.

* * *

До самого вечера я общался с почти девственной природой. С трудом сделал ещё один рисунок, так как перед глазами маячило лицо моей новой знакомой и щемило сердце при мысли о предстоящей встрече. Как она сказала? «Вечером на гульбище». Класс! Слово «гульбище» звучит по современным понятиям весьма двусмысленно. А вечером — это когда? На всякий случай я решил подтянуться поближе к гульбищу и пошёл в сторону озера. И шёл бы к нему очень-очень долго, потому что сбился с направления и чёсал совсем в другую сторону. Лишь когда солнце катилось к закату, я заметил над верхушками деревьев серый костёрный дым. И напрямик ломанулся через лес, проклиная себя за легкомысленность. Ведь сам старейшина пригласил! Тебе же, придурку, для пользы и общего развития нужно на праздник поглазеть. И Злата звала...

Козырный праздник неоязычников был в самом разгаре. Горел не очень большой костёр, вокруг него собралось порядочное количество единоверцев в примерно такой же, как у меня, одежде. Женский контингент водил хоро- воды с песнопениями. Я с трудом разобрал отрывки слов:

— Разыдись темно,
Разгорись добро,
Засверкай светло,
Яри ясное,
Солнце красное...

Моё появление среди праздного люда прошло незамеченным. Поклонники Перуна и Ярилы как бы образовали на поляне клубы по интересам. Любители гастрономических утех приладили над костром вертел, на котором висела туша упитанного барана. Они оживлённо обсуждали особенности температурного режима для правильной готовки специфического блюда.

За столами собрались адепты готовой кулинарии. Надо сказать, что обилие кушаний меня приятно удивило. По праву приглашённого я подошёл

к столу, взял берестяной стаканчик и нацедил из ближайшего кувшина жидкости по причине жажды. Но жидкость оказалась далеко не водой. Уже допивая что-то вроде медовухи, я ощутил на плече прикосновение. За спиной стоял Тур Колояр.

— Я думал — ты совсем не придёшь, — сказал он укоризненно.

— Заплутал немного. Ведь первый раз в этих местах. Так что не суди строго.

— Да разве в этом дело? Ты — гость. Но если интересовался нашими обычаями и традициями, то почему пропустил самое главное?

— Что именно?

Тур хмыкнул, резко отвернулся от меня и удалился. Я почувствовал себя полнейшим кретином. Правда, что: навязался в гости, тебе ночлег предоставили, пригласили на праздник — а ты, поганец, пришёл к застолью! Да ещё вопросы задаёшь хозяину деревни и общины.

— Никак, Тур тебя облаял? — подошёл ко мне Угрюм.

Мой провожатый скорее всего крепко приложился к горячительному, потому что на лице его сияла улыбка, а голос слегка заплетался.

— Было дело.

— А-а, наплюй. Нынче праздник. Выпить хошь?

— Не откажусь

Пошарив глазами по столу, Угрюм зафиксировал не совсем трезвым взглядом искомый предмет. Им оказался узкогорлый кувшин зелёной поливной керамики. Налив из него в берестяные ёмкости пива, Угрюм воровато огляделся по сторонам, достал из недр необъятных штанов четвертинку вовсе не старославянского напитка, долил его в пиво. Не чокаясь, выпили, повторили. Эх, братья-славяне, не могли уж соблюсти ритуалы возлияний... Разве можно представить, что наши предки во времена Владимира Красно Солнышко могли разливать из-под полы четвертинку, как последние алкаши? Ещё одна неудачная, жалкая попытка «реконструкции» истории. Эрзац.

— Теперь... теперь, Неждан, надо закусить, — важно произнёс мой собутыльник.

Он опять сконцентрировал взгляд на столешнице. Я вынужден был полностью ему довериться, потому что внешний вид, исходные продукты и аранжировка блюд мне были незнакомы. Подтягивая к себе продолговатую деревянную посудину, Угрюм прокомментировал:

— Вот он, вот он, зайчик тушёный! С брусничкой, с грибочками. Ну вот скажи, где ещё такого отведаешь? Тебе с капусткой или с сарацинским пшеном?

— С тем и другим. Есть хочу. Стой, а что такое сарацинское пшено?

— Обычное дело: рис. А в древности он звался — сарацинское пшено.

— Какое знание старины!

— Да какое там знание, — отмахнулся Угрюм. — Это всё Тур чудит, заставляет учить неизвестно для чего. А я забываю. Да и откуда памяти взяться: всего семь классов закончил, а так всю жизнь за скотиной ходил в колхозе.

— Ну, а к Туру за какими коврижками пришёл?

— Да уж не знаю, чем он меня приманил. Поверил я в Перуна и Велеса, скотьего бога. А так-то я крещёный.

Надо сказать, что за столом царили полнейшая демократия и пристойность поведения. Участники праздника из всех сил старались походить на своих далёких предков. Выглядело это уморительно, сильно смахивало на любительский спектакль в исполнении самодеятельных артистов. Неоязычники принимали картинно важные позы, говорили медленно, почему-то нажимая на «о» и вставляя в фразы старинные слова-архаизмы. Двигаться и жестикулировать они старались медленно и плавно. Время от времени застолье прерывалось, публика совершала очередной обрядовый променад с пением и ритуальными танцами хороводного характера и опять принималась пировать. Я на правах гостя, да к тому же не знающий очерёдности и содержания ритуальных телодвижений, наблюдал всё это, сидя за столом.

— Ну что, ещё мерзавчик приговорим? — громким шёпотом предложил появившийся из темноты Угрюм.

— Нет, спасибо, я повременю.

— Ну, было бы предложено, — мой визави достал вторую четвертинку; только теперь он опустошил её прямо из горла, не шифруя разливом в пивной берестяной стаканчик.

— А скажи-ка мне, брате Угрюм, сколь ещё сие действо продлится? — попробовал я попасть в русло древнего говора.

— Оно только начинается. Вон видишь большое кострище? — Угрюм показал на тот костёр с шестом и колесом в наверху, что складывали ещё днём. — Ну вот. Зовётся этот костёр — Купалец. Скоро его зажгут, начнут петь да плясать во всю силу. Потом игрища начнутся: «коняшки», «руччѣк», «ящѣр» и прочие. Ребята биться начинают меж собой понарошку, не со всей, как говорится, дури. А девки кумятся, шушукуются да пару себе выбирают. Как костёр-то догорит, девка хлопает по плечу своего суженого, убежать начинает (понарошку, само собой). Парень её догоняет, они берутся за руки и прыгают через костёр. Ежели руки не разойдутся — значит, сговорятся. Потом пир продолжается. Ну, дальше увидишь. Значит, больше не примешь?

— Слушай, так всё ещё впереди? Не знал, а то глотка бы не выпил. А ты как же? Ведь наберёшься раньше времени.

— Да что мне эти игры-пляски? Я до полночи побуду, да пойду лошадок в ночном проведу, а то они с мальцом-подпаском остались. А ты порезвись, дело молодое. Чтоб потом не жалеть.

* * *

Градус веселья на поляне нарастал. Действия собравшихся, не до конца освоивших очерёдность и тонкости праздничных действий, координировал похожий на массовика-затейника молодой блондин с металлическим обручем на голове и громоздким амулетом на груди в виде солярного знака из чернёного серебра. Вот он подошёл к нескольким парням, дал им какое-то указание, и они стали вращать в бревне заострённый кол, часто меняясь.

— Огонь добывают, — ответил на мой вопросительный взгляд Угрюм. — Как добудут — так Купалец и подожгут. Купальцем прозывают вот этот костёр. От спички зажигать костёр негоже, не тот огонь получается. Правда, в чём отличие, не понял.

— А кто этот малый с амулетом?

— А тебе разве Тур не поведал? Жрец это, иначе — волхв. Имя у него важное — Добровит. Так-то он раньше сантехником работал в городе.

Вскоре первобытный способ огнедобычи дал положительный результат. Волхв Добровит с пучком горячей бересты подошёл к брёвнам костра, произнёс что-то размеренное и непонятное. К волхву приблизилась девушка, приняла огонь из его рук, сунула бересту в деревянную пирамиду — и просмоленное дерево весело вспыхнуло, осветив поляну.

Все будто только и ждали этого момента. Откуда ни возьмись, зазвучала музыка, на импровизированном танцполе появились разодетые в цветастые ситцы исполнители языческих хитов, весьма слаженно играющие на рожках, трещотках, колокольцах, подстёгивая ритм при помощи двух бубнов. При этом они распевали на какой-то знакомый мотив малопонятные тексты, где я различал отдельные слова: Купало, солнце, венок, красна девица. Да и не суть важно.

Под эти ритмичные песнопения молодёжь принялась усиленно сжигать калории в довольно подвижных играх и хороводных танцах. В общем, по сценарию, озвученному Угрюмом. Всё это время я искал глазами Злату, но напрасно. Хотел было спросить о ней у любителя четвертинок. Но он удалил-ся по-английски, не прощаясь. Небось, к своим лошадам.

Между тем сухие, как порох костёрные брёвна на глазах оседали, к небу летели снопы искр. Рухнул центральный шест, со стуком брякнулось о землю надетое на его верх тележное колесо. К нему немедленно подбежало несколько знатоков ритуала, один из молодцев обмазал его смолой, поджёг — и вся группа знатоков с гиканьем и свистом покатила пылающее колесо к озеру. Когда огненный круг с шипением вонзился в воду и исчез, публика издала ликующий вопль, заложивший уши.

Прищурив глаза, на пламя заворожённо смотрел только что отплясавший молодец с аккуратной причёской клерка. Он стоял недалеко от меня и изредка переводил взгляд с пламени угасающего Купальца на стайку особ противоположного пола. Он явно чего-то ждал. И дождался: одна из прелестниц подбежала к нему, хлопнула по плечу, с зазывным смехом побежала прочь. Клерк с неожиданной прытью пустился её догонять. Результат оказался предсказуемым, девица была поймана в считанные минуты. Взявшись за руки, парочка побежала к догорающему костру, убыстряя бег, и совершила мощный прыжок над малиновыми угольями, после чего убыла в неизвестном направлении.

Общество заметно оживилось, во всей атмосфере происходящего ощущалось предвкушение чего-то необычного, сакрального. И тут я увидел Злату. Она шла ко мне в венке из ромашек и васильков, держа такой же в руке.

Надела его мне на голову, как корону, легонько хлопнула по плечу — и побежала в сторону озера, крикнув:

— Догоняй!

Это не составило труда, потому что Злата не показала спринтерских талантов. Даже не запыхавшись, я схватил её за талию, почувствовав в руках разгорячённое тело, шепнул:

— Ага, попалась!

— Попалась. Ну, пойдём, прыгнем, испытаем судьбу?

— Конечно, ещё бы!

Не так уж и велик был догорающий Купалец, мы перемахнули его играючи, моя рука крепко сжимала её ладошку. Видимо, этот аттракцион был самым ожидаемым: перед Купальцем выстроились в очередь желающие испытать на прочность себя и свою половину. Закончив полёт через огонь, парочки рассаживались за столами и продолжали пировать. Моя рука будто приклеилась к руке Златы, мы так и сидели — ладонь в ладони. Это не мешало выпить по берестяному стакану какого-то очень бодрящего напитка и съесть несколько кусков печёного на вертеле барашка.

Повинуясь некоему внутреннему зову, мы встали, и так же, не разъединяя рук, пошли к озеру. На берегу Злата сказала:

— Сделай два плотика из веток.

Наломав гибких веточек лозняка, я сплёл нечто вроде жалкого подобия оснований для грибных корзинки. Злата положила на них наши венки. Мы опустили плотики в воду (Злата — мой, а я — её) и оттолкнули от берега. Видимо, озеро было проточным, венки медленно поплыли в темноту. Как заворожённый, я смотрел на удаляющиеся и такие беззащитные цветы.

— Неси, вода, венки, не дай потонути, — тихо сказала Злата. — И ты, Неждан, повтори.

Я повторил заклинание. После этих слов мы стояли молча, я совершенно не знал, что делать дальше. То есть всё было вроде бы понятно: ночь, темнота, рядом роскошная красавица, которая сама тебя выбрала, идиота. Но что там дальше по языческим раскладам?

— Наклони голову, — Злата сняла с себя цепочку с крошечным камнем, повесила мне.

Я догадался снять свой крестик и надеть на изящную её шею.

— Спасибо. А я тебе подарила куриного бога. Пусть он тебя хранит.

Скосив взгляд на Злату, я вдруг увидел, как она распустила волосы и через голову сняла платье, оказавшись совершенно обнажённой. Тронула пальцем ноги воду, медленно и грациозно пошла в озеро. Зайдя по пояс, повернулась ко мне, поманила рукой. Надо ли говорить, какое количество адреналина ударило мне в голову (и не только). Сорвав порты и косоворотку, я освободился от лаптей, порвав оборы, и ринулся к Злате в чём мать родила...

Последнее, что я запомнил, проваливаясь под утро в опустошённое беспамятство, были запёкшиеся от поцелуев губы Златы и её бессвязный шёпот.

* * *

На лицо упала капля, потом ещё, ещё.

— Зачем, Златочка, давай ещё полежим, — пробормотал я, шаря вокруг себя.

Но ни Златы, ни нашей одежды не было. Более того, не было ни озера, ни следов вчерашнего языческого празднества. Надо мной колыхалась крона огромного дуба. Ничего похожего на вчерашний пейзаж. Серые облака. Видимо, только что прошёл дождь, с глянцевых листьев падали капли, которые меня разбудили.

Я был гол, как Адам во времена сотворения мира, не считая Златиноного оберега — куриного бога на тонкой цепочке. В природе царил утренняя тишина, лишь щебетали птицы. Стало зябко. Неужели одежда пропала? Обойдя вокруг дуба, нашёл свою косоворотку, мятую и влажную. Портов и лаптей не обнаружил. Я слабо представлял себе, что предпринять в такой ситуации. Нет, на самом деле интересно, как меня занесло в этот экстерьер? Может, у неоязычников шутка такая — перетаскивать спящих гостей? А что, запросто. Мало ли что подливал мне в пиво Угрюм. И куда делась Злата? Одни вопросы. Но для начала необходимо определиться в пространстве.

Недолго подумав, я решил забраться на дуб, тем более что он являлся доминантой местности. С десятиметровой высоты открылся неописуемый вид. Безбрежное лесное море колыхалось подо мной, и ни единой поляны, ни малой проплешины, ни просеки. Приглядевшись, я усмотрел в пейзаже некую длинную вогнутость, что вполне могло быть речной долиной. Вот туда и надо двигать. Как будто подавая знак, где-то у окоёма ветер раздёрнул ненадолго облака, и мне в глаза плеснули лучи восходящего солнца.

Ужасно захотелось курить. Но и ремня, на котором болтался холщовый мешочек с бензиновой «зиппо» и пачкой сигарет, не наблюдалось. Ладно, потерпим. Я побрёл в сторону предполагаемой речной долины. Босые ноги щекотала трава, это вливало в меня бодрость и, как ни странно, оптимизм. На небольшом взгорке я буквально наткнулся на спелую землянику. Встав на четвереньки, совершил завтрак прачеловека (в крайнем случае, я примерно так его себе представлял).

Насчёт речной долины догадка оказалась правильной. Лента реки блеснула холодно, как сталь клинка. Река не походила на ту, что я видел около деревни Редькино. Эта водная артерия была полноводна, спокойна и безлюдна. Никаких следов присутствия хомо сапиенса, даже пошлой пластиковой ёмкости из-под кока-колы. Хотя нет, скоро мне попался один предмет, созданный руками человека: заросшая травой полуразвалившаяся лодка. Но не простая, а выдолбленная из целого ствола. Лодка лежала кверху истёртым о мели днищем не один год, сквозь трещины проросли крапива и вездущий чертополох.

Хм. Технология, канувшая в Лету, голимая архаика. Неужто здесь сохранились такие мастера? Я присел на край долблёного плавсредства и пригорюнился. Мало того, что очутился в неведомой тмутаракани, так

ещё и разутый-раздетый, без копейки на обратную дорогу. Дорогу... Ты ещё найди её, эту дорогу. Прошло всего двое суток, как я попал в эти дебри, а сколько со мной всего приключилось! Но ничего нового не добавилось к моим жалким познаниям, я нисколько не приблизился к ощущению темы. Исключая, конечно, прекрасные минуты со Златой. Ну и где она? После того что между нами произошло, она не могла уйти вот так, не попрощавшись. Неужели эти идолопоклонники недоделанные утащили её? Дурдом. При мысли о такой возможности я скрипнул зубами. Да я их разорву вместе с потёмкинской «бывш.» деревенькой! Дай только до них добраться.

Мои минорные раздумья прервало появление на речной глади двух лодок, словно выплывших из допотопных времён. На одном из долблёных челнов, нахохлившись, сидел старенин в островерхой, не по сезону меховой шапке и меховой же безрукавке шерстью наружу. Вёслами привычно управлялся парнишка допризывного возраста. Второй чёлн — длинный и узкий, словно тело щуки, — был более живописен. Четверо персонажей, составляющих его экипаж, выделялись на фоне довольно скромного по цвету пейзажа яркими одеяниями. Кроме того, эта группа распевала на три голоса красивую медленную мелодию.

Когда я вслушался в слова, то понял: это не что иное, как текст былины об Илье Муромце (как ни странно, я запомнил былинные вирши с детства, выступая с одноклассниками на смотрах школьной самодеятельности). Один из исполнителей меланхолично перебирал струны самых настоящих гуслей. Может, я ещё сплю? Когда меняется реальность, граница между сном и явью исчезает. Однако, ущипнув себя за ногу, понял: это самая что ни на есть реальность. Над пустынной, тихой рекой разносилось:

В славном городе во Муромле,
Во селе было Карачарове,
Сиднем сидел Илья Муромец, крестьянский сын,
Сиднем сидел цело тридцать лет...

Мне оставалось разве что ещё раз внимательно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии съёмочной группы очередного исторического фильма. Нет, чуда не произошло, да и сидящие на челнах явно не работали на кинокамеру, такой класс игры современным актёрам не по зубам.

Лодки приближались, я уже хотел встать и позвать на помощь. И уже было встал, но представил, как я выгляжу со стороны: босой, без штанов, в рубахе длиной с мини-платье. Меня могут неправильно понять. Да и вообще, ситуация не столь критична, чтобы вопить «SOS».

Провожая глазами уплывающих потенциальных спасителей, я стал очевидцем ещё одного действия. Над рекой, шумно лопатя воздух мощными крылами, пролетали несколько гусей. Один из певцов вдруг встал, в руках у него появился внушительных размеров лук. Натянув тетиву, певец прицелился — и вот птица тяжело плюхнулась в воду со стрелой в брюхе! Чёлн вильнул, несколько отклонился от маршрута; исполнители былинных песнопений

приняли на борт почившего гуся и продолжили плавание как ни в чём ни бывало. Пожалуй, с просьбой о помощи я подожду. Замечу: убийство птицы с помощью боевого лука я видел первый раз в жизни.

Посидев ещё немного на нагретой дряхлой посудине, я решил идти вдоль реки в том же направлении, куда уплыл лодочный тандем. Из речной низины, заросшей непролазным ивняком, поднялся в прибрежный лес. Никогда бы не подумал, что придётся бродить по нехоженным дебрям босиком и без штанов. Очень скоро неизвестные кровососущие хорошо оттрапезовали на моих ногах, они покрылись укусами и отчаянно чесались. Ступни уже не воспринимали мелких уколов веток, онемели от постоянной боли. Изнеженное дитя города, что там говорить.

День разошёлся вовсю, его радостно славил птицы, которых я обнаружил огромное количество. Я брёл на окровавленных ногах среди звонкого щебета и пения, не разделяя птичьей радости. Присел спиной к тёплому стволу берёзы, вытянул многострадальные ноги — и вдруг увидел на соседней берёзе свежую зарубку!

Зарубка была горизонтальной, и указывала именно то направление, которое я выбрал исключительно наобум. Я перекрестился, в душе колыхнулась надежда, особенно когда обнаружилась вторая зарубка, сделанная около недели назад. Под ногами ощутилась плотная земля, что-то вроде забытой тропки.

Скоро она привела меня к миниатюрному колодезному срубу, устроенному на месте родника. Низкий, — в три венца, — но собранный аккуратно, он имел ещё и резной навес с деревянной скульптуркой Дажьбога. Вода из переполненного сруба выливалась по жёлобу и текла себе дальше, до недалёкой встречи с рекой. Утицей качался в срубе корец с выгнутой рукоятью. Невольно сказав спасибо безвестному строителю-доброхоту, я с жадностью напился. От сруба среди стволов петляла чуть более утоптанная тропинка. Она закончилась около сказочного архобъекта.

Низкая избушка с резной головой коня на крыше будто вырастала из земли. У двери — деревянное рассохшееся корыто. Не здесь ли Александр Сергеевич Пушкин увидел натуру для сказки о рыбаке и рыбке? Я бы несколько не удивился, увидев престарелую супругу бесталанного рыбака. Однако вместо неё на очередной авансцене моих приключений появился иной персонаж. Из двери вышел тот самый старенин, что в позе медитации проплывал совсем недавно мимо меня в долблёном челне. Реальность явно менялась. Солнце катилось к закату; защищаясь от его косых лучей, старенин смотрел на меня из-под руки.

— Здравствуйте, — сказал я с поклоном, представив себе впечатление, которое своим кретинским прикидом должен производить на нормальных людей.

— Здрав буди и ты, — убрал старенин руку ото лба. — Ну, зайди ко мне. Экий ты калечный, юнота.

Пригнувшись, я вошёл вслед за старенином внутрь избушки. Эх, пленники пыльного асфальта и бетонно-кирпичных мешков, горделиво именуемых

квартирами! (Хотя, что это я разошёлся: сам прозябаю в городских квадратных метрах.) Как же плохо, античеловечно мы живём. Ибо, внедрившись в незатейливое с виду пространство, я попал в другой мир, в царство другой эстетики. Это трудно описать словами, но постараюсь в меру своих скромных возможностей.

Сразу за порогом вниз вели три ступеньки: избушка вросла в землю по задумке архитектора на целых три венца. Поэтому интерьер был гораздо более просторен и высок, чем казался снаружи. В воздухе этого жилища веяло прохладой, смешанной с ароматами трав, развешанных пучками по стенам. Прежде всего я увидел печь, сложенную из тёсаных камней, рядом с ней стоял доброй работы стол. На столешнице ровным чистым пламенем горел светильник (интересно, на каком топливе?). Его пламя освещало лицо ещё одного старца. Сидя за столом, он перебирал продолговатые дощечки, осторожно прикасаясь к их поверхности нервными, как у пианиста, пальцами. Кожа на ладонях была столь тонка, что розовато просвечивала.

— Подойди, — легонько толкнул меня в спину старенин.

Я подошёл, одёргивая рубаху, как школьница перед экзаменатором. Старец отложил очередную дощечку, повернул ко мне лицо. Его широко раскрытые глаза не имели зрачков. Он был слеп. Это ужасало и одновременно завораживало.

— Ветр времени тебя принёс, человеке, — неожиданно густым басом, заполнившим всё пространство избушки, сказал старец. — Издалека, почти от конца света. Как кличут?

— Андрей, — выдавил я.

— Ишь ты, от византов прозвище. А сам из наших мест. Ты хоть ведаешь, юнота, куда тебя ветер занёс?

— Не ведаю, — пролепетал я.

— Да ты никак заробел? Ужель я на убийца похож? В моём доме волос с главы твоя не упадёт. Ты где рождён?

— Под Москвой.

— Москва? Не слыхал.

Так, приехали. Этот суперстар живёт в двух сотнях км от столицы, но о её существовании не подозревает. Может быть, материализовался тот самый невидимый град Китеж, и это его жители рассекают на допотопных челнах по местному водоёму? Ладно, разберёмся в процессе контакта. Но как-то неудобно контактировать без штанов. Видимо, флюиды моих мыслей внедрились в подкорку престарелого визави, потому что он сказал своему сотоварищу:

— Рядко, пошарь порты в сундуке. Срамно молодцу, в такой возраст взошедши, без портов быть. Да на ноги опорки какие-нито приищи.

Старец при этих словах мимолётно улыбнулся, и стало ясно: собеседник мой не лишён юмора. И каким-то непостижимым образом видит меня в моём непотребном облачении. Скоро я щеголял в коротковатых, зато крепких штанах и ношенных лаптях.

— О каком ветре вы говорите, уважаемый? — подал я голос, совершенно не понимая, что происходит.

— А ты зови меня просто: Двинец. Так меня отец с мамкой нарекли. Да ты сядь, в ногах правды нет. Стало быть, занесло тебя, Андрей, ближе к сотворению мира на несколько поприщ. Чуешь ли сие?

— Чую.

— А ведь сюда просто так не попадёшь. Разве что всею своею сущностью того восхотети. Пошто восхотел?

— Хочу увидеть крещение Руси.

— Вона что! Глянь в красный-то угол, — Двинец повёл рукой за спину, где на уровне человеческого роста на угловой полке стояло несколько предметов.

Приглядевшись, я рассмотрел небольшие каменные и деревянные скульптурки языческих богов. Некоторые из них были с большим вкусом раскрашены в радостные, яркие цвета. Но на втором плане стояла византийского письма... икона с изображением Спаса Нерукотворного! Предметы эти стояли здесь не как интерьерные безделушки, к ним относились с обожанием: на краю полки в низком горшочке белел щемящее-трогательный букетик ромашек.

— Зришь Спаса?

— Зрю, — кивнул я.

— Сей образ добыл я во младости. То было в Таврии, где христиане рзались за веру. Тамошний владетель возопил о помощи ко князю Гостомыслу, у какого я в те поры меченошей был. Гостомысл повёл нас, воев, к морю. Грешен аз: не одно капище христианское мы порушили. Оттуда и принёс на память образ Иисусов. Давно сие было, быльём поросло. Мне на земле мало дел осталось. Всё, что познал, надо записать. Присовокуплю к познаниям предков: глядишь, и пригодится. А там и побреду к богам на исповедь. Но я не о том. По обличью твоему вижу — не оратай ты, не рыбарь, не пастух, не охотник. Персты к лопате да лемехам не научены. Какими трудами кормишься?

— Рисую, красками пишу. У вас, мне помнится, краски вапами зовутся.

— Верно. Считай — волхованием промышляешь. Тогда говорить будем иначе.

Двинец встал с резного стульца, отодвинул в сторону дощечки на столе. Открыл сундук, добыл из него небольших размеров книгу. Она в избушке казалась предметом экзотики из другого измерения. Книга была — Библия на греческом языке.

— Вот учение Иисусово. Познал я его, и все наши познали. Ведомо нам стало: оно верно. За Иисусом пойдёт народ, ему и мы, русичи, присягнём. Будет сие не сейчас. Кровь большая прольётся. Но так будет. И так писано в наших скрижалях. Вот они и есть, наши скрижали.

Мой собеседник взял со столешницы одну из дощечек. На ней, сделанной из твёрдого тёмного дерева, в несколько строк теснились буквы без пробелов. По начертанию буквы смахивали на скандинавские руны.

— Скажи, Двинец, ты — волхв? — вырвалось у меня.

— Нет. Моё дело — скрижали чертить. Ты не гляди, что очи мои бельмами покрыты: я руками вижу и чую. Ведомо мне, что некто тебя Нежданом обозвал. Так ли?

— Так.

— А на шее твоей, на серебряном гайтане, куриный бог обретается. Так ли?

— Так, — почти прошептал я, невольно тронув прощальный подарочек Златы.

— Боле спросать не буду. Разве вот что: тебе зачем крещение-то узреть надобно?

— Хочу изобразить.

Неожиданно Двинец весело засмеялся, помолодев сразу лет на десять.

— Взвеселил ты меня, Андрей-Неждан! — оглаживая белую бороду, сказал он, отсмеявшись. — А подумал ты, разве возможно изобразить молнию, волну, мысль или слово? Хотя... Пойдём-ка, приплец, сядем на завалинке, да поговорим ладком. Вот что мне думается...

Мы провели за разговором с Двинцом неизвестно сколько времени. Над головой татарским луком изогнулся месяц, лес вокруг жил своей потаённой жизнью, мелькали меж стволов таинственные тени, сопровождаемые шорохами, писками, уханьем филина или мелкой копытной дробью. Но они меня не пугали, это были звуки и образы природы. Многое из того, что я узнал, никогда и никому не расскажу: очень не хочется остаток дней провести в психбольнице. Правда, разговор наш больше смахивал на интервью, где в качестве начинающего журналюги-недоумка выступал я. А Двинец... Ум, интеллект и познания этого человека казались мне необычными. Такого собеседника ни до, ни после я не встречал. И, пожалуй, не встречу.

— Вишь, месяц-то роги как изогнул: утреть скоро начнёт. Заговорился я с тобою и повечерять забыл пригласить. Небось, голодный? Хотя и так видно. Пошли, покормимся. И ведь Рядко голоса не подал! Спит, поди, без задних ног. Пошли. Оно и нам поспать не во вред будет.

Я кивнул. У меня уже почти прошло ощущение, будто я играю какую-то роль в театре абсурда. Но всё же мучило чувство зыбкой неопределённости, что заставило с глуповатой улыбкой выдавить, вставая с завалинки:

— А вот скажи мне, Двинец, как и когда я смогу в своё время вернуться?

— Сие одному ветру времени ведомо. Хроносом его латынцы кличут. Но мстится мне — очень скоро. Заскучать по батьке с мамкой не успеешь.

Мы вернулись в избушку. Рядко тихонько посапывал за перегородкой. На столе нас ждал ужин: кувшин молока, корчага с кусками сотового бортового мёда да половинка каравая. Молча поели. Я лёг на лавку, укрылся тулупом — и провалился в сон.

Впрочем, сейчас я не уверен, что это был сон. Ибо в этом сне я прошёл по земле древних славян, своих пращуров. Полюбовался на мирные селения, возделанные нивы, величественные замки князей, могучие крепости и задумчивые капища на речных крутоярах.

Моим взорам предстали драгоценные изделия славянских мастеров, их великолепные одежды, украшения дев и жён. Неведомый мой поводирь показал тайные хранилища, где обретались сокровенные знания древних мудрецов таинственной и непостижимой языческой Руси.

И ещё я увидел, как пришла вера во Христа на нашу землю. Всё было совсем не так, как рассказывают историки. И подчищенные, подкорректированные летописи сильно лукавят. Что летописцы: они люди подневольные, писали под указку очередного великого князя либо государя всея Руси. Но это — дело будущего, всё тайное когда-то станет явным. Для себя я понял главное — как всё это изобразить, удивившись: почему сразу-то не дошло. Хотя в жизни часто бывает так, что от сложного решения приходишь к простому...

* * *

— Да что ж ты будешь делать! Хоть кол на голове теши — мусорят. Что за народ пошёл! Ну побесились, пожрали своих шашлыков, попили всласть своего вискаря поганого — так уберитесь же вы, изверги...

Текст этой пламенной речи (кроме множества непечатных выражений, которые я опускаю) озвучивал мужчина неопределённого возраста с чёрным пластиковым мешком. Он бродил где-то внизу, а я лежал на дощатом помосте, который, в свою очередь, был верхней точкой какой-то вышки, похожей на сторожевую. Такие вышки обычно ставят по периметру исправительных учреждений строгого режима. Или в охотхозяйствах для наблюдения за поголовьем дикого зверья.

Помолившись Всевышнему, чтобы оказаться на втором варианте деревянного сооружения, я сел, потряс головой и внимательно огляделся. Слава Богу, вокруг лес и полное отсутствие бараков и прочих элементов архитектуры для спецконтингента. Продолжив обозревать окрестности, я проследил, причём это были слёзы облегчения. Ибо я с радостью узнал местность. На не очень далёком горизонте белели высоты родного города, а моя брэнная многострадальная плоть обреталась на одном из лесных кварталов городского бора. Отсюда до дома примерно километров пять-шесть. Но это по прямой, а реально — с десятков км. Пустяки.

Ощупал себя: вроде кости целы, ран и ссадин тоже не заметно. Одежда: косоворотка, порты, лапти — наличествуют. Значит, я был в той избушке. И куриный бог на шее. Эк меня носит по области, как пушинку одуванчика. А вот рюкзак с документами и деньгами остался в Редькино. Да ладно, пройдушь пешочком, лишь бы до дому добраться. Конечно, мой внешний вид будет вызывать законное любопытство у прохожих. Да и представители полиции могут задать логичные вопросы насчёт одежды. Ну и что? Скажу, например, что я отбил от коллектива, то бишь фольклорного ансамбля. Успокоив себя такой здоровой мыслью, спустился вниз.

— О! Надо же так погулять! — изумился увидевший меня уборщик мусора. — Не замёрз, сердешный?

— Да вроде нет, — пожал я плечами.

— Ну ты закалённый! Сентябрь на дворе, а он ночью в одной рубашонке кочумарил! Да ещё на такой верхотуре! — Уборщик восхищённо покачал головой.

— Сентябрь? — вырвалось у меня.

— Ну. С утра было пятое, я внука в школу отвёл. А ты, товарищ, где такой костюмчик приобрёл? Или вы на корпоративе маскарад устроили?

— Он самый. Где в город дорога поближе?

Сентябрь и впрямь уже начал столбить свои владенья жёлтыми клоками берёз. Куда же девались целых два месяца?...

* * *

На меня смотрели, как на ожившего далай-ламу. Дверь в мастерскую не закрывалась. Коллеги по цеху и знакомые чуть ли не толпами ходили, чтобы лично удостовериться в моём возвращении. Первым меня встретил пейзажист Володя.

— Я всегда знал, Андрей, что ты человек нескучный. Но что до такой степени — даже не догадывался, — сказал он, пожимая мне руку и пристально оглядывая. — Ты тут напряг всех, включая губернатора.

— Ну, расскажи, чем же моя персона так заинтересовала областных небожителей?

— Шутишь? Нормально. Стало быть, порядок. А кто мне давеча за оперативную информацию о местопребывании неоязычников обещал отблагодарить жидкой валютой? Тогда выдам все новости со дня твоего исчезновения.

— Помню. Садись.

Я налил Володе коньяку, порезал яблоко. С удовольствием выпив, пейзажист невесело усмехнулся:

— Ты знаешь, старик, я себя просто идиотом чувствовал все эти два месяца. Ведь именно я тебе рассказал, где этих сектантов языческих отыскать. Кто, спрашивается, за язык тянул?

— Кончай посыпку главы пеплом, рассказывай.

— Дней через пять после твоего отъезда приходит твой отец. Говорит, пропал сын. Я его успокоил: поехал ты, мол, далеко, да и места там живописные, вот и задержался. Но когда он пришёл через полмесяца, мне и самому стало не по себе. Заявили в полицию, потом поехали в Редькино на полицейском «уазике». Меня взяли на борт по причине знания местности. Поговорили с тамошним гуру (кстати, прикольное у него имечко: Тур Колояр). Он подтвердил, что да, был тут художник из облцентра, интересовался историей славян-язычников. Его и на праздник Ивана Купалы пригласили, в коем он принял участие как гость. Но последний раз его видели идущим к озеру с девушкой Златой. Потом ни его, ни девушки никто не видел. Одна из жительниц деревни, некая бобылка Дарёна, принесла твой рюкзак с документами, одеждой и часами. Родная наша полиция прочесала для видимости местность вокруг этого озера, даже дайвера-любителя привезли из райцентра. Понюрял он с аквалангом, ничего не нашёл, кроме обгорелого тележного колеса и прочего бытового мусора. В общем, Андрюха, поставил ты на уши многих. Про больницы и морги я не говорю, их твои родичи все обошли. Попытались выяснить фамилию и адрес этой Златы, но бесполезно. Партайгеноссе язычников сразу сказал — мы имена и адреса у своих единоверцев не спрашиваем,

у нас всё на добровольных началах: любой человек может когда угодно прийти и уйти. Плесни-ка ещё.

— Да-а, два месяца, — прошептал я самому себе, наполняя рюмку Володе; потом подумал и налил себе, спросив собеседника: — А дальше-то что было?

— Ничего. Как объяснил следователь, вот ежели бы по горячим следам, то можно было надеяться на положительный результат. Кстати, я узнавал насчёт перспектив, и они печальны. Как пояснил всё тот же Мегрэ недоделанный, классический «висяк». Дело закрыли, тебя перевели в списки пропавших без вести, я сам в горотделе видел объявление на стенде. Жэ ву компрен па?

— Само собой.

Володя наклонился над столом, глянул на меня с лукавым прищуром:

— Колись, Андрюха, где прикопал труп фигурантки Златы?

— Володь, пошёл ты со своими дурацкими шутками!

— Извини, извини, что-то меня занесло. Но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки. Ты ведь понимаешь, что теперь следователи тебя будут очень конкретно раскручивать на предмет этой Златы. Нет, серьёзно, где ты всё это время куролесил?

— Давай рюмку. Насчёт последнего вопроса — без комментариев. Как-нибудь потом расскажу.

— Дело хозяйское. Не хочешь общаться с друзьями — будешь общаться с адвокатами. Оно тебе нужно?

— Слушай, не напрягай, ладно? Без тебя тошно. Я тебя уважаю, Володь, но в этом вопросе ты мне не поможешь. Закрыли тему.

— Как прикажешь. Тогда — наливай...

В общем, через два дня, устав от поздравлений по случаю чудесного воскрешения, мне пришлось сказать очередному посетителю:

— Всё, ребята, от винта. Пора и честь знать. Мне работать надо.

* * *

Да, мне нужно было работать. Потому что теперь я знал, какую вещь и как буду писать. Практически не выходя из мастерской, я за две недели написал новое полотно. Правда, полотном это можно назвать условно. На самом деле знакомому столяру я заказал липовую клеёную доску размером метр на метр.

Залевкасил её, как для иконописи, отшлифовал поверхность до полного сходства со слоновой костью. Затем без всяких предварительных эскизов нанёс элементарный линейный рисунок композиции — и немедленно начал живопись восковой темперой. Я работал с нетерпением и огромным желанием, перешедшим в настоящее исступление. Какое время суток, а уж тем более день недели, меня не интересовало. Теперь-то я знаю: так и нужно творить.

Сначала, правда, было некоторое сомнение насчёт техники, ведь темпера с лессировками требует особой скрупулёзности. Но переделывать я не хотел, да и некогда. Вперёд! Закончив работу, я выпал в осадок на диване и проспал сутки. Обрядил своё новое творение в строгую раму, водрузил на мольберт и завесил мешковиной. Набрал на мобильнике номер Ивана Громова.

— Веди банкира, Ваню.

— Ух, ты! Неужели ты сделал это?

— Тебе не идут пошлые американизмы, ведь тебя зовут не Джон, а Иван. Работа готова. Созвонись, уточни время и сообщи мне.

Через два дня ровно в десять утра в дверь мастерской постучали. Это были банкир Ягузов с Иваном. Банкир оказался педантичным джентльменом в золотых очках с небольшими диоптриями, в чёрном консервативном костюме-тройке, лаковых штиблетах и с седеющими волосами, расчёсанными очень предсказуемо на прямой пробор. Имиджмейкеру — тройка. Хорошо поиздевался над VIP-персоной: типичный воротила с Уолл-стрита тридцатых годов прошлого столетия.

— Знакомьтесь, — суетливо представил нас друг другу Иван. — Господин Ягузов. А это наш местный Васнецов, тот самый Андрей.

— Я как-нибудь сам, — остановил я излишнюю угодливость приятеля (наверняка ведь свой гешефт имеет, барыга!).

— Действительно, не стоит, — с мягкой укоризной посмотрел на него распорядитель кредитов, поправляя очки. — Скажу честно: хочется немедленно обозреть результат вашего упорного труда. Надо отдать должное вашему приятелю, он несколько месяцев держал меня в напряжённом ожидании. Надеюсь, не напрасно.

Я усмехнулся:

— А по ощущениям — что вы ожидаете увидеть?

— Совершенно не представляю. Если бы представлял — был художником, пожалуй. Всю сознательную жизнь завидовал вашему брату-живописцу.

— Жизнь нашего брата-живописца далеко не усыпана розами и магнолиями. Уверяю вас, завидовать нечему. Но это — тема для особого разговора. Смотрите.

И я аккуратно откинул с полотна мешковину.

* * *

Теперь дело прошлое, могу сказать откровенно: мне ничего выдумывать не пришлось. Композицию, цветовое решение и даже мелкие детали я увидел в своём невероятном сне, посетившем меня на лавке под жарким тулупом в избушке Двинца, переписчика славянских скрижалей. Так что писал я, можно сказать, с натуры (хотя и по памяти). Добавил от себя лишь одну деталь.

Буйное разнотравье рвётся из нижнего края залевкашенной липовой доски. Чертополох, лопухи и крапива взяли в полон тёмные заострённые брёвна ограды, добравшись почти до их наверхий — позеленевших от времени лошажьих черепов. Стебли выюнка и дикого хмеля ползут по белому мрамору резной входной арки, добытой после боёв с христианами за морем, в далёкой Византии. Арка раскола надвое, её полукружия косо лежат одна на другой. Солнце матово высверкивает на затейливых узорах полированных рельефов.

Со второго плана на зрителя смотрят идола. Я придал им самые разные выражения, и сделать это мне не составило большого труда. Тогда на заваulinке Двинец поведал мне о языческих богах так образно и ярко, таким

цветистым языком, что они стали для меня живыми. Да они и на самом деле были когда-то живыми! Ведь во сне я видел их на древних капищах во всей красе. У меня есть предположение, за которое меня наверняка осудят светила исторической науки. И всё же я его озвучу. По моему убеждению, фанатики-христиане сознательно уничтожили все гениально созданные великими скульпторами-язычниками изображения своих богов, оставив (опять же сознательно) лишь малохудожественные поделки. Мол, и вера была неправильной, и кумиры-то сделаны примитивно. Мы, дети XXI века, почти ничего не знаем о языческих богах.

— Верховник наш — Велес, — негромко звучал в звёздной ночи голос Двинца. — Его просим о достатке в доме, о здравии скотов и птицы. Людям мудрость даёт. Много славных дел свершил и на земле, и на небе. Он богам заглавный помощник. Во времена оны Ярило обращён был противником его, Кашеем Трипетовичем, в зайку серого, а Волос силою своею божественной его расколдовал. Жена у Велеса прозваньем Буря-Яга.

Или вот Перун. Он докончил творение Вселенной, он исхитрился достать нашу Землю из котла-океана, в коем плавают все светила. Он, Перун-батюшка, населил нашу земную твердь. Из камня содеял нас, человек, научил железо ковать. Когда ему наскучило одному быть, ударил Перун по белу горяч камню, и произвёл Семаргла, бога огня. От жены Перуновой, Лады, пошли остальные боги.

Ты, Андрей, небось, думаешь: и что это мне стар-старенин сказки тут рассказывает? Однако во Иисуса вы, христиане, верите, и знаете, что был он земной человек из плоти и крови. А мои пращуры своих богов живыми видели, и тоже во плоти. Да они и по сей день живёхоньки, ведь боги смерти не имеют. Придёт час — и они опять на Землю-матушку сойдут. Как знать — может, союзно с Иисусом...

Уже ходит по земле богиня Макошь. У неё, матери судеб наших, мы вымаливаем каждый свою судьбу. И ходит-то она не одна, а с подружками своими. Прядут они нити судеб людских. Одна — Доля — счастье сплетает достойным. Зато другая, именем Недоля, беды да невзгоды вышивает за грехи.

А всех нас, русичей, породил древнейший из всех богов, зовомый Дажьбог. Он ведаёт Вселенной. Рождён от Перуна и русалки Роси. Волхвы рекут о его великих делах. Ведь это он, Дажьбог, по велению Всевышнего содеял Великий Потоп... Теперь слушай про Стрибога...

Это лишь ничтожная малость из рассказа Двинца. Разве можно запомнить энциклопедию? Но мне даже того, что отложилось в неудачном завершении туловища, хватило для того, чтобы увидеть в богах весомые и зримые живые черты.

Одних богов я увидел и написал каменными, других — деревянными. Но все они имели человеческие лица. Боги смотрели на зрителя печально и с укоризной. Они стояли в некошенной траве забвения, уже отринутые людьми. Только на угловатом плече Макоши синели три незабудки.

За этим живописным реквиемом, за забытым людьми капищем — зеленели клочки пашен, разделённые перелесками и речушками. А на самом

горизонте, за взгорочком, желтела охристая, крытая новой дранью крыша церковки с приплюснутой луковкой купола и еле заметным православным крестом. Вот и весь сюжет.

* * *

— Да-а, всего я ожидал, только не этого, — сказал банкир, длинно выдохнул и снял очки.

Я стоял у открытого окна, спиной чувствуя тепло ещё греющего солнца и одновременно — прохладные дуновения сентябрьского ветра. Мнение Ягузова меня не волновало. Более того, я искренне хотел, чтобы банкиру не понравилась картина. Потому что она — лучшее, написанное за последние годы. Но уговор дороже денег...

— Скажу больше, — Ягузов подошёл ко мне, — вы превзошли все мои ожидания. Квинтэссенция темы. Хочу уточнить: техника — восковая темпера?

— Да. Дерево, левкас.

— Понятно. У меня просто вертится на языке вопрос: как вам удалось столь глубоко прочувствовать смысл этого эпохального события — крещения Руси?

— Полное погружение, господин Ягузов. Пропустил тему через душу.

— Да, да. Скажу без лишних дифирамбов, вы их услышите от искусствоведов — я готов приобрести работу. Поговорим о цене?

Что с него взять: финработник. Мыслит цифирью и конкретикой. Интересно, по каким критериям он собирает коллекцию? Ладно, это лирика. Не буду утомлять подробностями, скажу лишь: предложенную мной сумму Ягузов помножил на два. От такого результата глаза молча слушавшего наш диалог Ивана раскрылись до пределов, дозволенных природой. Он подошёл к картине и стал разглядывать её, приблизив лицо почти вплотную к красочному слою.

Ударили по рукам, подписали соответствующие документы. Один из них, кстати, гласил, что я могу арендовать бесплатно работу для экспонирования на вернисажах любого формата и в любых странах мира при соблюдении надлежащих страховых договорённостей и мер безопасности. Но это неинтересно. По окончании формальностей банкир по мобильному отдал короткое указание, в мастерскую вошли два нехилых парня. Один из них вручил Ягузову кейс, второй аккуратно запаковал моё произведение и унёс его в бьюик банкира. Мне был вручён гонорар, выпили мы по рюмке за удачную сделку и распрощались. Выходя последним, Громов показал за спиной поднятый вверх большой палец и восхищённо покрутил головой. А мне стало грустно. Мастерская словно опустела. Жаль.

* * *

Прошёл месяц после сделки с банкиром, о которой с лёгкой руки третпача Громова только глухонемые не судачили о моей творческой удаче. Шла бы она и ехала, такая слава! Каждый мало-мальски знакомый человек считал своей обязанностью засвидетельствовать почтение моей персоне с обязательным потреблением горячительных напитков «за удачу». Как-то

сидел я в состоянии мрачной меланхолии, komponюя очередную задумку. В дверь постучали. Это был археолог Олег. Я вяло пожал ему руку и привычно поставил на стол две рюмки.

— За что пьём? — бодро осведомился Олег, потирая руки.

— Не понял. Ты разве не с творческой удачей пришёл меня поздравить, чтобы сократить мою жизнь ещё на пару недель? — мрачно ответил я вопросом на вопрос.

— Да Господь с тобой, ты о чём, Андрюха? Я только вчера с раскопок приехал.

— И ничего не знаешь? — всё ещё не веря, осведомился я.

— Нет. А что случилось?

Я облегчённо вздохнул, убрал рюмки. Потом мы пили чай с халвой, Олег рассказывал о своих делах.

— В общем, Андрей, полевой сезон закончен, не зря копали. Дожди зарадили, а то ещё с недельку поковырялись бы.

— Где в этот раз трудились?

— На Постниковом городище. Заходи, покажу кое-что. Удивлю.

Таких слов Олег на ветер не бросал, поэтому на следующий день я посетил его творческую берлогу. Подержал в руках очищенные зубными щётками и тщательно, осторожно промытые черепки керамики, почти насквозь проржавевшие ножи, подковы и шкворни неизвестного назначения; полюбовался серебряной застёжкой-фибулой. В процессе этого обзора мне пришлось выслушать вдохновенный рассказ Олега об особенностях кованых изделий вятичей, о проблемах атрибуции.

— Молодец, Олежа. Завидую тебе, — сказал я дежурную фразу, стараясь произнести её энергично, с подъёмом.

Дело в том, что созерцание подобных артефактов, сопровождаемых двухчасовыми лекциями, стало ежегодной традицией, а потому особых эмоций уже не вызывало.

— Но это не всё, — Олег заговорщицки понизил голос, оглянулся по сторонам, словно кто-то мог подслушивать наш разговор. — Андрей, дай слово, что не проговоришься никому о том, что я тебе сейчас покажу.

— Честное пионерское, — поднял я руку в салюте.

— Я серьёзно.

— Я тоже. Ты меня знаешь.

— Ну, тогда слушай. Когда я увидел ЭТО в раскопе, показалось, что моя крыша тронулась в сторону моря. Я тут же вырубил сапёрной лопаткой ЭТО вместе с куском родного грунта и спрятал от всех. Смотри.

Археолог вынул из сейфа картонную обувную коробку, осторожно поставил на стол, поднял крышку. В ней на куске грунта лежала... моя бензиновая «зиппо»! Она исправно служила мне лет десять, я знал каждую царапину на её когда-то блестящей поверхности и еле видную, полустёршуюся надпись по-английски: «Harley-Davidson». Между прочим, фирменная байкерская вещица, память о безбашенной юности. Утерянная, стало быть, в культурном слое вятичей. Утерянная мною!

— А что, Олег Михалыч, это такие шутки в цехе археологов? — попробовал я состричь, чувствуя непроизвольное тремоло в верхних конечностях.

— Если бы! Такого не может быть, потому что не может быть никогда, как говаривал Антон наш Палыч Чехов. Но я сам, своими руками нашёл ЭТО почти на метровой глубине, в культурном слое, которому больше тысячи лет!

— Да, мистика. Я сам в юности на байке рассекал, знаешь ли. И у меня такая «зипшо» была. Но в такую даль и глубь не заносило, хе-хе. И что ты собираешься делать?

— Ничего. Подожду. Надеюсь, ты представляешь реакцию докторов исторических наук и прочей профессуры, когда я продемонстрирую им ЭТО.

— Стационар в Кашенко они тебе обеспечат, как пить дать. Да, старик, сумел ты меня удивить, — сказал я, уходя. — Держись.

— Конечно. Но не забывай, ты обещал...

— ...Молчать! Помню. Скажу больше: я понимаю тебя, как никто другой. Знаешь, Олег, когда ты решишься это обнародовать, дай мне знать. Потому что на эту тему мне тоже есть что рассказать, тебе будет интересно.

Дня через три меня посетил следователь. Человек с тихим голосом и вкрадчивыми манерами, он пытался вызвать меня на откровенность, задавая коварные вопросы. Его — ясное дело — интересовало, где я находился целых два месяца и какова судьба Златы. Если бы я знал... А насчёт собственного отсутствия у меня была железная версия, которую опровергнуть было невозможно. Взяв с меня обещание поставить его в известность, если появятся новые сведения о девушке или я вспомню какие-то обстоятельства, следователь удалился. Знал бы этот слугитель Фемиды, как я страдаю.

Мы были знакомы с ней всего один день и одну ночь. Но какую ночь! Я постоянно думал только о ней, а маленький её амулетик с куриным богом стал мне дороже всех богатств мира. Забросив живопись, я ходил по сызким улицам, вглядываясь в лица прохожих под зонтиками и капюшонами (город буквально залили осенние дожди). Надежда встретить Злату таяла с каждым днём. Да и с чего я взял, будто она здесь живёт? И о себе я ничего внятного ей не рассказал. Мы не успели поговорить ни о чём подобном. Эх, не до этого было...

После недельного отсутствия я появился в мастерской, чтобы коллеги не подумали о моём очередном исчезновении. Проветрил комнату, полил немногочисленные растения на подоконнике. Автоматически поставил кипятиться чайник, столь же бездумно заварил его. Сел перед пустынным мольбертом, взял в руки карандаш. Поискал глазами папку с бумагой, выдернул лист, стал рисовать по памяти её портрет. Работа захватила меня, я даже не заметил, как в дверь без стука вошёл искусствовед Гена Топорков. Встав за моей спиной, он несколько минут наблюдал за появлением на куске французского торшона девичьего лица. Хлопнув меня по плечу, спросил:

— Перешёл с нехоженных тропок истории на проторённую автостраду портрета?

— Привет. Не угадал, Гена. Так, восстанавливаю по памяти один образ.

— Прекрасный образ, однако. Но почему по памяти? Не проще ли пригласить оригинал? Или (он понизил голос до шёпота) бросила?

— Сам не пойму. Всё гораздо сложнее. Чайку налить?

— Давай. Но если мешаю — скажи, не обижусь.

— Не мешаешь.

Мы поговорили часа полтора, после чего Гена раскланялся. Я тут же схватился за карандаш, чтобы продолжить рисунок, но, видно, не судьба. Интеллигентно, после вежливого стука, вошёл сосед, старик Бубнов.

— Андрей, я могу попросить тебя оказать мне небольшую любезность? — деловито осведомился безумный портретист.

— Ну отчего же, я весь к вашим услугам.

— Мне, собственно, нужно передвинуть стол ближе к окну, а силёнок уже маловато.

— Немедленно повинуюсь. Идёмте.

Несколько лет не знавшая уборки, захламлённая мастерская Бубнова красноречиво говорила о сильно пошатнувшемся разуме старика. Я изредка наводил у него относительный порядок, но последние три месяца по понятным причинам отсутствовал. Разгребя ногой тюбики с засохшей краской, я подошёл к столу. На нём, прислонённая к стене, стояла с небольшим наклоном ежедневно переписываемая картина с волком и лунной.

Бубнов бережно снял холст, и, пока он держал его в руках, я легко передвинул однотумбовый стол. И вот когда Бубнов снова водрузил своё произведение на столешницу, я обратил внимание на новое изображение в лунном диске. Это был... Двинец! Что это, мистика? Или весточка из прошлого? Или намёк на что-то?

— Михалыч, а кто это? — показал я на портрет переписчика скрижалей.

— Нравится? — улыбнулся своей беззащитной улыбкой не ладивший с собственным серым веществом портретист.

— Нет слов. Но всё-таки, кто это?

— Во сне увидел. Роскошный типаж, от него веет бесконечной древностью. Нет, тебе действительно понравилось?

— Действительно.

— Спасибо. Знаешь, Андрей, он со мной даже разговаривал.

Зная буйную фантазию старика, никак не сдерживаемую шорами здравого смысла, я всё же спросил:

— И о чём же был диалог, если не секрет?

— Мало что осталось в памяти. Но одно запомнилось: он просил меня передать привет каким-то двум людям — твоему тёзке Андрею и Неждану...



Евгения Шабеева

Евгения Шабеева родилась в Норильске в 1984 году. Росла в Татарстане, жила в Нижнем Новгороде и Красноярске. Преподавала английский язык, проводила палаточные лагеря. Сейчас обитает в селе Дворцы Калужской области, фултайм-мама. Автор книги «Точка полёта».

НЕПРОВИННІВШЕЕСЯ ВРЕМЯ

* * *

Так мало слов, чтоб рассказать
О том, как ждёшь, о том, как любишь,
Какого цвета небеса
И для чего под ними — люди...

Так много слов, чтоб убивать
Непровинившееся время,
Чтоб имена перемарать
Всех светлых: редких и мгновенных...

Как мало слов, чтоб приручить,
Как много слов, чтобы отгадать...
Как мало — чтобы разрешить
Себя по волосам погладить...

Блестящих слов на нитку лжи
Уже нанизано так много...
Шнурок без бус — за то, чтоб жить
Ты мог, — моя молитва Богу...

Быть может, нужно лишь одно
Могучее такое Слово...
И я ищу его давно,
Но нету в словарях такого.

* * *

Давид справляет день влюблённых
С Вирсавией — очередной
Красивой, нежной и законной
Женой.

Очередной псалом фристайлом
Прочтёт поэт на злобу дня.
Господь простит, Господь не станет
Пенять.

...Когда-нибудь, в подобный вечер,
Взойдёт на царство Соломон.
И тоже будет бесконечно
Влюблён...

Любовь, любовь бежит по жилам!
Звенит кимвал, дрожит живот.
— Где Урия? Не здесь ли жил он?
Ну вот...

* * *

Вот дом,
В котором был счастлив Джек.

А это девица,
Которая истово трёт половицы,
В доме, в котором был счастлив Джек.

А это синица,
Которая сдохла в кармане девицы,
Пока она тёрла свои половицы
В доме, в котором был счастлив Джек.

А это журавль,
Который живёт у молочника в Ницце,
Но в жизни её не увидит девица,
Которой ещё оттирать половицы
В доме, в котором был счастлив Джек.

А это зарницы
На севере, где родилась та девица
Затем, чтобы вечно тереть половицы,
В доме, в котором был счастлив Джек.

А это светлица,
В которой любила молиться девица,
А нынче ей некогда: трёт половицы
В доме, в котором был счастлив Джек.

Вот Джек.
Который мечтал увезти её в Ниццу,
А после на Север — смотреть на зарницы,
Но старая ведьма шепнула девице,
Что главное в жизни — тереть половицы,
Зачем же ещё этот женский век.

А это гробница.
И в ней успокоилось тело девицы.

Но дух её истово трёт половицы
В доме,
Который покинул Джек.

* * *

Вот она шипит, шипит, что твоя змея.
Ты опять, говорит, опять, да ты мне всю
жизнь разрушил.
Из её разбитого сердца струится яд,
Затекая в его глаза и уши.

Он пытается выжить, пытается сохранить
Самого себя — скорее инстинкта ради,

Он глядит и не видит, теряя нить
В прокурорской её тираде.

Он, конечно, не прав, и, конечно, права она.
Умирает первым, однако, правый.
Он глядит, и бамбуковая стена
Вырастает, но гибнет в ливне её отравы.

И тогда он двигает взглядом земные плиты,
И взрывается бездна, и нужно кричать
сильней,
Чтобы в грохоте разлетающихся кусков
гранита

Он услышал, как нужен ей.

* * *

Кое-как слона всей ротой
Затащили в павильон.
Подошёл к нему охотник
И заметил: «Мёртвый слон».

Подошла к нему собака,
Пропыхтела: «Мёртвый слон».
Подошёл старик, прошамкал:
«Шовершенно мёртвый слон!»

И патологоанатом
Подтвердил, что мёртвый слон.
Даже некий губернатор
Согласился: мёртвый слон.

Руки потирал торговец:
«До чего же мёртвый слон!»
А свидетель Иеговы
Тихо плакал в домофон...

Я не верила в слона.
Я, вообще-то, не должна.

Я же всё-таки не дура,
Я умею дважды... два.

Только слон сказал мне утром:
«Я живой, и ты жива».

* * *

В доме утопленника не говорят, как прекрасен подводный мир.
В доме расплавленного в ДТП не выбирают между теслой и фольксом.
В доме пропавшего в Кармадонском ущелье не поют «парня в горы тyani».
В доме расстрелянного за анекдот не шутят шуток.
В доме посаженного за мем не хранят картин.
В доме расчленённой за короткую юбку не пересказывают историю моды.
В доме растаявшего от голода не делятся новым рецептом.
В доме не проспнувшегося в постели не читают на ночь, не поют колыбельных: не спят.

На этой планете,
которая есть огромный дом

утонувших,
расплавленных,
пропавших,

расстрелянных,
посажённых,
расчленённых,

растаявших,
не проспнувшихся,

о чём вообще говорить?

Оксана Рачкулик

Оксана Викторовна Рачкулик по образованию инженер-метеоролог. В 1990-х годах посещала литобъединения в Обнинске и в Калуге, тогда же увлеклась авторской песней. С 2006 года — художественный руководитель творческого объединения «ОАЗИС», в «активе» которого концерты, спектакли, встречи с авторами и организация фестивалей — «Вспоминая классиков авторской песни» и Международного фестиваля авторской песни и поэзии «Обнинская нота». Живёт в Обнинске.



ТАЛЫЙ ВОЗДУХ ГЛОТНУТЬ

* * *

Ты же сам выбирал этот путь по карнизам и крышам.
Ты же знал, всё заранее знал... Так чего же ты ждёшь?
Что ты хочешь сказать? Кто поймёт тебя здесь, кто услышит?
Что ты шепчешь сейчас? То ли молишься, то ли поёшь...

Этот город внизу — растекается, плещется, манит...
Что он знает о тех, кто застыл между ним и луной?
Что ты знаешь о нём? Кто спасёт тебя там, кто поймает?
Кто удержит тебя на карнизе в ладонь шириной?

Только ветер боками шершавыми трётся о крыши.
Никакая судьба не защита — ты знаешь, родной...
Попросить за тебя? Кто поймёт меня здесь, кто услышит?
Кто удержит меня на карнизе в ладонь шириной?

* * *

Всё азартнее наши салочки.
И, следя за игрой из окна,
Кто-то ставит и ставит галочки
И записывает имена.

Наполняются горькие чарочки,
Опрокидываются — до дна.
Память ставит и ставит галочки.
И вычёркивает имена.

* * *

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.

Анна Ахматова

Вот он и наступил на нас, високосный,
Пеплом прикрыв мокрые мостовые.
Что ж ты скулишь, вцепившись в свои вопросы,
Будто на вкус мир ощутив впервые?

Всё же нам дали с вами попризновать, братцы, —
Выпить и опохмелиться. Чего же боле?
Вот и опять чьи-то фотки начнут меняться,
Глядя издалека, как в тюрьгу с воли.

Что ты твердишь, как мантру, нелепой вести
Прямо в зрачки уставясь, слабая и прямая?
«Мы были живы, и в жизни мы были вместе...
Мы были вместе — и большего я не знаю».

* * *

Шарманщик, ну где ты, шарманщик?
Спой старую песню одну,
Как ночью встаёт барабанщик
И смотрит, чужак, на страну.

Ну что он здесь может увидеть?
Что хочет, родимый, узреть?
Здесь учатся долгой обиде,
Как где-нибудь учатся петь.

И плачут — как будто по нотам.
И смотрят — как будто не ждут
Тебя вон за тем поворотом...
И лишь после смерти живут.

* * *

Наше время — ночь,
Наше дело — дрянь.
Так что обесточь
На окне герань.

Завари чаёк —
Не придёт связной.
У него, браток,

Нынче выходной.
На столе — тетрадь,
Под столом — покой.
Враг устанет ждать
И уйдёт в запой.

За окном, шурша,
Проползёт ковчег.
Не грусти, душа,
Слышишь — тает снег...

* * *

Давай останемся на свете этом,
Как партизаны. Здесь привольно летом
Полянками зелёными скакать.
А что зима? Нальём себе по чарке.
Нас не догонят злобные овчарки,
А к заморозкам нам не привыкать.

Пусть по другим друзья справляют тризны.
Нас не отыщут в самой чаще жизни
И не отправят по этапу в рай.
Попартизаним из любви к искусству,
Споём взахлёб, попьём чайку вприкуску.
Хоть на денёк останемся давай.

* * *

Убежать в Антарктиду коротким путём,
Что на старенькой карте прочерчен ногтем,
Повторять про себя: «Всё путём, всё путём», —
И подёрнется сердце ментолом.
У пингинов, наверно, не спины, а шёлк,
И касается лапок прохладных пушок.
А тюлень там купается голым.

Или я перепутала вновь полюса?
Научиться б сворачивать жизнь в полчаса
И молчанье раскладывать на голоса —
И не важно, где север, где юг.
Убежать до беды, замечая следы.
Талый воздух глотнуть у прибрежной воды,
Надувая спасательный круг.

Дочери, начавшей писать стихи

Эта девочка падает в ту же пропасть,
Не использовав шанс на краю задержаться.
И над ней парашютом раскинулось небо, но стропы,
Насколько я знаю, имеют обыкновение рваться.

И значит — лететь без страховки. Снежинкой. Снарядом.
Путём, хорошо мне известным, не раз воспетым.
Но я утешаюсь, что падать я буду рядом.
Во всяком случае, мне хочется верить в это.

Вариант

Я подбегаю к автобусу,
Когда двери уже закрыты.
Водитель впускает меня.
Я улыбаюсь водителю.
Если автобус взорвётся —
Улыбка будет последним,
Что сделала я на земле.
Не самый плохой вариант.

* * *

Какая ночь! Как близко Новый год!
А помните, нам в детстве обещали,
Что в Новый год минуют все печали,
А чудо обязательно придёт?

Ах, это ожидание чудес!
Теперь творим их потихоньку сами,
С тревогой наблюдая за часами,
Покуда свет волшебный не исчез.

И ночь — как сон. А сон, как сказка, ярок.
Мы выросли, но верим вместе с тем —
Волхвы уже везут для нас подарок,
Единственный, не купленный никем.

Какая ночь! И мы своим любимым
Несём свои посильные дары.
И наши песни неисповедимы.
И путь усыпан блеском мишуры.

* * *

Это враг мой.
Лысый, немолодой.
Он идёт в магазин, а потом домой.
Дома — дети, кухня, экран рябой.
А жена на курсах «Как стать собой».
Он проходит грузно, включает свет...
Ну, какой достался. Другого нет.

* * *

Как появился герой, умолчим о том,
Кем и на чем был сделан крутой замес?
Но научившись смотреть, — он увидел дом.
Комнату, стол, и окно. А в окошке — лес.

Что его ждет в этой комнате день за днем?
Скука, недлинный путь вечером в трактир?
И оттого наш герой покидает дом
И на рассвете выходит в огромный мир.

Мир поведет. И тропинки крутой изгиб
Будет манить — и так уже до конца.
Каждое дерево, куст или даже гриб
Кажутся чудом и вехой для беглеца.

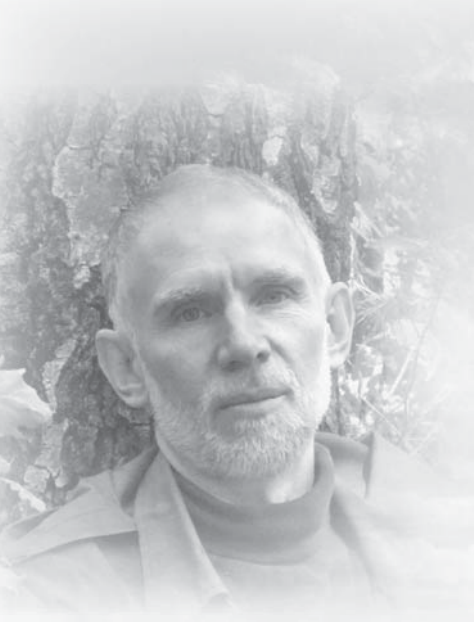
Кто притаился в чаще, какой там зверь —
Волк ли, медведь за ближайшим застыл стволом?
Но подойдя поближе, он видит дверь,
Стену, окно и комнату со столом.

* * *

Когда она, не считая попыток,
Шла безоружная на полки,
Он, грустно цедя ежедневный напиток,
Обдумывал продолжение строки.

Когда она посылала проклятья
Всем великанам и ветрякам,
Он любовался огнём и статью,
И мысленно волю давал рукам.

Когда ж, подсчитав синяки и утраты,
Она засыпала, приняв сто грамм,
Он доставал свои меч и латы.
И селфи выкладывал в инстаграм.



Александр Трунин

Александр Васильевич Трунин родился в 1954 году в селе Кольцово Ферзиковского района Калужской области. Окончил русское отделение филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Стихи публиковались в журналах «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», «Дети Ра», многих альманахах и сборниках. Автор трёх книг. Член Союза российских писателей. Живёт в Калуге.

ПОДЖОГ

Маня спешила домой после ночного дежурства. На тропинке, круто сбегавшей в овраг, она вдруг остановилась, достала из кармана коробок, повертела его в раздумье, раскрыла, резко чиркнула спичкой по коричневой полоске. Сера с треском разлетелась в стороны, и одна искра едва не попала ей в глаз. Потерев прижжённое веко, Маня отстранила коробок подальше от лица и попыталась зажечь новую спичку, потом ещё и ещё. Только пятая зажглась как положено, от неё легко вспыхнула мелкая сухая травка, которая словно бы только и ждала этого весёлого разбойного огня.

Маня пошла вниз, к мостику, покорёженному недавним половодьем, а красные дымящиеся языки поползли вверх по склону, ветерок подгонял их, и когда пламя добралось до прошлогоднего бурьяна, то горячей волной взмыло вверх и легко перекинулось на деревянную изгородь ближайшей усадьбы.

Уже с другой стороны оврага Маня на ходу оглянулась. Но тут же обернулась и ускорила шаг, хотя в горку идти ей было нелегко — набрала за зиму лишний вес. Через пять минут всё же остановилась, снова оглянулась. Пламя съело уже больше половины изгороди и уверенно ползло к дому, из которого так никто и не выглянул, не закричал, не побежал с ведром воды.

Вздохнув, Маня стала снова спускаться назад, вниз, сначала медленно, потом быстрее. Через мостик почти перебежала, рискуя провалиться в воду, рванулась вверх, но только сердце разогнала и задохнулась на половине подъёма. Когда подошла к пожару, огонь уже плотоядно лизнул крыльцо. Сорвав с себя куртку, Маня стала хлестать ею по стене, по изгороди и закричала, не узнавая своего голоса:

— Помогите! Пожар!

Дома в деревне стояли редко, вольно, к тому же соседние пустовали, до ближайшего жилого — метров сто. Да и выходной сегодня, спит народ.

Кто услышит женский голос, а если и услышит, не разберёт, что она кричит. Страх по-настоящему пронял Маню. Нет, слышали или заметили дым, кто-то ударил в било — тяжёлый лемех, висевший на суку старой липы вместо пожарного колокола. Послышались голоса, плеснула вода на стенку крыльца, зашипело, взмыло вверх облачко пара. Застучал топор, упал горящий пролёт изгороди, и её стали забрасывать землёй. Маня оглянулась, народу сбежалось много, и уже кто-то кричал:

- Вода в колодце кончилась...
- Из ручья, из ручья давайте...
- Пожарную вызвали?
- Да когда она ещё приедет...
- Траву гасите...
- Угли не оставляйте...

Маня отошла в сторону, почувствовала озноб, надела куртку, хотя она была вся чёрная от копоти и правая пола прогорела насквозь. Хотела уйти потихоньку. Но в это время дверь в доме распахнулась, на крылечко вышла Люська Коновалова, стройная, красивая, несмотря на похмельную опухлость, и наглая.

- Что собралась? — крикнула она, щуря глаза на собравшихся.

Димка Сабуров, тащивший ведро воды, остановился перед ней, кивнул головой в сторону огорода с дымящейся сломанной изгородью, истоптанными грядками, вырванным дёрном.

- Ох е... — последовало громкое длинное ругательство.

В это время из дома донёсся неразборчивый мужской голос, и Люська резво закрыла за собой дверь.

- Я ж эту суку найду... — продолжила она свой гневный монолог.

Кто-то попытался открыть дверь изнутри, но Люська пяткой так лягнула назад, что дверь громко захлопнулась, и за ней кто-то вскрикнул.

У Мани жар поднялся в груди, кровь бросилась в лицо, она провела рукой по щеке и шагнула к дому. Рядом засмеялся Димка Сабуров:

- Тётъ Мань, ты как в атаку собралась, морда полосатая... Умойся, тушить вроде больше нечего, водичка вот...

Вовремя сказал. Несколько пригоршней ледяной воды остудили лицо. А самой по-прежнему было жарко. Стянула с себя тяжёлую, грязную куртку, бросила её на землю и пошла той же тропинкой, что и до пожара. Люди тоже стали расходиться. И ещё долго было слышно, как Люська грозит своим врагам.

* * *

Горько было Мане. Неужели там, за дверью, был её Петя? Что ж за гадина угнездилась в их деревне! Лет четырнадцати приехала как-то летом к соседям племянница, вся московская, борзая, в коротенькой юбочке в обтяжку, попка и грудки оттопыренные. С девчонками не подружилась, да вообще не замечала, есть они или нет, зато ребята сразу вокруг неё — табуном. Да и не только ребята, мужики мимо пройти спокойно не могли.

Месяц она всех тут баламутила. Тётя Люба с дядей Васей, её то есть тётка с дядькой, терпели. Очень они терпеливые были. Но времена тогда были чуть построже. И когда Валюха Хазина заметила, что её молодой — месяц как свадьбу сыграли — муж тоже туда же, она пожаловалась на Люськино аморальное поведение дяде Коле, председателю сельсовета. Дядя Коля умный был.

— Давайте, — сказал он тёте Любе с дядей Васей, — без скандала. Месяц отдохнула у нас, пусть едет к родителям. Наверное, соскучились уже.

Уехала на следующий день. И много лет о ней не слышно было. Даже когда её стареющий отец построил себе в деревне дом, посадил огород, завёл корову, надеясь, что здоровый сельский быт продлит ему жизнь, она ни разу здесь не показалась.

Но отсчитанные отцу годы скоро кончились, и однажды летом Люська, которой к тому времени уже перевалило за сорок, приехала принимать наследство. Хотя и крепко строился дом, а время и природа берут своё. Стекло на кухне от града треснуло, нижняя ступенька перекосилась, дверь заело — чтобы закрыть, поднимать приходилось, печка дымила, пока дрова не разгорятся как следует... Позвала она соседа Саньку. Подработать, тем более никуда ехать не надо, никто не откажется. Санька позвал Ваньку, а к вечеру к ним Витька прибил. После работы Люська на стол поставила. Ладно, это так принято. Но вместо того чтобы выпить-закусить и домой отправиться, загудели допоздна. Ближе к полночи песни запели.

— Праздник что ль у кого? — спросил дядя Коля на другом конце деревни сквозь чуткую старческую дрему.

— Это у Люськи, — пошевелила пожилая дочь вялыми сонными губами, не открывая глаз. — Приехала... курва.

«Непорядок», — подумал дядя Коля, который уже не был властью и, всё замечая по привычке, переживал за родную деревню молча.

И ладно Санька с Ванькой, те, наклюкавшись, поорать любили, а Витька и говорил-то нехотя. Как его Люська завела... Сама она, правду сказать, пела грамотно, и голос её сучий тревожил и манил, так что многие в эту ночь в деревне не могли заснуть.

А потом началось. Что ни вечер, мужики в теремок — так скоро прозвали домик Люськи, которая сдала свою московскую квартиру за хорошие деньги и зажила безбедно и беззаботно, благо уже никто не обязан был трудиться на пользу общества.

Пыталась Маня спросить, да и укорить заодно Лёху, пробежавшего мимо её дома на работу:

— Это ты вчера мне чуть палисадник не повалил? Ноги-то еле несли...

— А чё, а чё? — остановился Лёха и одной рукой почесал лохматую голову, а другой потрогал рукой загородку. — Цел твой палисадник.

— И что ж вы к ней, как трутни к матке, ползёте?

— Да ладно, Мань... — Он вдруг оживился и сообщил довольно, проводя большим пальцем по широкой груди: — А представляешь, я вчера три ножа вот так приложил — висят, пять ложек — висят, сковородку — тоже висит.

Стою как магнит. Люська говорит: я сразу увидела, какая в тебе энергия... Ну всё, побегу, уже опоздал...

Через несколько дней Маня встретила дядю Колю, он сидел на лавочке перед домом седенький, подслеповатый, в старых костюмных брюках, новеньких кроссовках и выцветшей клетчатой рубашке, застёгнутой под самое горло. Рассказала ему о разговоре с Лёхой.

— Таланты, значит, открывает, — слабо усмехнулся старик синеватыми губами, стараясь сбить костылём головку лопуха, выросшего на цветущей полянке. — Может, её в клуб взять работать...

— Да выслать бы подальше, пусть там что-нибудь полезное откроет... Жаль, нельзя, — посетовала Маня, наблюдая борьбу старика с не желающим сдаваться растением.

— Да, — согласился дядя Коля, замахнулся и перебил всё-таки изнемогший стебель. — Закон она не нарушает. Терпите, бабы.

Все и терпели.

Маня-то за своего Петю была спокойна. До тех пор пока Зинка-продавщица не рассказала, что видела его у Люськиного крыльца.

— И что дальше? — спросила Маня, стараясь выглядеть равнодушной.

— А не знаю, мы на машине мимо ехали...

— Вот и нечего языком молоть, за своим следи...

— Как хочешь, подружка, — обиделась Зинка. — А своему я сразу сказала: убью если что...

Несколько дней Маня ходила сама не своя. Убить — не убить, а проучить хорошо бы. Говорят, в старину ворота дёгтем мазали. А теперь — ни ворот, ни дёгтя. Вот ещё хорошо — по телевизору показывали: зелёнкой в морду плеснуть... Не, эту не проймёт, только популярности добавит. «Да и не правда это, не может мой Петя...» — убеждала она сама себя. А покой на сердце не приходил.

Вот и прошедшей ночью дежурила она на базе отдыха, в одиннадцать музыку выключили и все спать улеглись, никто не шастал, но она ни на минуту не уснула. Как муха назойливая, не отогнать, лезла мысль: а вдруг — правда, и он сейчас у неё...

Утром сменщица пришла:

— Что куртку-то на перилах оставила, не лето... Как тут? Да оставь куртку-то, пусть просохнет, возьми мою...

Отмахнулась Маня и поспешила домой.

* * *

А теперь, как увидела, что после пожара у Люськи в дверь кто-то толкался, как представила, что это он, её Петя, и вовсе всколыхнулось всё внутри.

К дому своему почти подбежала, ключ достала, а в замок попасть не может, не подходит. Перебрала всю связку, нет — эти с работы, снова попробовала, вошёл наконец. Повернула два раза, дверь распахнулась — тихо как, голова закружилась. Прошла в зал — пусто, в спальню — муж лежал

на спине, открытый по пояс, голова слегка на бок, спал, но почував жену, зашевелился.

— Что так жарко у нас? — спросил, открывая глаза.

— Весна, на улице потеплело, а топим как зимой, надо котёл подрегулировать, — тихо сказала Маня и заплакала.

— Что такое? — Петя приподнялся на локтях, взгляделся, принялся. — А чем горелым пахнет? Что случилось?

— У Люськи пожар был... — Маня заплакала ещё сильнее.

— Жива? А дом что?

— Жива... Только изгородь сгорела.

— И что ревёшь-то не пойму... Так уж Люську жалко?

— Скажи, ты был у неё?

— Уж не ты ли и подожгла?

— Да я траву только под горой...

— Ох, ну ты и дура.

— Ты у неё был?

— Просто дурища...

— Ответь сейчас же...

— Всё, успокойся...

— А чего ты улыбаешься?

— А потом сама и тушила?

— Тушила. Ты у неё был?

— Ну как тебе это в голову пришло?

— Зинка сказала, у её крыльца тебя видела...

— А... Так это, наверное, когда я Серёжку искал, он на работу не пришёл, управляющий меня и послал, срочно нужен был. А где ещё искать, если не у Люськи.

Маня заревела во весь голос, не сдерживая светлых слёз, стекающих по грязным припухшим щекам. Петя встал, посадил рыдающую жену на кровать, обнял. Гладил шершавой ладонью по широкой мягкой спине и приговаривал:

— Ну ты и дурища... Ну и дурища...

Анна Пашковец

Анна Сергеевна Пашковец родилась в 1986 г. в городе Севске Брянской области. Окончила социально-экономический институт БГУ. В Калуге с 2011 г., участник литературной студии «Вега». Стихи публиковались в альманахе «Облака», молодёжном литературном альманахе «Зерно», литературном сборнике «Чистовик», поэтическом сборнике «Послушайте». Живёт в Калуге.



МНОГОТОЧИЕ ИЗ ЗВЁЗД

* * *

Не толкай меня в пропасть, пожалуйста, не толкай.
Я на самом краю, и мне не за что зацепиться.
Солнце, как репортёр, освещает нас с потолка,
и кричат мне: «Взлетай же!» — наивные смелые птицы.

Не столкни меня в пропасть, пожалуйста, не столкни.
Она ждёт там, внизу, и по-своему даже любит.
Я хватаюсь за свет, за воздух, за строчки из умных книг,
за чужие, необъяснимо родные судьбы.

Я вбуравлюсь корнями, я зацеплюсь за край
и останусь так ждать: не смерти — так воскресенья.
Только жаль: я мечтала, когда не была стара,
не на этом обрыве свои семена посеять.

* * *

Спи, никуда не девалось солнце, оно на месте.
Спи. Это просто такая туча, большая туча.
Все мы, как реки — в море, впадаем вместе
в долгую спячку. Сегодня для всех так лучше.

Спи, мой хороший, тебя укутаю, чем придётся.
Небо всё выше, глядит на нас всё мрачней и строже.
Спи и не бойся, ведь нам никак не достать до солнца.
Нет, мы не сможем, не сможем его уничтожить тоже.

Пусть тебе снятся в полёте птицы, птенцы в скорлупках.
Пусть тебе снится, как ешь малину в саду у Бога.
Как это — вдруг не проснёмся? Ну что ты, глупый!
Спи...
Пробуждение в нас зашито, как таймер в бомбе.

* * *

Шла по проспекту, а он оказался канатом.
Лезвием бритвы, неверным подтаявшим льдом.
Дальше шагать — или лучше вернуться обратно?
Я ведь пока ещё вроде бы помню, где дом?

Шла на восток, ну а компас возьми да сломайся:
стрелка безумствует, будто вот-вот улетит.
Я не умею по звёздам и лиственной массе.
Вот бы Ты за руку вывел меня, во плоти.

Ты преврати меня в голубя, Господи, коли
реинкарнацией вздумаешь вдруг пошутить.
Он, как и я, и неряшлив, и туп, и прожорлив, —
но никогда, никогда не сойдётся с пути.

* * *

Над Меганомом тихо дремлет лето.
А в полночь заглянуть наверх рискнёшь —
летучей мышью свесишься с планеты:
ещё чуть-чуть — и свалишься с неё

в чернильную раззявленную бездну,
на стразами усыпанное дно
(а в каждой блёстке — адова геенна,
клокочущая ядерной войной).

А ты висишь притихшею цикадой,
сухим листом, несбывшейся мечтой
и ждёшь, как в ноль-четвёртом, звездопада.
Но крепок звёздный клей.
Иди.
Постой.

А завтра поезд в средние широты,
и ты не увезёшь с собой звезду.

И будет чувство, что забыла что-то,
но непонятно,— где, в каком году.

А Млечный Путь — наверное, без кочек.
Но разве кто-то в путь тебя зовёт?
И рано здесь сегодня ставить точку.
Здесь только многоточие из звёзд...

* * *

Нас ведь давно описали де Сад и Фрейд,
предупредил Соломон: ничего не будет
нового — ни войны, ни любви, ни бед...
Даже в нирване будешь — мильённым буддой.

Каждый предсказан, доказан и позабыт.
Что ты ни вытворяй — это было тоже.
Что там тебя ни мучает, ни болит,—
либо у классиков, либо в статьях по ЗОЖу.

Нет, всё равно — доживаем до тридцати,
так и не попривыкнув к себе и прочим.
Папоротником силимся расцвести.
Чудо за каждым изгибом дороги прочим.

Нет, всё равно у каждого изнутри
рвётся снарядом это опять наружу
и засыпает осколками всех: смотри,
каждый вооружён и обезоружен.

Всё уже было, и всё происходит вновь:
яро, смешно, мучительно, как впервые.
Мы не справляемся: сил не хватает, слов.
Живы. Но не научены быть живыми.

* * *

Наша многоэтажка встречает первый солнечный луч,
вмиг порывшей кожей вбирает утреннюю благодать
и подставляет спину, как ящерица, теплу.
Время вставать.

Наша многоэтажка будильников слушает перезвон,
скрежет ключей, и топот, и сонный гул.

Вытянулась по струнке к небу, как часовой,—
мол, стерегу.

В нашей многоэтажке загажен каждый первый подъезд
и неисправны часто кодовые замки.
Рядом ещё с полсотни, наверно, есть —
точно таких.

Выползу. Неводом в сонное небо заброшу взгляд.
Чувствую, словно антенна: вокруг друг друга любят, кидают, злят...
«Господи, только взгляни на эти несчётные этажи.
Подскажи,
как мне здесь жить?»

* * *

Вся эта русская средняя полоса
в окнах вагона, в моих бестолковых генах.
Шиферным крышам и стриженным волосам
проседи выдано поровну, несомненно.

Переплелись с корнями берёз — мои.
Детство моё играет в глухой деревне.
Эта тоска, как старый наш пёс, скулит.
Эта надежда светится сквозь деревья.

Где-то волчками вертятся полюса,
свет замирает у собственного края.
Бледная русская средняя полоса —
детям своим вовек шалашом и раем.

Сергей Михеенков

Сергей Егорович Михеенков родился в 1955 году в деревне Воронцово Куйбышевского района Калужской области. Служил в Советской армии, работал механизатором, учителем сельской школы, журналистом, редактором районной газеты, научным сотрудником Тарусского краеведческого музея, помощником депутата Государственной Думы. Окончил филологический факультет Калужского государственного педагогического института им. К. Э. Циолковского и Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР (семинар Эрнста Сафонова). Автор многих романов и документальных книг о войне, биограф маршалов Советского Союза Г. К. Жукова, И. С. Конева, К. К. Рокоссовского и выдающейся русской певицы Лидии Руслановой. Ныне работает и проживает в г. Тарусе



В 2020 году вышла книга Сергея Михеенкова «Москва — 41» (изд-во «Молодая гвардия», серия «ЖЗЛ»), повествующая об одном из центральных событий Великой Отечественной войны — битве за Москву.

В альманахе публикуется глава из книги, посвящённая судьбе Александра Фёдоровича Наумова, генерал-майора (с 21 мая 1942 года), командира 312-й, затем 53-й (сводной) стрелковой дивизии 43-й армии, внёсшего значительный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.

ПОТОМОК ЕРМАКА

1

После катастрофы под Вязьмой, Рославлем и Брянском Сталин несколько дней пребывал в угнетённом состоянии. 8 октября, на следующий день после того как немцы замкнули кольцо вокруг Вязьмы и войск Западного фронта, послал телефонограмму генералу М. Ф. Лукину*, который принял

* Михаил Фёдорович Лукин (1892–1970) — генерал-лейтенант (1940), Герой Российской Федерации (посмертно). Род. в д. Полухтино ныне Зубцовского р-на Тверской области в крестьянской семье. В Русской армии с 1913 г. Участник Первой мировой войны. В 1916 г. окончил школу прапорщиков. Ком. роты 4-го гренадерского Несвижского полка им. Барклая де Толли, поручик. В Красной армии с 1918 г. В 1918 г. окончил курсы разведчиков при Полевом штабе РККА. Участник Гражданской войны. Помощник начальника штаба, начальник штаба дивизии, командир полка, бригады. Награждён двумя орденами Красного Знамени. В 1926 г. окончил курсы усовершенствования начсостава при Военной академии им. М. В. Фрунзе. Комдив. С 1939 г. — зам. ком. войсками Сиб. ВО. В начале Великой Отечественной войны командующий 16-й, 20-й, 19-й А. Попал в окружение под Вязьмой во время осеннего немецкого наступления на Москву («Тайфун»).

на себя командование окружённой группировкой: «Если не пробьётся, защищать Москву будет некем и нечем. Повторяю: некем и нечем».

Пятого октября в командование войсками Западного фронта вступил генерал армии Г. К. Жуков. Верховный срочно отозвал своего Суворова* из-под Ленинграда, где положение более или менее стабилизировалось. Город устоял и продолжал обороняться. Группа армий «Север», израсходовав наступательный ресурс и почувствовав возросшее сопротивление советских войск, остановилась.

А здесь, под Москвой, ни фронта, ни войск не было. Жуков собирал всё, что было под рукой, и формировал на недостроенной Можайской линии новую оборону.

С Валдая спешным порядком была переброшена 312-я стрелковая дивизия. На станцию Ворсино близ Малоярославца одним из первых прибыл штабной эшелон. С платформы тут же скатили штабную «эмку», в неё сели командир дивизии полковник А. Ф. Наумов, старший батальонный комиссар Я. Э. Сировский, начальник оперативного отделения капитан В. М. Яиров, и машина тут же полетела по шоссе в сторону Москвы.

В штабе Московского военного округа их уже ждали. Командующий округа генерал П. А. Артемьев был немногословен и хмур. Член Военного совета К. Ф. Телегин не проронил ни слова. После краткого ознакомления прибывших с положением дел на фронте и к западу от Москвы командующий сказал:

— Вы, Александр Фёдорович, назначаетесь начальником Малоярославецкого укрепрайона. Подчиняетесь штабу округа. Фронт обороны вашего боевого участка... — Генерал Артемьев провёл рукой по карте, расстеленной на двух сдвинутых столах прямо поверх письменных приборов, видимо, перед их приездом. — ... сорок километров. От реки Руть, через Ильинское, до Детчино. Окопы полупустые. Сейчас их занимают курсанты подольских училищ, пехотного и артиллерийского, и отдельные части и подразделения. Войска продолжают прибывать. Но основная сила на Варшавском шоссе и на малоярославецком направлении — ваша дивизия. Так что вся надежда на вас, Александр Фёдорович. Какие у вас вопросы?

— Что с флангами? — спросил Наумов.

— Фланги открыты, — напряжённо глядя на карту, ответил Артемьев.

Много лет спустя в своих мемуарах генерал Наумов о той встрече в штабе Московского военного округа писал: «Какой же был перед нами противник, где нужно ожидать его главную группировку? Это было нам недостаточно ясно.

Ранен. Пленён. В 1945 г. освобождён. Прошёл проверку органов НКВД. Восстановлен в РККА. С 1946 г. в запасе. Награждён: орденом Св. Владимира IV ст., орденом Св. Анны IV ст., орденом Св. Станислава III ст., орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды.

* Среди историков бродит такое сравнение: Жуков был при Сталине тем же, кем был Суворов при Потёмкине. Григорий Александрович Потёмкин — главнокомандующий Объединённой Южной армией.

Видели мы огромную карту, для которой не хватало стола командующего, и на ней отображены синим карандашом многочисленные кружки, походные колонны пехоты, танков, артиллерии противника...

По той обстановке, которая царил в штабе и в кабинете командующего, можно было догадаться только об одном — нужно как можно более спешно выходить на рубеж обороны, и неизвестно — хватит ли времени, ведь не было проведено не только рекогносцировок, а хотя бы намёток для ориентировки системы огня, взаимодействия и управления.

Складывалось впечатление, что нужно было как можно скорее просто «затыкать» образовавшиеся бреши, громить врага везде и всюду и не допустить его к Москве...

От Москвы до Малоярославца более 100 километров, противник приближается, он уже в Медыни, поэтому, ни минуты не теряя, скорей, скорей к полкам, чтобы успеть спустить приказ на подходе их к Малоярославцу и ввести их в назначенные им боевые участки. А ведь формат обороны — 40 км. Успеют ли полки, батальоны, роты занять свои районы и участки?»

Первое штабное совещание провели в дороге, в машине. От Малоярославца до передовых подразделений противника примерно сорок-шестьдесят километров. Немцы где-то между Юхновом и Медынью*. Почему задержались там, пока неизвестно. Кто их там задержал? Или просто производят перегруппировку? А может, повернули на северо-восток и формируют внешний обвод вяземского «котла»? Судя по всему, дела совсем плохи, если дивизию, да и весь боевой участок, подчинили не армейскому управлению, а напрямую штабу МВО. Открытые фланги — вот что самое страшное. Танки пойдут по шоссе. Во всяком случае, первую попытку сделают именно на шоссе и вдоль него.

Капитан Яиров тут же уточнил:

— Линия укрепрайона перехватывает шоссе в крупном населённом пункте. Село Ильинское.

Наумов вслух размышлял:

— Командующий сказал, что «ур» не достроен и что там, в Ильинском, сейчас занимают оборону курсанты подольских училищ. Окапываются и закатывают в бетонные ДОТы орудия. Я думаю вот что: делать какую-либо передвижку войск сейчас не надо, уже поздно, надо полкам и батальонам, вплоть до роты, занимать свободные участки.

— Затыкать дыры и прохудины? — усмехнулся капитан Яиров; подсвечивая карманным фонариком, он не отрывался от карты, расстеленной на коленях.

— Другого выхода нет, — сказал Наумов. — В худшем случае мы просто не успеем развернуть дивизию.

— А в лучшем? — подал голос комиссар Сировский.

— Лучшего случая у нас, похоже, нет.

* Юхнов немцы захватили 5 октября, в Медынь вошли утром 11 октября 1941 года. От Юхнова до Медыни 47 км по Варшавскому шоссе.

После этих слов командира дивизии долго молчали. Яиров выключил фонарик.

Стала лучше просматриваться дорога. Встречный поток увеличивался с каждым километром. Ближе к Малоярославцу правая сторона совсем сузилась. На встречную полосу иногда выдавливало подводу, а то выскакивали грузовики и, хлопая брезентом, пытались объехать «пробку». Шофёр нервничал, переключался на пониженную. И всё же возле Малоярославца они столкнулись лоб в лоб со встречной полуторкой. Головами вынесли лобовые стёкла, высыпались на дорогу фары, потёк радиатор. И всё же, почти ползком, без фар, шофёр довёз их до штаба Малоярославецкого укрепрайона.

Начальник УРа генерал Смирнов* оказался на месте. Тут же, по карте, определили боевые участки, назначили командиров.

«1083-й стрелковый полк при поддержке батареи 859-го артполка — Павлищево, Зеленино, Марьино;

108-й стрелковый полк (приданный дивизии) — Юрьевское, исключая Лукьяново, Рылово;

1079-й стрелковый полк с 303-пулемётным батальоном при поддержке 2-го дивизиона 859-го артполка — Лукьяново (исключая), Машино;

Подольское пехотное училище с 33-й огнёмётной ротой — Машино (исключая), Полотняный Завод;

1081-й стрелковый полк — в резерве 1 батальон в районе Детчино, 2-й батальон в районе Костино, Максимовка;

мотострелковая рота ведёт разведку в направлении Медынь;

*штаб дивизии — Малоярославец**.*

Полковник Наумов расставил свои полки, закрыв самые опасные направления и промежутки, не занятые войсками. «К тому времени, — пишет исследователь Московской битвы и биограф А. Ф. Наумова, — ещё не была полностью, до штата, вооружена противотанковой и зенитной артиллерией. И самое главное, что беспокоило командиров, — каким образом организовать управление войсками при крайне ограниченных средствах связи?»

Проблему нехватки радиосвязи, телефонных аппаратов и провода усугубляла относительно большая протяжённость фронта Малоярославецкого УРа

* Василий Андреевич Смирнов (1889–1979) — генерал-майор (1940). Родился в д. Починок Галичского уезда Костромской губернии. В Русской армии с 1909 года. Окончил Виленское военное училище — подпоручик. Участник Первой мировой войны — командир роты, батальона. С 1915 года в немецком плену. В 1918 года освобождён по обмену пленными. В РККА с 1919 года. Участник Гражданской войны. В 1930 году окончил курсы «Выстрел». В 1934 году — командир полка на Дальнем Востоке. С 1940 года — начальник Подольского пехотно-пулемётного училища. В октябре 1941 года сформировал из курсантов полк и оборонялся с ним в Ильинском секторе Малоярославца УРа. Во время войны командовал 2-й московской стрелковой дивизией. В 1942 году тяжело ранен. После излечения командовал 116-й стрелковой дивизией. После войны на преподавательской работе. Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова II степени, орденом Богдана Хмельницкого II степени, орденом Отечественной войны I степени.

** ЦАМО РФ Ф. 312. Оп. 1. Д. 6.

и пестрота сил, подразделений и частей, спешно стянутых сюда: 108-й запасной стрелковый полк, пулемётные батальоны, сводный батальон 616-го стрелкового полка, огнёмётные роты, 152-я мотострелковая бригада, 12-й гвардейский миномётный полк реактивных установок БМ-13, 517-й артиллерийский полк РГК и, наконец, батальоны и батареи подольских пехотно-пулемётного и артиллерийского училищ. Когда на Малоярославецкий участок Можайского УРа вышло полевое управление 43-й армии, сюда из резерва были переброшены дополнительно несколько артиллерийских и противотанковых полков, танковые бригады. Но задача дивизии полковника Наумова и протяжённость фронта в связи с усилением малоярославецко-боровской группировки наших войск не облегчилась. Противник тоже усиливал свою медыньско-юхновскую группировку, которая, подавив сопротивление передового отряда подольских курсантов и диверсионно-разведывательного батальона капитана И. Г. Старчака*, неминуемо двигалась по Варшавскому шоссе к Малоярославцу.

Слабым звеном малоярославецкой обороны был район Боровска.

Из мемуаров А. Ф. Наумова: «Авиационная разведка фашистов не могла не видеть, что, если по Варшавскому шоссе советская армия производит какие-то передвижения войск, то на правом фланге Малоярославецкого боевого участка этого не отмечается. Продолжая нажим по Варшавскому шоссе, а также в направлении Полотняного Завода и Детчино, основные силы 57-го мотокорпуса начали выходить на правый фланг боевого участка, не занятого нашими войсками. Быстрое взятие Боровска позволило им в дальнейшем действовать в направлении Наро-Фоминска и на Варшавском шоссе в тыл малоярославецкой группы».

Лётчики авиаразведки Западного фронта 10 октября зафиксировали движение передовых немецких колонн в районе села Кременское севернее Медыни. Они приближались к правому флангу Малоярославецкого УРа. Командование Московской зоны обороны в срочном порядке выдвинуло

* Иван Георгиевич Старчак (1905–1981) — советский военный фронтовой разведчик, десантник, в годы Великой Отечественной войны командир разведывательно-диверсионного отряда. Один из руководителей обороны Варшавского шоссе в октябре 1941 года, командир воздушных десантов 1941–1942 годов. Полковник. Заслуженный мастер спорта СССР (парашютный спорт). Первым в ВДВ совершил 1000 прыжков с парашютом (всего — 1096). Родился в с. Александровка Полтавской губернии в казачьей семье. В 1907 году семья переселилась в Забайкалье. Окончил Троицкосавскую школу. В РККА с 1920 года. Участник Гражданской войны — в отряде ЧОНа. В 1933 году окончил Оренбургское военное училище им. К. Е. Ворошилова по классу тяжёлого бомбардирования. Затем учился в Ейской военной школе морских лётчиков и лётчиков-наблюдателей ВВС РККА им. Сталина на курсах парашютистов. В 1940 году окончил командный факультет Военно-воздушной академии им. Жуковского. На фронте с первого дня войны. Начальник парашютно-десантной службы Управления ВВС Западного фронта. Участник боёв в Белоруссии и в Подмоскovie. В 1943 году — подполковник, начальник парашютно-десантной службы авиабригады парашютных войск. С 1952 года в отставке. Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны».

к угрожаемому участку несколько отрядов. Полковник Наумов навстречу немецкой колонне выслал 1083-й стрелковый полк капитана А. М. Автандилова*. Силы собрали немалые, но единого командования у этой боевой группы не было, и немцы разбили их поодиночке.

Немцы высадили десант, и он потеснил рабочие батальоны, которые ещё не были вооружены (одна винтовка на отделение). Однако в районе деревень Ищеино и Зеленино** капитан Автандилов успел развернуть в боевой порядок свой полк и при поддержке 859-го артполка атаковал противника, выбил его из Зеленино и после короткой перегруппировки пошёл в атаку в направлении на Ищеино. Бой длился несколько часов. Упорство и стойкость натолкнулись на такие же упорство и стойкость. Немцы ввели в бой резерв — танки. Батальоны атаковали с переменным успехом. Деревня несколько раз переходила из рук в руки. С обеих сторон были большие потери. Наши бойцы сожгли тринадцать танков противника.

Вместе с батальонами капитана Автандилова сражался отряд НКВД подполковника Н. Г. Шевцова. Отряд имел батарею противотанковых орудий, батарею зенитных орудий, крупнокалиберные пулемёты и миномёты. Когда под Ищеино немцы развернули танковую атаку, зенитчики и ПТО сериями точных выстрелов подожгли несколько танков и пресекли наступление. И так повторялось несколько раз.

«Во второй половине дня 12 октября, — вспоминал А. Ф. Наумов, — фашисты подтянули дополнительные резервы из деревень Мальцево и Каменево — свыше батальона пехоты и танки — и при поддержке бомбардировочной авиации перешли в наступление. Несмотря на большие потери, врагу удалось расчленить боевой порядок полка, который к тому времени ещё не успел окопаться. Третий батальон был отброшен к северу, к селу Деревенька, остальные подразделения вели бой в районе Абрамовская слобода, Хитрово. Часть подразделений отошла к реке Лужа в направлении села Юрьевское. Отряд Шевцова стал отходить на Гордеево и Абрамовское. Таким образом, на данном направлении, на нашем открытом правом фланге, ясно обозначился успех врага».

Из журнала боевых действий 57-го танкового корпуса: «12.10.41 г. 10.00–13.00. Части 3-й моторизованной пехотной дивизии отразили контратаку русских. Так как сама дивизия не смогла развить наступление, командованием корпуса было принято решение изменить направление наступления одного из пехотных полков 358-й пехотной дивизии в полосе наступления

* Арсен Маркович Автандилов (1910–?) — генерал-майор. Родился в Баку. В 1929 году окончил Объединённую Ташкентскую Среднеазиатскую пехотную школу им. Ленина. Служил в кавалерии в Среднеазиатском военном округе. В 1941 году — командир стрелкового полка. В 1944 году — командир кавалерийского 7-го гвардейского кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова III степени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды.

** Ныне Боровского района Калужской области.

3-й моторизованной пехотной дивизии с северного направления во фланг обороняющейся группировки противника».

Чтобы не допустить катастрофы, полковник Наумов направил на усиление 1083-го полка последний свой резерв — отдельную танковую роту и дивизион 12-го гвардейского миномётного полка. Одновременно из фронтового резерва на угрожаемый участок были направлены 110-я стрелковая дивизия и 17-я танковая бригада. Однако 110-я дивизия не успела развернуться. Не был организован подвоз, и полки остались без боеприпасов, когда противник подошёл на расстояние прямого выстрела.

Тем не менее вольного марша немцев на Москву не получалось. В журнале боевых действий 57-го танкового корпуса 13 октября появилась запись: «Особенно неблагоприятно влияет на дальнейшее продвижение 3-й мд тот факт, что русские по-прежнему удерживают южный и восточный берег Лужи в районе Юрьевского и южнее. Для уничтожения этой группы противника приходится задействовать крупные силы дивизии».

Итак, немецкое командование в районе Варшавского шоссе и окрестностей опасалось узких прорывов в глубину. Они ничего не давали. Советскую оборону такие прорывы не ломали, а, отсечённые от своих тылов и основных сил, эти немногочисленные группы прорвавшихся войск общего положения не меняли. Наумов со своими полками и курсантами подольских училищ держался.

Тем временем на левом крыле Можайской линии обороны 13-й армейский корпус занял Калугу и начал стремительное продвижение на Тарусу и Калугу. 12-й армейский корпус отсек Калужский участок УРа от Малоярославецкого и охватывал его с юга. «Не считаясь с большими потерями, — вспоминал А. Ф. Наумов, — фашисты упорно рвались вперёд. Они овладели важной дорогой, ведущей к Боровску, что давало возможность обойти Варшавское шоссе с севера и выйти в тыл городу Малоярославцу. Овладев городом Боровском, противник мог использовать Киевское шоссе для движения на город Наро-Фоминск».

1083-й стрелковый полк держался. За последние сутки его ещё сильнее потеснили. Одним батальоном он упорно дрался на северном берегу реки Лужа, другим оборонял село Юрьевское. Их поддерживали орудия 859-го артполка огнём с опушки леса южнее Тяпино. Третий батальон под нажимом превосходящих сил противника вместе с другими частями отошёл восточнее.

В какой-то момент связь со штабом дивизии прервалась. Чувствуя неладное, полковник Наумов выслал в Юрьевское своего начальника штаба капитана Яирова. Когда Яиров добрался до позиций сражающихся батальонов, застал такую картину: батальоны дрались уже изолированно, командир полка сражался в рядах пехоты. Начштаба энергичными действиями быстро навёл порядок, наладил связь и управление. Капитана Автандилова вернул на полковой КП.

1083-й стрелковый полк ещё несколько дней храбро сражался на правом крыле боевого участка. Вскоре его переподчинили курсантскому полку.

Тем временем сражение закипело в центре и на левом фланге. Это был первый и последний бой 312-й стрелковой дивизии.

2

Александр Фёдорович Наумов родился 23 декабря 1897 года в станице Акмолинской на севере Казахстана в казачьей семье. В 50-е годы станицу переименовывают в город Целиноград, а позже в Астану. Станица была основана казаками 1-го Сибирского Казачьего Ермака Тимофеева полка на границе с кочевьями калмыков и киргизов, «чтобы оградить русских поселенцев от набегов этих смелых и хищных наездников». В роду Наумовых из поколения в поколение передавали легенду, что предок их происходил из тех офицеров Ермака, кто хлебал с ним из одного котла и спал у одного костра и кто по совету купцов и промышленников Строгановых, «бросив разбой, послужил России в честных боях» и сильной рукой придвинул к Москве Матушку Сибирь.

Казаки станицы Акмолинской с городовыми казаками Павлодара несли военную службу по охране русско-китайской границы.

Отец Фёдор Павлович происходил из бедных казаков. Воспитывался на опекунические средства станицы. Работал при хозяйстве зажиточного казака Грибановского. Потом ушёл на службу. Вернулся героем и сразу же женился на дочери Грибановского Олимпиаде Георгиевне. Сам Грибановский вскоре замёрз в степи во время снежного бурана. Фёдор Павлович вместе со многими станичниками ушёл на Японскую войну. Олимпиада Георгиевна, как пишет биограф Наталья Прусакова, «умерла в 1905 году, не выдержав разлуки с мужем». Фёдор Павлович вернулся с войны вахмистром, женился вторично. «В новой семье родилось трое детей». Вскоре его избрали станичным атаманом. Прожил Фёдор Павлович недолго, в 1914 году помер.

Но воспитание сыну дал хорошее. Растил из казачонка воина.

Однажды мальчик со своими друзьями катался на льду Ишима на самодельных коньках. Пришли городские ребята. Городские всегда враждовали со станичными. Началась драка. Городских на этот раз оказалось куда больше, они быстро разогнали казачат. Один Санька стоял до последнего, не побежал. Ему и досталось больше всех. Отец спросил, глядя на сына, растирающего красные сопли: «И кто же тебя так?» — «Городские» — «Городские... И как же ты, казачонок, позволил себя избить? А чтобы ты запомнил, что казака, потомка Ермака Тимофеева, никто никогда не может победить, получи и от меня подзатыльник».

В 1907 году его отдали на учёбу в городское трёхклассное училище. Учился прилежно. Пел в церковном хоре. Голос у него был хороший, сильный. Пение любил всю жизнь. А тогда, в Акмолинской, в станичном храме, по видимому только им, певчим, знаку священника он с товарищами старательно и проникновенно выводил: «Разбойнику благоразумному!...» Казачья школа — это особое заведение, учебный процесс в ней выстроен так, чтобы будущего казака обучать ещё и владению оружием, верховой езде, джигитовке, рубке лозы и другим навыкам походной жизни, которая ждала подростка, юношу в будущем.

Зажиточные родители заводили для своих казачат лошадей, и на занятия те выезжали на своих конях. Старые казаки, приходившие на манеж, чтобы

посмотреть, как обучают их внуков и что из них получается, глядя на ладную посадку Саньки Наумова, советовали Фёдору Павловичу: «Купи парню лошадь! Смотри, какой казак!» Но денег в семье на покупку коня для казачонка не было.

После школы Наумов вынужден был пойти работать. Сначала — приказчиком в магазин сельскохозяйственных машин в городе Акмолинске, потом писарем в станичном правлении. Нанимался в учителя к богатым казахам в Причуйских волостях, обучал их детей русскому языку. Постепенно сам изучил казахский язык, проник в обычаи степняков. Освоил арабскую азбуку и вскоре не только читал, но и писал по-арабски. Казахи, видя успехи юного черноволосого казака, наняли его писарем с хорошим жалованьем. В будущем знание жизни казахов, умение уважать особенности этого народа помогут полковнику Наумову управлять полками, сформированными на треть из казахов, татар, узбеков и туркмен. Стоит заметить, что 1083-й стрелковый полк, который стойко удерживал северный фланг обороны дивизии во время сражения за Малоярославец, почти наполовину состоял из солдат — выходцев из тюркоязычных народов и народностей.

В те годы для поступления в военное училище требовалось образование не ниже гимназического. И вот, чтобы осуществить свою мечту, за год до начала экзаменов Наумов отправился в город Пишпек, где его дядя по материнской линии служил полицмейстером. Полицмейстеру Грибовскому хватило связей и авторитета, чтобы без труда устроить племянника писарем в уездное правление. Почти все деньги, которые зарабатывал Наумов на своём новом поприще, он тратил на частные уроки по гимназической программе для сдачи экзаменов экстерном и получения свидетельства о прохождении полного курса гимназии.

Уже шла Первая мировая, Отечественная, как её сразу восторженно окрестили, война. А война, как известно, молодое мясо любит. Фронту требовались офицерские кадры, в особенности младшие офицеры, командиры взводов и рот. В декабре 1915 года Наумову исполнилось восемнадцать лет, и ему принесли повестку. По образовательному цензу он вполне проходил кандидатов в военное училище. Свидетельство об окончании гимназии к тому времени он уже получил. В Новочеркасском казачьем училище вакансии не оказалось, поступил в Ташкентскую школу прапорщиков. На медкомиссии доктор долго осматривал его. Наумов заволновался. Других кандидатов осматривали не так щепетильно. Доктор спросил: «Хотите стать офицером? — И сам, не дожидаясь ответа новобранца, торжественно произнёс: — Будете!»

Курс обучения сократили до трёх месяцев. Но то, что Наумов получил и впитал в себя через юнкерское сукно, будет помнить и будет следовать ему всю жизнь. И не только на службе военной. В России менялся общественный строй, правители, а офицерский кодекс, усвоенный в Русской императорской армии, не выветрился и в Красной армии.

«Авторитет приобретается знанием дела и службы. Важно, чтобы подчинённые уважали тебя, а не боялись. Где страх — там нет любви, а есть затаённое недоброжелательство».

«Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение, чем колебание или бездействие».

«Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!»

1 мая 1916 года состоялся выпуск школы и производство юнкеров в офицерский чин — прапорщик. Назначение получил в Прибалтику. Полк стоял в Нарве. Ехали через Москву. На больших станциях поезд делал остановки, и можно было сходить в город, купить газеты. Газеты были разные. Заголовки уже кричали о том, что скоро произойдёт в стране. Однажды кто-то из прапорщиков запел «Вихри враждебные...», но его тут же оборвали и хором запели «Боже, царя храни...» Пел и Наумов. В Тверь поезд подошёл пополудни, но двери вагонов не открывали. И вдруг по вагону пронеслось: «Государь!.. Братцы, смотрите, это же государь!..» Приникли к окнам: по перрону в сопровождении свиты старших офицеров и генералов прогуливался царь Николай II.

Его 17-й Сибирский пехотный полк стоял западнее Риги. Вскоре оказался в деле и получил первое ранение — в ладонь левой руки. Оказались повреждёнными кости, и прапорщика Наумова, продержав некоторое время в Риге, отправили в тыл, в Петербург. Госпиталь, где ему сделали повторную операцию, находился на Васильевском острове.

Лето 1917 года оказалось сумбурным, шальным, непредсказуемым. Выздоровливающие ходили на митинги и различные выступления. Агитаторы различных партий ругали царя и обещали лучшую жизнь. Однажды пожилой штабс-капитан артиллерист, слушая одного из ораторов, сказал хмуро: — Пропала Россия...

Многое было непонятно. Особенно ему, человеку с окраины Российской империи, воспитанному в патриархальной семье, слова *Вера*, *Царь* и *Отечество* произносили редко, но видели в них основу всей жизни.

Вернувшись на фронт, обнаружил, что всё изменилось. Солдаты похлопывали по плечу ротного командира, варили в котелках ворованную на крестьянских полях картошку, перестали отдавать честь, не брились, ходили расхлябанные, без ремней, шинель нараспашку, на лицах ухмылки — погоди, мол, ваше благородие... И Наумов написал рапорт с просьбой перевести его, сибирского казака, в казачью часть. Ходатайство его было удовлетворено, и вскоре он получил сотню в 45-м Донском казачьем полку 6-го Сибирского корпуса. Полк через несколько дней бросили в бой. Донцы серией стремительных контрударов остановили продвижение немецких войск к Пскову.

Однажды сотня хорунжего Наумова после короткого огневого налёта атаковала фольварк. По приказу сотника казаки в конном строю с двух сторон охватили пулемётную роту противника. Бой был коротким. Немцы не успели занять свои позиции, их порубили бегущими к своим пулемётам. Сотник Наумов пришпорил коня и первым влетел в фольварк. Зелёные фуражки с красными околышами слетали с разрубленных голов, как вялые лопухи... Запомнил ту рубку на всю жизнь. Потом начали сгонять в кучу тех, кто вовремя бросил винтовки. Кто-то из донцов предложил доделать дело. Но сотник приказал пленных не трогать, а гнать их в свой тыл. В тот раз захватили много станковых пулемётов и патронов к ним.

После Февральской революции награждали по постановлению солдатского или казачьего комитета. Как решит мир, так и будет. «Казачи дуван дуванят...»^{*} За умелую организацию атаки на фольварк, которая увенчалась захватом пленных и исправных пулемётов, за личную храбрость, проявленную в бою, казаки постановили ходатайствовать о награждении сотника Наумова орденом Св. Георгия IV степени. Для офицера это была очень высокая награда. Но ходатайство ушло и — как в воду кануло. В декабре 1917 года 45-й Донской казачий полк отвели в район Великих Лук во второй эшелон. Наумов выехал с квартирными, чтобы подыскать для сотни подходящее место для постоя. Когда на вокзале встречал эшелон с казаками и лошадьми, его сотня высыпала из вагона необычно шумно, и все сразу бросились к нему, схватили, начали качать. Потом прикрепили прямо на шинель офицерского Георгия. Свою первую боевую награду хранил всю жизнь, мечтал дожить до того времени, когда снова свободно можно будет носить «царские кресты». Дожил. Был у него и ещё один орден — Св. Анна IV степени, так называемая «клюква». Её Наумов тоже сохранил, она была впаена в рукоятку генеральского кортика.

В Великих Луках полк расформировали.

Обе революции прошли мимо многих офицеров Русской армии. Они поняли, что живут уже в другой стране только тогда, когда им предложили снять погоны, а их солдат распустили по домам.

Казаки и офицеры сдали личное оружие и поехали к себе на Дон.

Наумову только-только исполнилось двадцать лет. Военная служба ему была по душе. Хотя от войны он, как и большинство воевавших, устал. Казаки звали его с собой, на Дон. Говорили весело и загадочно:

— Поехали, хорунжий, с нами на Дон. Казачку тебе добрую найдём. Погуляем...

Казаки на юге России действительно погуляли. В ноябре 1917 года в Новочеркасске Генерального штаба генералы от инфантерии М. В. Алексеев и Л. Г. Корнилов начали формировать Добровольческую армию для борьбы с большевиками, захватившими обе столицы и центральные губернии. Осенью 1919 года добровольцы предпримут поход на Москву, дойдут до Орла и Новосила. В их армии будет несколько казачьих полков и казачья бригада генерала Покровского. В их рядах нашлось бы место и Георгиевскому кавалеру хорунжему Наумову. Но судьба распорядилась иначе.

В какой-то момент Наумов затосковал по родине и решил было возвращаться в станицу Акмолинскую в земли 1-го Ермака Тимофеевича Сибирского казачьего полка. Но, как рассказывает биограф генерала Наумова Наталья Прусакова, случай определил его судьбу иначе.

В Великих Луках Наумов со своими товарищами проходил мимо гостиницы «Рига». На крыльце стоял казачий офицер при полной форме, в новеньких ремнях, с шашкой и кобурой на боку, но без погон. Познакомились. Разговорились. «Самая верная дорога, казаки, та, которую указывает партия

^{*} Из старинной казачьей песни. Дуван — делёж добычи.

большевиков», — уверенно сказал тот. Через несколько дней все они добровольно записались в Красную гвардию.

Вначале, в какой-то момент истории, была армия без страны. Потом — страна без армии. А теперь у страны появлялась армия.

В Красную армию Наумов вступил в 1918 году, 23 февраля.

Ему поручили формировать сабельный эскадрон, который тут же был зачислен в состав 2-го партизанского Псковского кавалерийского отряда. Молодая армия нуждалась в кадрах. Начальство сразу заметило, что новый комэск «умеет командовать», и назначило Наумова командиром отряда.

Отряд Наумова первое боевое крещение получил в дни подавления эсеровско-меньшевистского мятежа в Великих Луках.

Наступила эпоха классовой борьбы. И если обе революции миновали прапорщика и хорунжего Наумова, то командира отряда и военного коменданта, а затем командира роты, адъютанта полка, командира батальона вихри и ураганы классовых противоречий захватили и протащили по всем кулигам.

В конце 1918 года Наумов принял командование 3-м Псковским стрелковым полком. Полк был выведен и развёрнут на линии демаркации. По ту сторону были немцы. Вскоре началось медленное движение войск Красной армии на запад. Немцы уходили из западных областей Белоруссии и Литвы. Но потом движение их замедлилось. Начались стычки с патрулями патрулей обеих армий. Обстановку осложнили польские легионеры, белогвардейские и литовские отряды, которые начали подходить к демаркационной линии с запада. Поляки захватили Вильно, повели наступление дальше. Начались полномасштабные бои. В одном из них под комполка Наумовым убили лошадь, а сам он был контужен. Госпиталь в Великих Луках.

В августе 1919 года прибыл в 11-ю Петроградскую дивизию в район Пскова. Командовал эскадроном, батальоном. В декабре направлен со своим батальоном на фронт под Полоцк. Батальон вошёл в 53-ю стрелковую дивизию. Судьба сведёт с этой дивизией ровно через двадцать три года под Мелюрославцем.

В апреле 1920 года начался поход на Вислу. Группировкой Красной армии командовал М. Н. Тухачевский. Сводный батальон Наумова наступал в боевых порядках 4-й армии. В августе польская армия под командованием Пилсудского контратаковала наши войска и отрезала 4-ю армию, а затем вытеснила её в Восточную Пруссию.

Батальон Наумова, как и все войска Красной армии, оказавшиеся в Восточной Пруссии, был интернирован и вначале направлен в Иоганнесбург, затем в лагерь Солтау Ганноверской провинции. В декабре 1920 года Наумов бежал из лагеря, добрался до Берлина и явился в Советское представительство. В представительстве работала комиссия по эвакуации бывших военнопленных, захваченных германскими войсками ещё во время боёв в Галиции и в Августовских лесах. Его сразу же включили в очередную группу военнопленных, предназначенных к отправке в Советскую Россию. Отправляли из Польши, из штеттинского порта пароходом по Балтийскому морю. 20 декабря 1920 года Наумов уже был в Москве в штабе Московского военного

округа. Его приняли на учёт. Обнаружилось, что потеряны оба представления к орденам Красного Знамени. Впоследствии несколько раз делал запросы, но документы будто в воду канули.

Спустя два месяца он был уже в Ферганской долине. В должности помощника начальника штаба отдельной бригады ВЧК он принимал участие в ликвидации банд басмачей в горах Табарах. Служил на командных должностях. Планировал операции, носился на коне с казацкой шашкой наголо.

Гражданская война в Средней Азии продолжалась до 1932 года. Басмачи-моджахеда прятались в горах и глухих селениях, совершали налёты на советские учреждения, грабили караваны, убивали совпартслужащих.

В 1923 году зачислен слушателем Высшей военной школы востоковедения РККА* в Ташкенте — иранское отделение. По существу это была закрытая школа разведки. В ней готовили «агентов для нелегальной работы в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Школа выпускала штучный «товар»: на некоторых отделениях учились один-два курсанта. Наумова готовили для работы в Иране. Он изучал английский и иранский языки. По окончании учёбы свободно говорил, читал и писал на этих языках. Но судьба разведчика Наумова в Иране не состоялась. Общая фотография курсантов каким-то образом попала в руки иностранной разведки.

Ещё после окончания первого курса, в 1924 году, Наумов познакомился с девушкой. Она очень нравилась ему. Но друзья познакомили с дочерью местного коммивояжёра Анной. Ей было двадцать четыре года, уже побывала замужем. Красива, покладиста. Хорошо умела вести домашнее хозяйство. Прекрасно готовила. Какая ещё жена нужна казаку? Женился. В 1925 году родилась дочь, назвали Олимпиадой, в честь бабушки-казачки, которую Наумов очень любил. Впоследствии станет художником-оформителем, выйдет замуж за киноактёра Петра Николаевича Савина. В 1934 году родится сын Юрий. Он станет офицером. Выйдя в отставку, поселится с семьёй во Львове.

Наумова, как наиболее успешного выпускника, оставили в школе преподавателем весьма редкой дисциплины: «Афганские особенности иранского языка».

В 1934 году Наумов окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. Получив академическое военное образование, вернулся в Среднеазиатский военный округ и какое-то время занимал крупные штабные посты.

В декабре 1940 года наконец сбылась его мечта — получил назначение на командную должность в войска. В Термезе приступил к исполнению обязанностей командира 68-й горно-стрелковой дивизии.

Известие о нападении Германии на СССР Наумов получил в поезде в Ростове-на-Дону. Ехал с женой и детьми в Кисловодск, на отдых. Семью отправил дальше, в Кисловодск, а сам тут же повернул назад.

По прибытии узнал: в Казахстане формируются четыре стрелковых дивизии, одну из них приказано формировать ему. Он немедленно выехал

* Туркестанские и Среднеазиатские курсы востоковедения РККА.

в Актюбинск. Там из призывных возрастов местного населения формировалась 312-я стрелковая дивизия.

Национальный состав дивизии был следующим: русских — 4460 человек; казахов — 3556 человек; украинцев — 2012 человек; узбеков — 212 человек; татар — 184 человека; белорусов — 23 человека.

Дивизию формировали спешно. Боевая подготовка бойцов проводилась по ускоренной программе. Проведены занятия по темам: оборона и наступление отделения, взвода, роты. Совершён марш-бросок на двадцать пять километров. Бойцов познакомили с их личным оружием — мосинской винтовкой, «отработаны стрельбы первого начального уровня боевым патроном». Командиры освоили стрельбу из револьвера. Были проведены сборы сапёрных рот, связистов, артиллеристов, миномётчиков, санинструкторов и химинструкторов. Прошли полковые штабные учения.

В середине августа полки приняли присягу. И уже на следующий день началась погрузка частей в эшелоны и отправка на фронт. 25 августа дивизия первыми эшелонами начала прибывать в район Малоярославца. Однако разгрузка была приостановлена, и эшелоны тут же направили на Валдай. Там, в районе восточнее Новгорода и Старой Руссы, 312-я заняла оборону рядом с 316-й дивизией генерал-майора И. В. Панфилова, создав единый оборонительный рубеж. Боевых действий казахские дивизии не вели.

В начале октября, когда рухнула оборона под Вязьмой и Рославлем, обе дивизии перебросили в Подмосковье. Дивизия Панфилова заняла оборону в районе Волоколамска. Дивизию Наумова вернули под Малоярославец, на Варшавское шоссе.

3

Полковник Наумов командовал Малоярославецким боевым участком и одновременно руководил обороной Южного сектора. У него был надёжный помощник — командир 375-го дивизиона истребительно-противотанковой артиллерии капитан Г. И. Кокарев. Он исполнял обязанности начальника артиллерии 312-й стрелковой дивизии. Кадровый офицер-артиллерист, волевой командир, храбрый воин, получив приказ командира дивизии возглавить действия артиллерии, он перед боем провёл тщательную рекогносцировку местности, провёл пристрелку реперов, определил коридоры наиболее вероятных танковых атак противника. Капитан Кокарев объединил всю артиллерию вместе с приданными полками, батареями и дивизионами «катюш» под единым командованием. Исключением стали только батареи курсантов Подольского артиллерийского училища, которыми командовал начальник артиллерийского училища полковник И. С. Стрельбицкий.

16 октября немцы полезли на центральный участок малоярославецкой обороны — Ильинский сектор. В бой вступили курсанты. Исследователь этого сражения Игорь Красильников пишет: «Артиллеристы сборной группы Ильинского сектора по команде пропустили на флангах в глубину обороны с севера танковые подразделения вражеской 20-й ТД, а с юга — 19-й ТД

57-го МК. Пропустив танки противника до указанных мест — рубежей деревни Шумятино, временный начальник артиллерии 312-й СД капитан Кокарев дал команду открыть огонь на уничтожение танков противника. Бой длился около 40 минут. Каждое истребительно-противотанковое орудие вело огонь с расстояния 100–150 м. Промahnуться было невозможно, так как наводчики и командиры орудий, взводов и батарей на 80–85 процентов были кадровыми военными. В этом бою артиллеристы подбили более 60 танков противника, то есть 46 процентов состава 19-й ТД».

Когда немцы поняли, что в лоб оборону курсантов и 312-й дивизии не взять, они начали обрабатывать передний край авиацией. Затем послали группу танков в обход, чтобы ударить защитникам Ильинского сектора в тыл и сбить их с позиций. Но наскочили на тыловой рубеж курсантской обороны. Что произошло с той танковой колонной из 19-й танковой дивизии, известно по серии фотографий, сделанных после овладения немцами Ильинского. На них запечатлена голова танковой колонны; колонна даже не успела развернуться, лишь некоторые машины свернули на обочину, когда их накрыл точный огонь курсантских орудий.

В центре и на правом фланге курсантской обороны стоял 4-й батальон Пехотно-пулемётного училища — 545 человек. В основном все из запаса, отслужившие в РККА срочную службу. Возраст — двадцать пять — тридцать лет. Больше половины с высшим и неоконченным высшим образованием. Восемьдесят процентов коммунисты, кандидаты в члены ВКП(б) и комсомольцы. Училище готовило не только командиров стрелковых взводов, но и политработников младшего звена для фронтовых подразделений — рот, батарей, батальонов.

На вооружении батальона было девять миномётов, три станковых пулемёта «максим», восемь ручных пулемётов, винтовки, в том числе самозарядные, запас противотанковых и противопехотных ручных гранат. Усиление — полубатарея 76-мм полковых пушек. Так что без артиллерийского кулака, сформированного капитаном Кокаревым, оборона курсантов вряд ли бы выдержала в самые первые дни.

Ещё 10 октября 1941 года был отдан приказ 4-му Малоярославецкому боевому участку (начальник участка — командир 312-й сд Наумов А. Ф.):

«Боевой состав: 312 сд, 9 тбр, Подольское пехотное училище, Подольское артучилище, полк 33 зап. бригады, 301 и 303 пульбаты, танковая рота, 538 сапбат, сапрота МВИУ.

Задача — занять и оборонять Малоярославецкий УР на фронте Павлицево искл., Полотняный Завод. Особо прочно обеспечить направление Медынь, Малоярославец, имея не менее двух третей сил и средств на участке Грядки, Машкино. Одним усиленным батальоном прикрывать дороги Калуга, Малоярославец в р-не Детчино.

Обеспечение стыка с Калужским УР возлагаю на Малоярославецкий боевой участок».

В том же приказе:

«1. 19 и 20 танковые бригады использовать только с моего разрешения.

2. Дивизионы «РС» держать в резерве начальников боевых участков и использовать их сосредоточенно против танков противника во взаимодействии с полевой артиллерией и танками.

На направлениях вероятного использования дивизионов «РС» подготовить дороги и съезды с дорог.

3. Начальникам боевых участков иметь ПТ* отряды из всех родов войск для борьбы с авиадесантами и нанесения контрударов.

4. Перед передним краем обороны на основных направлениях создать заграждения глубиной до 15 километров.

5. Комендантам укреплённых районов форсировать оборонительное строительство со сроком окончания к 20.10.41 г.

6. Боевые донесения представлять через каждые 4 часа. Оперативные и разведсводки к 8.00 и 20.00 ежедневно».

Пятый пункт приказа явно стал неактуальным после первой же атаки Ильинского сектора. Варшавское шоссе проходило через село Ильинское, и именно сюда был направлен первый и основной удар авангардной группы 4-й полевой армии.

Уже 11 октября полковник Наумов доложил, что все мероприятия по минированию танкоопасных участков, устройству проволочных заграждений, созданию запасных позиций завершены, что войска в окопах и готовы встретить противника.

Днём и ночью в распоряжение штаба Малоярославецкого участка поступали новые и новые подразделения и целые части. Маршевые роты, истребительные отряды, автоколонны, сформированные из гражданского транспорта и укомплектованные гражданскими водителями. 10 октября подошла целая дивизия — 53-я полковника Н. П. Краснорецкого**. Полковник Краснорецкий вывел дивизию из окружения на Десне. В районе Белоусова дивизия привела себя в порядок, пополнилась людьми и вооружением, в основном за счёт групп и мелких подразделений, в эти дни вышедших из районов Кирова, Спас-Деменска, Мосальска, Юхнова, Медыни. В тот же день 10 октября 53-я дивизия с небольшим артиллерийским усилением по приказу начальника Ильинского сектора генерала Смирнова начала выдвижение по Варшавскому шоссе в район Медыни с задачей: «Захватить Медынь — ближайшую базу противника — разгромить и уничтожить все накопленные в ней запасы, перекрыть дорогу на Боровск (на сутки-двое), тем самым обеспечить выход переформированных соединений для защиты Боровска и Москвы».

* ПТ отряды — подвижные транспортные отряды.

** Николай Павлович Краснорецкий (1905–1941) — полковник. Родился в селе Кошкино Самарской губернии в семье священника. В 1925 году окончил Ульяновскую Краснознамённую пехотную школу. Участник боёв у оз. Хасан и на реке Халхин-Гол — командовал 109-й стрелковой дивизией 12-го стрелкового корпуса. В мае 1941 года окончил Курсы усовершенствования начальствующего состава при Военной академии им. М. В. Фрунзе. На фронте с первых дней войны. Командовал 53-й стрелковой дивизией. Погиб в бою 22 октября 1941 года у деревни Корсаково под Тарутином. Награждён двумя орденами Красной Звезды.

Марш 53-й стрелковой дивизии был встречен массированными налётами немецкой бомбардировочной и штурмовой авиации. Полки полковника Краснорецкого до Медыни не дошли.

Противник продолжил атаки центрального участка малоярославецкой обороны.

16 октября, на исходе дня, после упорных боёв, которые происходили не только в центре, но и на флангах, командир Малоярославецкого боевого участка полковник Наумов докладывал в штаб 43-й армии:

«1. Противник, имея большое превосходство в силах и средствах, не смог прорвать нашу оборону и к 17.00 был остановлен. Он понёс большие потери в живой силе, боевой технике, особенно в танках. По предварительным данным, подбито и сожжено более 60-ти танков.

2. Значительные потери имеются и в наших частях, отдельных подразделениях, особенно среди защищавших передний край обороны.

3. Боеприпасов для всех видов стрелкового оружия и артиллерии хватит только на завтра.

4. Принимаем меры для отпора врага на 17.10.1941 года.

5. Прошу Вас принять срочные меры по защите Малоярославца. У меня не будет для этого ни сил, ни средств».

Командующий 4-й полевой армией фон Клюге срочно выскреб из Медыни и Юхнова последние резервы, которые, по существу, таковыми не являлись — охрану штабов, сапёрные части, с других участков подтянул танки. Увеличил авиационную группировку. Марш от Рославля до Малоярославца обошёлся самой мощной армии ГА «Центр» очень дорого.

В результате проведённых перегруппировок противник достиг четырёхкратного превосходства на флангах малоярославецкой обороны и пятикратного в центре. Кроме того, на левом фланге немцы сосредоточили сильную группировку — танки и мотопехоту — для прорыва на узком участке с целью выхода на Варшавское шоссе и разблокирования его для дальнейшего движения на Москву основных сил армии. Этот прорыв не состоялся. Разведка доложила о скоплении немецких танков и пехоты. Угрожаемый участок по приказу полковника Наумова с разрешения командарма-43 был нанесён упреждающий массированный удар гвардейскими миномётами 1-го дивизиона 12-го гвардейского миномётного полка.

17 октября немцы снова бросились в атаку. И снова прорвать оборону 312-й стрелковой дивизии и батальонов подольских курсантов не смогли. Лишь на некоторых участках им удалось неглубокие вклинения, которые тут же ликвидировались точечными контратаками. Эти схватки имели особенно ожесточённый характер. Красноармейцы и курсанты сходились с немецкими пехотинцами в ближнем бою, иногда бой переходил в рукопашные схватки.

Ночью сапёры 312-й стрелковой дивизии и курсанты выползали на нейтральную полосу, взрывали, жгли немецкие танки, подбитые днём огнём нашей артиллерии.

Из вечернего донесения полковника Наумова в штаб 43-й армии:

«1. Противник, не сумев прорвать нашу оборону, к 16.00 17.10.1941 года остановился, прекратил наступление.

2. По предварительным данным, вражеские войска имеют серьёзные потери. Мы имеем тоже большие потери в личном составе и боевой технике. О чём доложу позже более подробно.

3. В связи с тем что боеприпасы, питание для личного состава, горючее для тягачей и машин, фураж для лошадей на пределе возможного, прошу Вас срочно доложить командующему: дать разрешение на отвод войск, используя тёмное время».

Эти дни были самыми трудными для полковника Наумова, его дивизии и всего участка обороны. Ещё накануне в Москве началась паника. Она вспыхнула мгновенно и охватила город, как пламя от спички, брошенной на ворох пороха. Состоятельные граждане из числа особо осведомлённых всеми правдами и неправдами заполучали казённые машины, принадлежащие предприятиям и учреждениям, грузили на них свои семейства и ценности, запасы продовольствия и мчались вон из Москвы, на восток, подальше от приближающегося фронта.

Коренная москвичка Искра Александровна Радаева, в девичестве Хорошева, вспоминала: «Наша семья тогда жила в доме на 5-й Тверской Ямской. Я — школьница. Дни московской паники помню хорошо. Всё как-то затихло. В воздухе — тревога. Я в тот день, шестнадцатого, вышла во двор и пошла в сторону гастронома, чтобы отоварить продуктовые карточки. Дня за два-три до этого я ходила в магазин, и мне продавщицы сказала: “Девочка, принеси из дома наволочку и приходи...” Я вначале не поняла. Потом дошло. Принесла наволочку, и мне она насыпала муки, килограммов пять. Без всяких карточек. А в этот раз я вышла и увидела во дворе нашего дома костёр. Возле костра никого. В костре горят какие-то предметы, похожие на кирпичи. Все одинаковые. Я подошла. Смотрю, а это — книги. Тома Ленина, собрание сочинений. Кто-то из нашего дома ждал, что вот-вот власть в городе поменяется...»

Вскоре паника в Москве прекратилась, она была погашена усилиями партийных работников, органов НКВД и милиции.

4

Силы дивизии таяли. Полковник Наумов был реалистом. Как всякий военачальник, ответственный за порученный участок фронта, он чувствовал, как быстро меняется ситуация в секторе обороны полков.

Утром 18 октября немецкие танки ворвались в Малоярославец. Решение командующего 43-й армией генерала К. Д. Голубева, вступившего в должность днём раньше, перебросить под Малоярославец 53-ю стрелковую дивизию полковника Н. П. Краснорецкого запоздало. Малоярославец пал. Пал и Боровск. Но свою задачу 43-я армия выполнила: её дивизии, танковые бригады и отдельные части задержали соединения 57-го моторизованного и 12-го армейского корпусов на семь с половиной суток. Этого оказалось достаточно, чтобы штаб Западного фронта предпринял экстренные меры для предотвращения прорыва в центре.

Через годы маршал Советского Союза Г. К. Жуков в своих мемуарах напишет: «На подступах к Малоярославцу героически сражались части 312-й стрелковой дивизии полковника А. Ф. Наумова, курсанты Подольских пехотного и артиллерийского училищ и другие части...»

Когда стало очевидным, что Малоярославецкий боевой участок не удержать, полковник Наумов принял решение об отходе на тыловые позиции, на Нарский рубеж. Приказ был передан через офицеров связи всем частям и подразделениям, стоявшим в обороне в секторе ответственности 312-й стрелковой дивизии и приданных ей частей. Согласно этому приказу отводился и Ильинский сектор, который оборонялся курсантами Подольских училищ и стрелками дивизии.

Движение началось 18 октября, четырьмя колоннами. Некоторые участки войска покидали без осложнений. Оставляли заслоны и скрытно, под покровом ночи, лесами, отходили в заранее намеченном направлении. Но с левого крыла Ильинского сектора отходили с боем, фактически прорываясь через боевые порядки атакующего противника. «Офицер, посланный с приказом к начальнику Подольского училища генерал-майору В. А. Смирнову, не вернулся, — пишет в своём исследовании историк и краевед И. А. Красильников. — Очевидно, он погиб, и приказ до адресата не дошёл».

Для курсантов, оборонявших Ильинское и окрестности, это было трагедией. Их оборона, оставшись оголённой с флангов, тут же подверглась интенсивным атакам немцев. Гарнизоны железобетонных артиллерийских и пулемётных ДОТов добивали из танковых пушек, разрушали фугасами. Лишь ночью 20 октября, оставляя заслоны, Ильинская группа двинулась к Наре.

В те дни в юго-западном Подмоскowie начались осенние дожди. Распутица мешала, конечно, и Красной армии, но всё же движение немецких войск заметно замедлилось.

С утра 21 октября противник при мощной авиационной поддержке атаковал Тарутинский участок обороны — позиции 312-й, 17-й и 53-й стрелковых дивизий. Некоторые населённые пункты, превращённые в опорные пункты, по несколько раз переходили из рук в руки. В эти дни погиб командир 53-й стрелковой дивизии полковник Н. П. Краснорецкий, тяжело ранен заместитель командующего 43-й армией и командир оперативной группы генерал-лейтенант С. Д. Акимов.

В полках дивизии Наумова насчитывалось по 200–350 человек. 1314-й стрелковый полк полковника Бекашева, оборонявшийся в районе деревни Баево, оказался в оперативном окружении. Командир полка принял решение идти на прорыв. Во время прорыва вся матчасть полка была потеряна. Из окружения вышли командир полка, комиссар и тридцать бойцов и младших командиров.

Дивизия вместе с батальоном 2-го Люберецкого полка, батальоном 10-й воздушно-десантной бригады заняла Стремилковский рубеж. И его она уже не отдаст врагу. Всё, дальше отступать было некуда. На этом направлении немцы к Москве не продвинулись уже ни на шаг.

Раненый генерал С. Д. Акимов продиктовал приказ следующего содержания:

«Командиру 312 СД

Я ранен. Вас оставляю за себя (командира 312 СД полковника Наумова А. Ф.) 53-й стрелковой дивизии оборонять Чернишня. 17 СД оборонять полосу восточнее района Тунаево. Части 2-го Люберецкого полка расположены в Чубарово, Хоросино, Дмитровка. Стремилowo — обороняет батальон 10 ВДБр, с ним 1 танк КВ и 2 танка Т-34. В Рождествено находятся 3 танка Т-34 (24-й танковой бригады).

Вступайте в командование группой и выходите со штабом к опушке леса, что северо-восточнее д. Чернишня. Здесь же штаб 53 СД.

Генерал-лейтенант Акимов.

15.00 часов.

23.10.41.»

На Нарском началась перегруппировка. По приказу штаба армии из трёх дивизий — 312-й, 17-й и 53-й — сформировать одну дееспособную и надёжную, способную продолжать боевые действия и выполнять приказы командования.

Во время формирования дивизии произошёл такой эпизод, он во многом характеризует и атмосферу тех дней, и характер полковника Наумова.

Комиссаром новой дивизии Наумову прочили ранее занимавшего эту должность Я. Э. Сировского. При встрече с командующим армией генералом К. Д. Голубевым Наумов сказал, что не желает видеть своим комиссаром человека малодушного. Командарм потребовал пояснений.

А дело было в том, что однажды во время оборонительных боёв на Нарском рубеже группа немецких автоматчиков просочилась к дивизионному командному пункту. Офицеры и штабные работники тут же схватились за оружие. Наумов и военком 53-й стрелковой дивизии К. А. Зыков организовали оборону и сами стреляли из винтовок, отбивая обвалившуюся на них атаку противника. Сировский же от боя уклонился. Сбежал.

Командарм выслушал полковника Наумова и утвердил кандидатуру К. А. Зыкова.

Весь ноябрь и до двадцатых чисел декабря 1941 года дивизия прочно удерживала Нарский рубеж.

«Командиры частей стали мне докладывать о проявляемой нервозности фашистов, — вспоминал А. Ф. Наумов, — раздавалась беспорядочная стрельба, в основном из пехотного оружия, значительно снизился артобстрел и только изредка вёлся миномётный огонь. В ночное время немцы вели непрерывное освещение местности ракетами. Как-то, докладывая обстановку А. Н. Боголюбову*, я ему сказал: «А не попробовать ли мне где-нибудь «толкнуться»?

* Александр Николаевич Боголюбов (1900–1956) — генерал-полковник. Герой Советского Союза. Родился в Чебоксарах. В РККА с 1918 года. Участник Гражданской войны. После курсов в 1931 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1938 году окончил Военную академию Генштаба. Прошёл путь от командира взвода до командира батальона. С 1931 года на штабной работе. В годы Великой Отечественной войны руководил штабами

Ответ: «А чем?» Отвечаю: «Соберу по роте в каждом полку. И на отдельных направлениях проведу разведку боем». Ответ: «Докладывать пока не буду, настроение у него злое, но я с тобой согласен, при отсутствии риска». Меня это подхлестнуло. Решили с Зыковым и полковником Бибиковым П. Н., начальником штаба 53-й стрелковой дивизии, собрать штаб, политотдел, командование частей и сегодня же решить этот вопрос.

Примерно в полдень начали обсуждать этот вопрос и обмениваться мнениями, и пришли к единому решению — ПОПРОБОВАТЬ! В каждом полку подготовить по усиленной роте, обеспечив их действия соответствующим артиллерийско-миномётным огнём, и на рассвете 25 декабря ударить. А 24 декабря провести широкую разведку отдельными группами. Решил об этом пока в штаб армии не докладывать. 23 декабря получил поздравление с днём рождения лично от К. Д. Голубева и предупреждение — быть начеку и бдительным! Он, видимо, не рассчитывал на большее с моей стороны и не требовал этого, а я просто боялся сказать, что задумал, так как он мог забрать для пополнения подготавливаемые роты».

По воспоминаниям А. Ф. Наумова, утром 24 декабря план удара был готов. Наступать решили на узких участках в общем направлении на Тарутино, а приданными частями — по Варшавскому шоссе. Начало наступления — рано утром 25 декабря. Однако противник опередил, начав общий отход на сутки раньше.

Немецкие штабы предписывали своим войскам «оставлять боеспособные арьергарды», брать с собой только самое необходимое, остальное уничтожить. Землянки и блиндажи — взрывать. Минировать коммуникации. Населённые пункты — жечь.

Ночью с 24 на 25 декабря наблюдатели дивизии увидели, как почти одновременно вспыхнули деревни Горки, Папино, Кузовлево, Чернишня, Орехово. Пожары чётко обозначили линию опорных пунктов немецкой обороны, которую они спешно покидали. Спустя несколько минут в штаб дивизии начали поступать донесения из полков: разведгруппы, выдвинувшиеся вперёд до трёх-четырёх километров, обнаружили пустые окопы, которые охраняются лишь немногочисленными заслонами.

Наумов тут же отдал приказ основным силам: «Немедленно перейти к преследованию противника».

«25 декабря, едва забрезжил рассвет, — вспоминал Александр Фёдорович, — батальоны полков, и чуть позднее сводный отряд капитана Боргеста, по Варшавскому шоссе начали довольно быстрое продвижение, встречая сопротивление лишь отдельных групп автоматчиков. Захваченные пленные сообщили, что части 34-й пехотной дивизии сегодня с рассветом начали отходить на новый рубеж по рекам Истье и Протве. Значит, мы вовремя начали наступать и преследовать фашистов! Враг, отходя, огрызался только

армий и фронтов. С июня 1945 года — начальник штаба Северной группы войск. После войны преподавал в Военной академии им. М. В. Фрунзе. Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, орденом Богдана Хмельницкого I степени.

пехотным оружием. Но затем подразделения начали подрываться на минных полях. В оставленных деревнях, в отдельных уцелевших домах немало было «сюрпризов». Были и жертвы: боец открывает дверь — взрыв, поднимает зажигалку — взрыв...»

5

Когда вслед за авангардными группами полковые колонны вытянулись по шоссе и параллельным дорогам, держа на запад, Наумов доложил в штаб армии: оборона дивизии свёрнута, полки наступают по заданным направлениям, не встречая организованного сопротивления противника, однако темпы продвижения остаются низкими по причине минных полей, малого количества дорог и отсутствия саней и лыж.

В тот же день к вечеру Наумов снова связался со штабом армии. Вот как он вспоминал тот разговор с командиром-43: «Вечером я доложил К. Д. Голубеву, что части овладели селом Тарутино и деревней Воробьи на Варшавском шоссе и, таким образом, вышли на рубеж реки Исты. Командарм выслушал мой доклад, не перебивая, и, видимо, остался доволен. После некоторых моих ответов на его вопросы он сказал уставшим голосом, но твёрдым тоном: “Спасибо, голубчик! Вы проявили необходимую бдительность и правильную инициативу и очень помогли. Теперь ваша задача — повернуть дивизию от Тарутино на север и овладеть деревней Белоусово и дальше наступать севернее Варшавского шоссе. 17-я стрелковая дивизия* будет наступать в направлении Угодского Завода, а 5-й воздушно-десантный корпус наступает на Балабаново и далее на Городно. Где вы находитесь?” Я ответил — в Кузовлево. “Штаб дивизии свёртывается к переходу в Тарутино”. В общем, разговор с командармом был спокойным и приятным. Чувствовалась, несмотря на большую усталость его, приподнятость и большое удовлетворение положением на фронте. Вся 43-я армия наступает на запад!»

Возвращаясь немного назад, стоит особо сказать о командире 1-го батальона 475-го стрелкового полка старшем лейтенанте Александре Бараеве. Храбрый и инициативный офицер, азартный в бою, он со своими бойцами действовал в эти дни начавшегося наступления особенно результативно. Батальон Бараева продвигался в первом эшелоне. Боец 475-го стрелкового полка вспоминал о нём и его батальоне: «Он поражал нас всех своей смелостью. Мы ещё в движении, а он уже ведёт огонь, наступая на деревни». Батальонный комиссар В. М. Пальчиков: «Бараев военных лет подвижен, сообразителен и энергичен. Не теряет мысли, подмечает мелочи в походе. Ему приказали взять Малое Литашово, а он обошёл и взял ещё Грачёвку, разгромив штаб немцев». А вот что сообщала армейская газета о взятии исторического села Тарутина: «Батальон старшего лейтенанта Бараева на плечах противника ворвался в село. Продвижение батальона было настолько

* 17-я стрелковая дивизия к тому времени было воссоздана вновь. На укомплектование её была направлена часть командного состава, оставшегося после формирования 53-й стрелковой дивизии.

стремительным, что противник даже не успел уничтожить наших пленных красноармейцев».

Батальон Бараева ворвался в Тарутино одновременно с трёх направлений. Завязались уличные бои. В некоторых местах дело доходило до рукопашной. А перед штурмом Тарутина комбат приказал всем офицерам и политработникам рассказать личному составу о тарутинском манёвре 1812 года, когда русские войска дали Наполеону сражение, которое переломило ход всей войны. С мыслью не посрамить русского оружия в новой битве народов воины 53-й дивизии освобождали и Тарутино, и другие деревни, сёла и города Подмосковья.

Газета 43-й армии «Защитник Отечества» в те дни опубликовала корреспонденцию под названием «Варвары». В ней рассказывалось о том, что из себя представляло Тарутино в первые дни после освобождения: «Повсюду виднелись следы пребывания врага. По обочинам дороги валялись подбитые орудия, снаряды, коробки из-под мин. Как будто случайно поставлены велосипеды, чемоданы. Все уже знают — смерть ожидает каждого, кто прикоснётся к ним: вещи соединены с минами. Там, где стояли деревенские избы, торчат лишь трубы печей. Колхозница Пелагея Михайловна из деревни Кузовлево рассказала, как немцы выгоняли её с тремя детьми из хаты на мороз, как фашисты отобрали у неё всё, убили троих из её семьи... Жители рассказали, что в селе Дедня немцы устроили дом терпимости, оружием собрав в него местных девушек... В селе Тарутино в сарае нашли труп красноармейца Нестеренко, расстрелянного гитлеровцами...»

Штаб Западного фронта буквально толкал в спину свои армии. Командармы дублировали приказы комфронта Жукова, ставя конкретные задачи своим соединениям и частям.

Вечером 27 декабря в войска 43-й армии ушла шифровка, в которой было следующее:

«Комфронтом генерал армии Жуков приказал: категорически запретить частям армии путаться в заграждениях; стремительно опережать противника, обходя стороной все заграждения по полям и лесам...»

Этот приказ комфронтом подлежит безоговорочному выполнению. Приказываю прекратить топтание на месте, ссылаться на минные заграждения и др. препятствия. Имеющуюся в частях и подразделениях минобязнь твёрдой рукой пресечь и заставить войска быстро продвигаться вперёд, поддерживая их своевременно подтянутой артиллерией.

Обращаю внимание на то, что задача, поставленная моим приказом № 45/оп, командирами соединений не выполнена.

В силу этого вынужден перенести выполнение задачи на 28.12. Этот срок окончательный.

Армия имеет все данные к тому, чтобы в ближайшие 2–3 дня овладеть Малоярославцем».

Историк немецкой 98-й пехотной дивизии Мартин Грайс писал: «Потери рот, опрокинутых на Истье, несоизмеримо тяжелы. 289-й пехотный полк потерял все противотанковые пушки и все пулемёты 1-го батальона.

Численность рот не превышает 25 бойцов, точнее, истощённых, промёрзших «теней». Беспременно заботливый и верный товарищ, полковой врач 282-го пехотного полка, капитан медицинской службы доктор Шифельбайн при оказании медицинской помощи приносит себя в жертву своим подопечным: при внезапном нападении вражеских лыжников он тяжело ранен». И далее: «По широкой дороге всё ещё беспрестанно тянутся на Малоярославец, в полной неразберихе отступления, повозки, орудия, боевые машины, грузовики и танки трёх дивизий: 19-й танковой, 34-й и 98-й пехотных. Теперь уже нет и малейшей возможности отойти, а честнее, «убежать» на юго-запад обходным путём. Единственная дорога проходит через узкое горлышко въезда в Малоярославец.

Это хорошо известно и большевику, который, под впечатлением своего успеха на Истье, бросается по следу.

Слабое прикрытие 282-го пехотного полка и истребительно-противотанкового дивизиона у Белоусова заставляет ожидать новых атак. К полудню появляется враг. День снова солнечный, и скользить по сухому снегу легко. Танки выстраиваются на дороге и оттуда осуществляют огневую поддержку. На белом снегу оборонительные позиции быстро обнаружены. Скрывающееся в лесу северное крыло истребителей танков охвачено, и теперь с фронта и флангов ведётся атака на позиции 282-го пехотного полка под Белоусовом. Вскоре схватка переходит в ближние бои.

Командиру полка, находящемуся на высоте в 500 м от деревни, открывается тягостная картина отчаянного сопротивления его бойцов. Неподаляку от него подъезжает боевая разведывательная группа зенитной артиллерии и тут же открывает огонь по хорошо видимым танкам противника. Один горит, второй обращается в бегство. В ту же секунду со стороны тыла над дорогой низко проносятся восемь «крыс»^{*} и как одержимые расстреливают орудие. Боеприпасы взлетают в воздух. Тяжёлая пушка содрогается под дождём разлетающихся на части снарядов. Один артиллерист убит и двое других ранены. Как только налёт закончился, остаток расчёта снова у орудия и продолжает вести огонь.

В Белоусове между тем разыгрываются ожесточённые бои в совершенно неравных условиях, которые требуют принятия срочных решений. Майор Аберле, сражающийся вместе со своими бойцами, получает сквозное ранение в бедро. Вокруг повсеместно кипит рукопашный бой. Лёгкие сани, на которые погрузили смертельно раненого, через несколько метров ломаются. Нессти раненого на руках по глубоким сугробам не получается. Адьютант, унтер-офицер медицинской службы и связист напрасно хлопочут над своим командиром. Обстрел вклинившегося в наземный бой советского самолёта кладёт конец страданиям истекающего кровью Аберле: он мгновенно погибает от выстрела в шею.

^{*} Так немцы называли наши истребители И-16. «Ишаки» были очень манёвренными, вели огонь очень точно. «Крысами» немцы прозвали их за способность «заглядывать» едва ли не в землянки.

«В охваченной пожарами деревне, часть которой уже продолжительное время удерживает 3-й батальон 282-го пехотного полка, несмотря на действенную артиллерийскую поддержку в атаке с трёх сторон, постепенно прекращается сопротивление почти обескровленного 2-го батальона полка», — с таким донесением погибает по пути на КП 282-го пехотного полка лейтенант Мартини, офицер-ординарец батальона. Потери жесточайшие. Батальоны оторваны друг от друга, силы к сопротивлению иссякают.

Ещё долго из расположенной в глубокой низине деревни доносятся стоны и крики раненых. Свирепая, лютая жестокость большевиков не знает сострадания — это известно всем, и потому каждый старается унести ноги, покуда они ещё волочатся, покуда хватает дыхания».

Перевод, конечно, желает быть лучше, но смысл, который закладывал бывший командир 98-й пехотной дивизии в описание героических действий своих солдат и офицеров, понятен — батальоны дивизии полковника Наумова трепали отступающих на всех участках, при любой возможности и всеми имеющимися средствами.

В последнее время наши историки, размышляя о битве за Москву, почти в один голос твердили, что, мол, контрнаступления наших войск как такового и не было вовсе, что немцы планово, соблюдая порядок марша, отошли на заранее подготовленные тыловые рубежи и остановили на них двигавшиеся следом по незанятому пространству дивизии Западного фронта... Ан нет, как мы только что убедились, немец-то, Мартин Грайс, генерал и бывший командир Франконско-Судетской 98-й пехотной дивизии, чудом уцелевший в той мясорубке, свидетельствует об ином. Бежали! Буквально из-под красноармейских штыков уносили ноги! Пытались закрепиться на промежуточных рубежах, чтобы прикрыть свои колонны, но войска 53-й стрелковой дивизии полковника Наумова шли по пятам, сбивали их с промежуточных позиций, сходились в ближнем бою. Давили, напирали, гнали.

6

Тем временем левее полосы наступления 53-й стрелковой дивизии наступающая в таком же темпе 17-я генерала Селезнёва с боем заняла село и районный центр Угодский Завод. Это была родина командующего войсками фронта генерала армии Жукова.

Командарм-43 приказал полковнику Наумову перехватить Варшавское шоссе в районе Белоусова и прочно его удерживать, всячески расширяя плацдарм. Из журнала боевых действий 475-го стрелкового полка за 28.12.41: *«...захвачены и освобождены от противника деревни Белоусово, Колесниково, Доброе.*

В Добром захвачены 2 орудия противника, совершенно исправные, и склад боеприпасов. Оставлено много снарядов. Через час после захвата орудий они были приведены в боевую готовность и открыли огонь по противнику его же снарядами из его же пушек».

В тот же день прибывший на КП 53-й стрелковой дивизии генерал Голубев телеграфировал в штаб фронта:

«Боевое донесение № 67. По БОДО тов. Жукову.

1. Докладываю обстановку на 17.00 28.12.

Лично был в районе БЕЛОУСОВО, которое в 15 часов после упорного боя было взято нашими частями 26-й танковой бригады, отрядом Московского военного округа и учебным армейским батальоном. После захвата БЕЛОУСОВО организовал удар на МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, приказал действовать ночью.

Части 5 ВДК совместно с приданным полком в 14.00 овладели после 1.5-часового боя ст. БАЛАБАНОВО, КОЧЕТОВКА.*

53 сд вела бой за КОЛЕСНИКОВО.

17 сд, овладев МИХАЙЛОВКОЙ, после 2-часового боя передовыми частями овладела УГОДСКИМ ЗАВОДОМ.

2. Противник, по мере продвижения наших частей, усиливает своё сопротивление. По показанию пленных, захваченных 28.12 в числе 11 человек, и по номерам частей видно, что перед нами действует уже не арьергард, а главные силы 98-й и 34-й пехотных дивизий. Эти дивизии получили пополнение 22.12 по 1000 человек из Орши.

Местами дело доходит до штыковых атак. Пленные показывают, что им приказано умирать, но не отходить.

3. В БАЛАБАНОВО, по донесению Гурьева, разгромили штаб неизвестного соединения или части, захвачены документы, по получении и изучении которых донесу об этом дополнительно.

Ставлю задачей — овладеть г. МАЛОЯРОСЛАВЦЕМ и выйти на реку ЛУЖА 28.12.41.

Голубев. Шабалов.»

Одновременно 53-й стрелковой дивизии приказано было наступать севернее Варшавского шоссе через Обнинское, Потресово, Анисимово и выйти севернее Малоярославца к селу Панскому, овладеть им.

Генерал А. Ф. Наумов вспоминал: «...задача передо мной, прямо скажем, была поставлена очень трудная. Её особенности — полное бездорожье, глубокий снежный покров. А мороз был –25 и ниже! Но к этому времени полки, наученные горьким опытом первых дней боёв, были более или менее обеспечены лыжами, санками и санями. Так и пришлось решить эту задачу: полки шли целиной, артиллерия и приданный мне Московский пехотный батальон вместе с 26-й танковой бригадой наступали вдоль Варшавского шоссе».

Первоначально на Малоярославец нацеливалась левофланговая 17-я стрелковая дивизия генерала Селезнёва. Однако чем глубже продвигался фронт наступления 43-й армии, тем яростнее становилось сопротивление противника. Особенно сильные бои шли на Варшавском шоссе. Все населённые пункты на шоссе и в окрестностях немцы превратили в мощные опорные пункты, насыщенные тяжёлым и автоматическим стрелковым вооружением. В лоб такие деревни-крепости было не взять. Наумов это прекрасно понимал.

* Станцию и посёлок Балабаново штурмовали также левофланговые подразделения одной из дивизий 33-й армии генерала М. Г. Ефремова.

Читая подписанные начальником штаба и самим комдивом приказы на наступление, а также донесения из полков и ударных групп, приходишь к выводу, что почти всегда такие «фестунги» 53-я стрелковая дивизия брала обходным манёвром. Даже в Малоярославец авангарды полковника Наумова ворвались с тех направлений, откуда противник не ожидал атаки.

Совинформбюро в утреннем выпуске 30 декабря 1941 года сообщало о «подразделении тов. Наумова, за один день боёв с противником захватившем 2 немецких танка, 5 пушек, 50 пулемётов, штабную машину, 10 километров кабеля, много боеприпасов».

Наумов постоянно был в войсках, на батальонных и ротных наблюдательных пунктах и прекрасно знал обстановку, чувствовал малейшие её изменения. Постоянно предупреждал своих офицеров и бойцов, чтобы основательней окапывались на промежуточных рубежах и ждали контратаки.

Вскоре они последовали. Немцы собрались с силами, подтянули резервы и начали контратаковать. Из соседнего 5-го воздушно-десантного корпуса сообщали о том же: немцы контратакуют почти по всей линии соприкосновения, продвижение вперёд замедляется.

7

О малоярославецкой эпопее стоит рассказать особо.

Итак, обстоятельства сложились так, что полки Наумова вынуждены были повернуть к Малоярославцу.

Взятие Малоярославца было для полковника Наумова делом чести русского офицера.

Знамёна русских войск вспыхивали над сомкнутыми колоннами здесь не раз и в прежние времена. Самой яркой была битва за Малоярославец

Судьба так и вела нашего героя по следам побед и боевой доблести 1812 года.

Малоярославец — городок небольшой. Но слава у него великая. Город-воин. В 1812 году в ходе Малоярославецкого сражения русской армии с армией Наполеона несколько раз переходил из рук в руки. И вот спустя много лет здесь снова надо было пролиться русской крови, чтобы очистить родную землю от иноземцев, пришедших с огнём и мечом. Стоит напомнить, что Великая армия Наполеона периода русского похода только наполовину была французской. Другую половину составляли немцы, поляки, итальянцы, австрийцы и прочие европейцы. Особенно много было немцев — из Пруссии, Баварии, Саксонии, Вюртемберга. «Все промелькнули перед нами, все побывали тут...» Под Малоярославцем в 1941 году стояли 19-я танковая Нижне-Саксонская, 34-я пехотная Верхне-Рейнская и 98-я пехотная Франконско-Судетская дивизии. Прапрадедушки солдат и офицеров этих дивизий уже бывали здесь и, в отличие от их потомков даже вошли в Москву, но исход того похода оказался гибельным.

Всё повторялось.

Ещё 25 декабря 1941 года штаб командующего 4-й полевой армией фон Клюге из Малоярославца был срочно перемещён в Юхнов.

Город атаковали в новогоднюю ночь сразу несколько частей и соединений. 17-я стрелковая дивизия генерала Селезнёва обошла Малоярославец с юга и атаковала пригородную деревню Маклино*. 5-й воздушно-десантный корпус прорвался по Варшавскому шоссе и перехватил магистраль западнее деревни Шумятино. Десантники приняли на себя основной удар малоярославецкого гарнизона, потому что именно с этого направления немцы ждали наступления Красной армии. Одновременно авангарды полковника Наумова обошли город с севера и мгновенным ударом оседлали шоссе Малоярославец — Боровск и тем самым блокировали малоярославецкую группировку противника.

Из приказа штаба 53-й стрелковой дивизии на новогоднее наступление: *«... 475-й стрелковый полк атакует город с северо-запада и перерезает Варшавское шоссе, тем самым перекрывая врагу отход на запад по шоссе; 12-й стрелковый полк атакует с севера и стремится как можно быстрее овладеть центром и железнодорожной станцией, разрезая город с севера на юг. С востока наступают батальон Московского военного округа и 26-я танковая бригада. Поддерживает наступление вся артиллерия, которая установила точные сигналы взаимодействия с пехотой и танками по их поддержке в ходе боя в городе».*

В новогоднюю ночь, уже 1942-го года, передовые группы дивизии дрались уже в центре города. Немецкая оборона по обводу Малоярославца была с ходу взломана, и противника, разрезанного на части, добивали изолированно. В боях приняли участие подразделения сразу нескольких дивизий и частей 43-й армии.

Александр Фёдорович спустя годы вспоминал: «Малоярославец, важный узел дорог в оперативно-тактическом отношении**, гитлеровцы превратили в солидный опорный пункт, с отдельными узлами сопротивления. Помимо противотанковых рвов и окопов, город был окружён проволочными заграждениями в 3–4 кола, особенно с восточной стороны. Основные магистрали, идущие с востока на запад, простреливались танками и орудиями прямой наводки. Каменные постройки имели подготовленные амбразуры для стрельбы не только из пехотного оружия, но и из орудий. На крышах и чердаках многих домов были подготовлены площадки для стрельбы. Подходы к городу во многих местах были заминированы. Гарнизон Малоярославца состоял из частей и подразделений 34-й пехотной дивизии и 19-й танковой дивизии. Севернее города действовали части 98-й пехотной дивизии. Кроме того,

* Сейчас это микрорайон разросшегося Малоярославца.

** Малоярославец в то время принадлежал Московской области. Через город проходило Варшавское шоссе, а также Старая Калужская дорога и большаки местного значения, в том числе на Боровск и далее на Верею. Через город проходила железная дорога киевского направления с ближайшей крупной узловой станцией Калуга II. Малоярославец также входил в полосу Можайской линии обороны, на которой сражалась дивизия полковника Наумова в октябре 1941 года. Таким образом, удерживая Малоярославец, противник контролировал весь прилегающий район и значительную полосу своего фронта. Потеря Малоярославца угрожала группе армий «Центр» обвалом этого участка фронта.

в городе были отряды так называемых «смертников», которые обязаны были умереть, но города не сдавать».

После войны, выйдя в отставку, Александр Фёдорович Наумов жил в Обнинске, молодом городе учёных-ядерщиков, который возник на месте железнодорожной станции Обнинская. Кстати, здесь, после того как немцев отогнали от Москвы, долгое время размещался штаб Западного фронта. Так вот, живя в Обнинске, Наумов обошёл и объездил места боёв своей дивизии, собрал воспоминания местных жителей, свидетельства очевидцев. Часто выезжал в Подольск, в архив. Поддерживал связь с товарищами по оружию. Среди писем фронтовиков в его архиве сохранились воспоминания* бывшего командира 3-го батальона 475-го стрелкового полка капитана А. Х. Кравченко. «На подступах к Малоярославцу, — вспоминал бывший комбат, — мне было приказано овладеть небольшим населённым пунктом. Это было во второй половине дня 31.12.41. Противник оказал упорное сопротивление. К концу дня подразделения батальона ворвались и заняли половину деревни.

В это время приходит связной от командира полка с приказом отставить выполнение задачи и лично явиться в штаб полка, а батальон сосредоточить в районе Серединское — Меличкино, что мной было с трудом сделано, — вывести подразделения из-под ружейно-пулемётного огня. Хорошо, что начало темнеть.

Прибыл к командиру полка Меликяну, где получил приказ о наступлении на Малоярославец. Мне это представилось очень сложным делом, поскольку противник крепко удерживал каждый, даже незначительный, населённый пункт. Командир поставил задачи батальонам — наступать на Малоярославец и занять исходное положение для атаки. 3-й батальон штурмует город на северо-западной окраине в районе кладбища. 1-й и 2-й батальоны находятся левее 3-го батальона и вводятся в бой по указанию командира 3-го батальона.

Полк сосредоточился в районе сараев деревни Миличкино. Пошли побатальонно. Впереди — 3-й батальон. Было очень темно. Примерное время 20–21.00. Вперёд выслали разведку и боевые охранения взводов. Разведка, не доходя до изгиба дороги, за которым был мост через реку Лужа, была встречена пулемётным огнём, а по дороге в лесу противник открыл сильный артиллерийско-миномётный огонь, что заставило батальон развернуться.

Мной принято новое решение — повернуть строго на запад в лес и идти в обход, как указано на схеме.

Выслал вперёд взвод разведки и охранения, а 1-му и 2-му батальонам через связных сообщил о своих действиях, передал им, согласно полученному приказу командира полка, также идти в обход, о чём доложил в штаб полка.

3-й батальон прошёл лесом на запад, в соответствии со схемой. Огня противника велось по нам всё меньше и меньше, и в конце он совершенно прекратился. Взвод 45-мм пушек и обоз батальона при артиллерии полка

* Публикуются в авторской стилистике.

двигался за 1-м и 2-м батальонами, так как лесом продвигаться невозможно. Миномёты и часть боеприпасов мы взяли с собой и несли вручную.

Пройдя лесом на запад примерно 5–6 км, батальон повернул на юго-запад. Не доходя до опушки леса, на пути обнаружено строение — большой курень, крытый соломой с углублением в землю, в котором было несколько семей скрывавшихся от немцев жителей Малоярославца. Наше появление для них оказалось совершенно неожиданным. Они со слезами бросились в объятия бойцов. Поговорил с ними о наличии немцев в городе, их действиях, оборонительных сооружениях и взял у них двух человек проводников.

Когда 3-й батальон 475-го полка пошёл в обход лесом, примерно на полпути мне доложили, что кончается телефонная связь*, а радиосвязи у меня не было; мною дано указание адъютанту батальона доложить в штаб полка, что связь кончилась, батальон продолжает выполнять поставленную задачу. Больше связи со штабом полка батальон не имел.

Хочется кратко описать о движении (наступлении) лесом на город Малоярославец. Я уже стал себя обвинять, что пошёл этой дорогой. Во-первых, лес был кустарником. Снег, которого обилие выпало, из-за кустарника не уплотнился, и передовым подразделениям приходилось идти в снегу полностью с головой или под руки. К тому же никакой просеки не было. Если учесть, что бойцам приходилось нести всё вручную: пулемёты, миномёты и боеприпасы к ним, — переход был исключительно тяжёл.

Все бойцы и командиры буквально были мокрые от растаявшего снега, который набился под одежду, а также от пота.

Вот поэтому ещё мной было принято решение не останавливаться на исходном положении, так как это было бы смертью подобно.

Следует заметить такой факт. После большого периода времени бойцам не было возможности отдыхать — спать. Имеется в виду несколько десятков дней. И когда ворвались в город Малоярославец, то наблюдалось, что некоторые бойцы буквально упали и уснули. Приходилось выделять более сильных — активных бойцов, которые подымали этих лиц и вели на штурм домов-квартир.

Тем временем разведка донесла: противник ведёт себя спокойно, на окраине города противника не обнаружено. Выйдя из леса, вызвал командиров рот и объявил им новое решение: исходное положение занимать не будем, а внезапным броском ворвёмся в город. Для этого я поставил каждому подразделению точную задачу: одна стрелковая рота с пулемётным взводом занимает западную окраину города, перерезает шоссе на Мединь, не допуская выхода противника из города и подхода подкреплений противника по дороге со стороны Медини**, блокировав кварталы и отдельные дома. Противника в данном районе уничтожить. Остальные роты тоже получили задание, какие конкретно кварталы они штурмуют. Указано было всем, как действовать.

* По всей вероятности, имелось в виду, что заканчивался телефонный провод, который приходилось постоянно разматывать.

** Имеется в виду Варшавское шоссе, которое проходит через Малоярославец.

А когда ворвались в город, мной был послан связной на первую телефонную точку, доложить в полк и дивизию, что войска Кравченко ворвались в город и ведут бои (а там всё поймут).

В городе связь в роты подавалась средствами батальона и непрерывно велась по телефону и через связных».

Не правда ли, редкий документ? И неважно, как он написан. Смысл понятен.

Одновременно в Малоярославец со своего направления ворвался один из батальонов 12-го стрелкового полка, а также подразделения других соединений и частей.

Весь день 1 января нового 1942 года красноармейцы, беря с боем дом за домом, квартал за кварталом, вели зачистку города. К вечеру стрельба стала слабеть и вскоре затихла.

«Это было целое побоище, — вспоминал комбат А. Х. Кравченко в письме к своему бывшему комдиву. — Мне, к сожалению, не пришлось подсчитывать убитых немцев, но там, где приходилось останавливаться моему подвижному КП, ко мне непрерывно приводили десятки пленных, их здесь же уничтожали. Я приказал не вести больше на КП пленных, а уничтожать на месте, так как это отвлекало от выполнения боевой задачи.

Трофеи нами тоже не подсчитывались. Но Вам, Александр Фёдорович, наверное, докладывали — там было много артиллерии, спецавтомашин и даже несколько десятков танков на ходу, не успевших вступить в бой».

Нынешнего читателя, конечно же, смутит признание бывшего комбата об уничтожении пленных. Пленных в Малоярославце батальон капитана Кравченко действительно не брал. И когда из штаба дивизии поступил приказ доставить пленных, их у комбата просто не оказалось в наличии. Когда идёт бой, а исход его непредсказуем, пленных обычно не брали. Ни одна сторона, ни другая. Потому что они, как сказал капитан Кравченко, на самом деле отвлекали от выполнения боевой задачи. Для пленных необходимо было организовывать пункт сбора. Обеспечивать охрану. Опять же, к пункту сбора надо было конвоировать, да ещё нести их оружие. А людей и так не хватает, и потери множила каждая минута не прекращающегося боя. Одним словом, в таких обстоятельствах солдаты и командиры руководствовались заветом Молотке, который в своё время сформулировал один из непреложных законов войны: высшим проявлением милосердия на войне является жестокость...

На следующий день немцев добивали на железнодорожной станции.

Потери дивизии во время уличных боёв были следующими: убито 66 человек, ранено 95 человек. За двое суток выбыло две роты.

Полковник Наумов со своим штабом перебрался на северо-восточную окраину Малоярославца. 3 января 1942 года Военный совет 43-й армии прислал телефонограмму с поздравлением по поводу взятия города и представления 53-й стрелковой дивизии к званию гвардейской*. Тут же поставил новую задачу: не медля наступать на Медынь.

* Представление было отклонено вышестоящими инстанциями.

Медынь — древний город на Варшавском шоссе. Немцы заняли его в октябре 1941 года на пике операции «Тайфун».

Теперь на Медынь наступали войска 53-й и 17-й стрелковых дивизий 43-й армии. В Московской наступательной операции начинался новый период. Подмосковье было очищено от оккупантов, и там начиналась новая жизнь. А Красная армия шла уже по Смоленщине.

В рамках московского контрнаступления начиналась серия новых операций наступательного характера. По оси Варшавского шоссе группировка, в которую вошли 53-я, 17-я, 415-я стрелковые дивизии, 5-я воздушно-десантная и 26-я танковая бригады почти без всякой оперативной паузы приступили к выполнению Медыньско-Мятлевской наступательной операции.

Тринадцатого января, во вторник, начальник штаба сухопутных войск Германии генерал Гальдер в своём дневнике сделал очередную запись: «Группа армий «Центр». Командующий группой армий неоднократно в отчаянии звонил по телефону. В то время как линия фронта в южной части мешка под Сухиничами начинает постепенно стабилизироваться, 4-я армия, по-видимому, не в состоянии сдержать натиск противника, который наносит удар с юга на двух участках в направлении автострады*. Автострада перерезана. Как это отразится на снабжении 4-й армии, пока сказать трудно. Бои за Медынь настолько обострились, что фон Клюге просил разрешить ему сдать город. Фюрер согласился вопреки своему желанию. Брешь к северу от Медыни по-прежнему вызывает большие опасения**».

Днём раньше Гальдер записал реплику Гитлера, брошенную им в адрес фельдмаршала фон Клюге на совещании в ставке 11 января 1941 года: «Удерживать Медынь и закрыть брешь с севера. Следует сделать попытку закрыть брешь с севера ещё до того, как фронт под Медынью дрогнет. Выдвигать силы из глубины. <...> На подготовительные меры при занятии войсками оборонительных позиций нет времени. Если время будет выиграно, то части, прибывающие из глубины, должны использоваться для ликвидации брешей. <...> Задача фронта — не отдавать ни метра территории, если это не является абсолютно необходимым. Медынь — ранее предложенный рубеж обороны! Отход разрешается только в том случае, если опасность становится

* В районе Сухиничей в это время действовала 16-я армия генерала К.К. Рокоссовского. А удар с юга, о котором с беспокойством упоминает Гальдер, по всей вероятности, осуществляли 10-я, 50-я и 49-я армии и 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала П.А. Белова. Они составляли левое, южное, крыло и центр Западного фронта. Именно эти соединения в результате зимнего наступления из района Каширы сняли блокаду Тулы, освободили Калугу, Тарусу, Высокиничи, Полотняный Завод, Кондрово, Киров, Мещовск, Мосальск. В этот же период 16-я армия взяла Сухиничи и вилотную подошла к Жиздре.

** Именно в эту брешь командование Западного фронта в эти дни нацеливало ещё одну группировку — Западную группировку 33-й армии во главе с генералом М.Г. Ефремовым. А через Варшавское шоссе западнее Юхнова с боем прорывались части 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Эти войска имели целью Вязьму. С севера, широко охватывая Вязьму, тем временем двигался клин авангарда Калининского фронта.

совершенно очевидной и других путей её преодоления нет». По итогам совещания Ключе сделал краткое и категоричное резюме: «Ключе намерен удерживать Медынь. Рубеж по реке Шаня».

В боевых донесениях и сводках начала и середины января 1942 года Медынь, Ржев, Сухиничи, Кондрово и Юхнов упоминаются довольно часто. Главные события на центральном направлении советско-германского фронта в тот момент происходили именно здесь.

После того как наступающей Красной армией были захвачены Малоярославец, Боровск, Веря, Высокиничи, Угодский Завод, Медынь, находившаяся на Варшавском шоссе, мгновенно приобрела огромное значение. Для обеих сторон. Для немцев сдача Медыни означала открытие ворот к станции Мятлево — наиважнейшему коммуникационному узлу. В Мятлеве сходились две дороги: железнодорожная ветка Калуга — Вязьма и шоссейная — Варшавка. Шоссе соединяло медыньско-мятлевскую группировку немцев с юхновской и уходило дальше на запад, к тылам. Именно шоссе придавало этому участку фронта наибольшую устойчивость, решало проблему подвоза, эвакуации раненых. По нему шло подтягивание резервов и переброска ударных групп на угрожаемое направление или участок. Железная дорога, в свою очередь, соединяла полотняно-заводскую, кондровскую и калужскую группировки с Вязьмой, откуда шёл второй поток грузов и пополнения для потрепанных дивизий 4-й полевой армии.

Медынь удерживала знакомая нам 98-я Судетская пехотная дивизия генерала Грайса. Костяк этого соединения составляли закалённые в боях ветераны, прошедшие Французскую кампанию, а затем, в июле 1941 года, прибывшие на Восточный фронт. Солдат этой дивизии называли «судетскими орлами». Слава их в связи с отступлением и большими потерями к тому времени порядком потускнела, но судетцы, франконцы и нижнесаксонцы по-прежнему дрались упорно, и командование доверяло им самые ответственные участки фронта. Обороняли они и Медынь.

Вот что писал о боях за этот крошечный город Мартин Грайс: «Как только Медынь занята*, начинаются бои. Как и в Малоярославце, дело едва не дошло до полного разгрома. Три дивизионные роты (бывшие три полка)** занимают северо-восток города, в их числе: группа Хайма, 282-й пехотный полк, с ними остатки истребительно-противотанкового батальона, приданные бывшей 14-й пехотной роте, ныне усиленные на два полувзвода и теперь брошенные в бой. 398-й пехотный полк бьётся на севере, в глубоком снегу на окраине леса южнее Мансурова. Полк близок к постижению «восточного боевого опыта» и оплачивает этот опыт слишком дорогой ценой. С северо-запада до запада опорные пункты в деревнях удерживают: группа Гайгера 289-го пехотного полка, батальон Виммера и в дополнение к ним

* Грайс имеет в виду занятие Медыни частями своей дивизии — 98-й пехотной.

** Как видим, после «планового отхода» на «заранее подготовленные позиции» в 98-й пехотной дивизии «судетских орлов» полков и батальонов уже не было. Были сформированы дивизионные роты и группы.

группа Кляйна 29-го пехотного полка с подчинённым ему полицейским батальоном Метцнера. На восточной окраине города, в непосредственном примыкании — как в Малоярославце, — сражается 34-я пехотная дивизия. <...> К вечеру прибывает 308-й полицейский батальон из Варшавы. До зубов вооружённый и... подготовленный к зиме. Естественно, он тут же воспринимается как желанное подкрепление и перебрасывается на угрожаемый северный фланг.

<...> Утром 13 января создаётся критическая ситуация. Неудержимый натиск большевика сминает полицейский батальон и прорывается в город. Тут же возникает паника, и батальон в спешке отступает. В нервах они бросают оружие, лыжи, тулупы, салазки и бегут группами и поодиночке назад, к «автостраде». На дорогу, ведущую в город, примерно в километре, вышел командир дивизии и с несколькими офицерами пытается вразумить потерявших голову солдат. Тщетно. Безднадёжное дело. Позорное бегство ставит соседей на передовой в затруднительное положение. Особенно тяжело 34-й пехотной дивизии. <...> Полицейский батальон расформирован и разбросан по разным частям. Начатое военно-судебное расследование теряется в недрах бюрократической машины... Объявляется приказ фюрера: «Позиция на Шане должна быть окончательной!» Но эта позиция практически не оборудована...»

Медынско-Мятлевская группировка, в которую входила 53-я стрелковая дивизия, напирала с азартом и яростью, и 14 января Медынь была взята.

Газета «Правда» об освобождении Медыни и взятии богатых трофеев писала дважды. 16 января первое сообщение: «Медынь в наших руках!» Несколько дней спустя газета уточнила количество захваченных трофеев: их стало меньше. В первой публикации особенно переборщили с автомашинами и пулемётами. Оно и понятно: город штурмовали сразу несколько дивизий и частей. И каждый командир записывал трофей в свой актив. Когда свели в итоговый список, из одной машины получилось две-три. Басурман, конечно, не жалко, но в «тройфейной» истории всё же разобрались. Вот цифры, наиболее близкие к тому, что было на самом деле: в городе захвачено 6 немецких средних танков, 514 автомашин, 26 орудий, 34 пулемёта, много боеприпасов и различного воинского снаряжения. Даже если часть этой боевой техники и вооружения были неисправными, то трофеи, надо согласиться, всё же богатые.

Буквально накануне решающего штурма Медыни был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении полковника А. Ф. Наумова орденом Ленина.

Штурм Медыни совпал со штурмом Вереи дивизиями правофланговой 33-й армии и кровопролитными боями левофланговой 49-й армии за овладение Полотняным Заводом и Кондровом.

Двадцать первого января 1942 года комфронта Жуков отдал приказ генералу Ефремову о наступлении на Вязьму. 33-я армия разделилась, и западная её группировка во главе с командармом, воспользовавшись разрывом в немецкой обороне, ушла вперёд. В эти же дни западнее через Варшавское

шоссе в районе реки Пополты в ходе ожесточённого боя в направлении Вязьмы прорубился 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала П. А. Белова. С севера к Вязьме наступала группировка Калининского фронта. Вязьму немцы удержат. Нашей группировке в этом противостоянии не поможет и массовая выброска воздушного десанта. Западная группировка 33-й армии вместе с частью десантников окажется в окружении. Кавалеристы, тоже отсечённые от тылов, пользуясь своей мобильностью (лошади!) выйдут в район Дорогобужа, где леса удерживали партизаны, и, дождавшись лета, выйдут несколькими потоками к Кирову, к позициям 10-й армии. Судьба Западной группировки 33-й армии окажется трагичной. Прорыв на Износки и Юхнов окажется неудачным. В апреле блуждающий «котёл» 33-й армии перестанет существовать. В бою погибнет полевое управление армейской группировки. Генерал Ефремов застрелится.

В эти дни 53-я стрелковая дивизия генерала Наумова стояла на Угре севернее Юхнова. Вначале дивизия вместе с 17-й и 5-й гвардейской, прикрывая Юхнов с севера, обеспечивала группировку 49-й армии, атакующую город. Потом заняла оборону по линии реки Угры. Вскоре поступил приказ штаба Западного фронта: переправиться через Угру, захватить плацдарм и с него начать наступление на соединение с прорывающейся Западной группировкой 33-й армии. Непрерывные бои, которые 53-я стрелковая дивизия вела с декабря 1941 года, истощили полки. В ротах в лучшем случае осталось по взводу. У артиллеристов практически не было боеприпасов. Нечем и нечем было прорубать коридор к Вязьме.

На всю жизнь А. Ф. Наумов запомнил встречу с Жуковым. Комфронта буквально толкал в спину и 43-ю армию, и 49-ю, и 50-ю — на соединение с блуждающим «котлом» 33-й армии. Но немцы прочно удерживали фронт и группировку генерала Ефремова из своих смертельных объятий не выпускали.

Жуков приехал на Угру в апреле 1942 года, когда окружённые под Вязьмой начали прорыв. «... вызвал к себе нас, командование дивизиями, — вспоминал А. Ф. Наумов. — Он не интересовался, как дела в дивизиях, а только — почему топчетесь на месте? Почему плохо воюете? Лично Верховный Главнокомандующий приказал принять все меры к вызволению окружённой группировки генерала Ефремова. И приказал собрать в кулак части и наступать со всей яростью и прорвать фронт обороны фашистов — «их ведь тоже немного...» Я помню, мы стояли навтыжку, а он сидел на табуретке, одетый в бекешу. Вид сердитый, прямо в глаза ему смотреть было трудно, они были какие-то сине-свинцовые, просто пронизывали...

Что же мы ему ответили? — Будут приняты все меры, чтобы выполнить поставленную задачу! На том и разошлись, и никто из нас даже не заикнулся — в каком же, фактически, положении находятся наши части и способны ли они в данных условиях наступать вообще?! Конечно, наступали, но оставались на месте, израсходовав то небольшое количество боеприпасов, которое имели. Ведь у меня вся артиллерия стояла на прямой наводке! Не было даже пол-«быка» (боекомплекта)».

Здесь необходим комментарий.

В феврале — апреле 1942 года войска Группы армий «Центр», по-прежнему превосходя Западный и Калининский фронты в живой силе и вооружении, предприняли серию больших и малых контратак по отсечению и охвату советских соединений и частей, которые в ходе контрнаступления на узких участках особенно глубоко вклинились в немецкую оборону. На участке соседа слева — 49-й армии — отсечёнными оказались до полутора полка в районе Коммуны Савонина южнее Юхнова. На участке 50-й армии в пойме реки Лидия в окружение угодила дивизия и была почти полностью истреблена во время прорыва. Командиры понимали: высунешься вперёд, и тебе отсекут нос вместе с головой. Жуков, конечно же, знал, в каком состоянии находятся дивизии, потому и не спрашивал. Но 33-ю надо было выручать. Не получилось. Именно тогда и стало окончательно ясно, что немцы ещё сильны и способны на новый бросок на Москву.

9

В апреле 1942 года генерал-майору А. Ф. Наумову вручили орден Ленина. А через месяц он получил генеральские петлицы. Такова оценка его вклада в битву за Москву.

Из служебной (боевой) характеристики на командира 53-й стрелковой дивизии А. Ф. Наумова:

«1897 г. рождения, член ВКП(б) с 1939 года, служащий, русский, образование: общее — экстерном за 6 кл. гимназии в 1914 г., военное — Высш. военная школа РККА в 1926 г., Военная академия им. ФРУНЗЕ (заочно) в 1934 г. В Красной Армии с 1918 г.

Участник гражданской войны 1918–1920 г.г.

Награждён орденом ЛЕНИНА в 1942 г.

Полковник НАУМОВ 53 ст. дивизией командует с октября 1941 г. До этого командовал 312 стр. дивизией, оказавшей ожесточённое сопротивление фашистам в районе Детчино.

С ноября по 24 декабря 1941 г. 53 стр. дивизия обороняла фронт на Подольском направлении на рубеже КАЩЕЕВО, ИЛЬИНО, КОЛОНТАЕВО. Враг несколько раз пытался прорвать фронт обороны дивизии. Несмотря на то что дивизия имела 50 % своего состава, благодаря умелому руководству и личной храбрости полковника т. НАУМОВА дивизия успешно отражала пехотные и танковые атаки и даже наносила врагу отдельные поражения.

Своевременно заметив начавшийся отход противника в ночь с 24 на 25 декабря 1941 г., полковник НАУМОВ умело организовал стремительное преследование отступающего врага. На подступах к городу Малый Ярославец дивизия отбила 5 яростных контратак немцев и первой ворвалась и взяла город, захватив большое количество трофеев военного имущества.

В последующих боях за г. МЕДЫНЬ и другие пункты и узлы сопротивления врага дивизия показала выносливость в трудных условиях, героизм и самоотверженность в борьбе за освобождение Советской земли

от немецких оккупантов. В этой борьбе полковник т. НАУМОВ служил примером для всего личного состава дивизии.

53 стрелковая дивизия за высокую боеспособность, героические действия по разгрому фашистских орд на подступах к Москве Военным советом представлена к переименованию в «Гвардейскую стрелковую дивизию».

За образцовое выполнение заданий Командования на фронте борьбы с немецкими оккупантами полковник НАУМОВ награждён орденом ЛЕНИНА.

Партии и Родине предан.

Достоин присвоения военного звания «ГЕНЕРАЛ-МАЙОР».

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ 43 АРМИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГОЛУБЕВ.

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР ШАБАЛОВ.

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР БОГОЛЮБОВ.

13 мая 1942 г.».

Вскоре 53-я стрелковая дивизия передала плацдарм на Угре соседней 17-й и заняла окопы на реке Воре.

В октябре 1942 года за героические действия в ходе битвы за Москву Наумов был награждён союзниками — англичане вручили ему орден «За боевые заслуги».

Осенью, в конце сентября 1942 года, генерал Наумов получил новое назначение — командиром 31-й гвардейской стрелковой. Командовал гвардейцами до января 1943 года. Затем был переведён на 385-ю стрелковую дивизию.

Буквально накануне Курской битвы его назначили на 62-й стрелковый корпус. Это было второе формирование корпуса, погибшего в 41-м. Вскоре он получит почётное наименование Неманского. С этим корпусом генерал Наумов атаковал противника на северном фланге Курской дуги, прорвал оборону на Десне и углубился в пределы Белоруссии. Дивизии корпуса оставались на реке Проне и начали готовиться к атаке на Могилёв. В состав корпуса входили 330-я, 369-я и 64-я стрелковая дивизии.

После расформирования Западного фронта корпус Наумова вошёл в состав 49-й армии 2-го Белорусского фронта. В командование войсками фронта та вскоре вошёл генерал Рокоссовский.

В ходе наступательной операции «Багратион» 49-я армия, выполняя основную функцию в начале удара, прорывала оборону 4-й полевой армии Группы армий «Центр» на реке Проне на двенадцатикилометровом фронте. Фланги её прикрывали соседние 50-я и 33-я армии. Стрелковый корпус генерала Наумова, усиленный артиллерией и танками, шёл в авангарде наступления. Это был огненный вихрь, который в одно мгновение перескочил через Проню, ворвался в Могилёв, Шклов, Быхов и стремительно двигался к Минску. Три армии 2-го Белорусского фронта, которые понесли особенно большие потери во время битвы за Москву, теперь брали реванш.

В районе Минска они окружили и методично добивали в огромном «котле» крупную немецкую группировку. В считанные дни войска Рокоссовского

разрезали, разметали немецкую оборону. 4-я полевая армия практически перестала существовать. Группе армий «Центр» был нанесён такой удар, что её, как боевое соединение, впоследствии практически пришлось формировать вновь.

Офицер Генштаба Н. Д. Салтыков, инспектировавший войска 2-го Белорусского фронта накануне наступления, вспоминал: «Среди командиров соединений и частей фронта были разные люди: одни имели большой боевой опыт, другие имели его меньше, третьи вовсе не имели. Со многими из них мне приходилось встречаться в ходе подготовки войск к наступлению. Глубокими знаниями тактики прорыва обороны противника отличался командир 62-го стрелкового корпуса генерал-майор А. Ф. Наумов. Это был строгий, суровый на вид, хорошо знающий своё дело человек. Присутствуя на учениях, он не пропускал ни одной ошибки, допущенной командирами и красноармейцами. Заметив ошибку, генерал останавливал учение, терпеливо и педагогически умело разъяснял, как надо действовать, а в необходимых случаях и показывал. Занятия в его присутствии проходили исключительно целеустремлённо и поучительно».

В ходе наступления в Белоруссии по приказу Рокоссовского дивизии 62-го стрелкового корпуса были переданы 49-й армии, полевое управление перебрасывалось в район Шклова в полосу действия 33-й армии. Там генерал Наумов со своим штабом принял новые соединения — 344-ю, 70-ю, 157-ю стрелковые дивизии и части усиления. С этими силами Наумов выполнял задачу по рассечению окружённой под Минском группировки и последующего её уничтожения.

Исследователи тех событий утверждают, что именно оттуда Константин Симонов взял сюжет для третьей книги трилогии «Живые и мёртвые» — «Последнее лето».

К 15 июля авангарды корпуса, преследуя отступающего врага, достигли реки Неман. С ходу форсировали водную преграду и захватили плацдарм на западном берегу. Спустя некоторое время именно с этого плацдарма началось наступление на Восточную Пруссию.

Дальше 62-й стрелковый корпус пошёл уже с другим командиром, а генерала Наумова назначили на 118-й стрелковый, входивший в состав 21-й армии. Армию спешно перебрасывали на южное крыло, в полосу действий войск 1-го Украинского фронта.

Здесь, в дни Сандомирской наступательной операции, произошло знакомство генерала Наумова с маршалом Коневым, который командовал фронтом.

Освобождение Силезского промышленного района. Бросок на Чехословакию через Трансильванские Альпы.

10

Победа застала нашего героя на пути к Праге.

В июне 1945 года корпус стоял в Вальденбурге, входя в состав Центральной группы советских оккупационных войск.

Маршал Конев, в то время командующий Центральной группой войск, не раз вызывал Наумова в своё распоряжение и, зная его исполнительность,

поручал различные задания. Однажды приказал срочно выехать в северные районы Югославии и посмотреть, что из себя представляет 1-я армия Югославии. Армия в оперативном отношении входила в подчинение штаба маршала Конева.

Комиссия Наумова прошла успешно. Когда прибыл на доклад к маршалу, узнал, что его 118-й стрелковый корпус расформируется. Конев тут же предложил своему верному генералу должность начальника Управления боевой и физической подготовки Центральной группы войск в Австрии. В ответ Наумов попросил корпус.

— Корпус вы всегда получите, — сказал маршал. — А пока формируйте Управление. Это сейчас нужнее.

В январе 1949 года генерал Наумов был переведён в Закавказский военный округ на ту же должность.

В январе 1950 года направлен на учёбу — на Высшие академические курсы при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. Курсы окончил с отличием. Как вспоминал сам Александр Фёдорович, «за два дня до выпуска позвонил по телефону И. С. Коневу, он тогда был заместителем министра обороны, генеральным инспектором МО СССР, и попросил принять» его. Маршал предложил Наумову должность своего заместителя.

В феврале 1955 года генерала Наумова направили в Чехословакию — старшим военным советником командующего войсками одного из округов.

Летом 1958 года ушёл в запас. Вернулся в Москву.

Однажды возле «Военторга» встретились с И. С. Коневым. Оба обрадовались неожиданной встрече. Разговорились.

— Пишите мемуары, — посоветовал маршал своему бывшему подчинённому. — Сейчас все пишут. А вам есть что вспомнить.

К тому времени уже собралась большая переписка. Письма бывшему командиру дивизии, а затем корпуса шли из Казахстана, ветераны писали из Белоруссии, из Сибири. Начал ездить в архив в Подольск, уточнять даты и имена. Память не давала покоя. Прошлое словно вернулось назад.

Зимой 1961 года пришло приглашение из Малоярославца на празднование 20-летия освобождения районного города в то время уже Калужской области от немецкой оккупации. Поездка буквально перевернула жизнь генерала. Спустя некоторое время в районной газете «Искра» появилась публикация «В боях за Малоярославец (Воспоминания командира дивизии)».

Затем была поездка на родину, встречи с фронтовыми товарищами в Актюбинске-Целинограде (Акмолинске), Алма-Ате. В местных и республиканских газетах вышли отрывки и главы из будущей книги «На Варшавском шоссе».

Весной 1965 года А. Ф. Наумов приехал на празднование 20-летия Победы в Обнинск. Обнинск тогда был молодым и красивым городом, где работали учёные-ядерщики и кипела интересная культурная жизнь.

Старому солдату хотелось покоя. Год назад перенёс тяжёлую операцию. И местные власти спустя некоторое время выделили финский домик с небольшим земельным участком по улице Горького. Александр Фёдорович

тут же оставил Москву и перебрался в своё новое жилище «на земле». Развёл огородик, сад.

Домик этот сохранился. На нём мемориальная доска: *«Здесь в 1967–1992 годах жил Почётный гражданин города генерал-майор Наумов А. Ф., командир 53 стрелковой дивизии, освободившей землю обнинскую в декабре 1941 года».*

Домик смотрится очень скромно, по нынешним меркам совсем не по-генеральски. Нынче так и майоры не живут. Здесь Александр Фёдорович и писал свои мемуары. Возделывал свой огородик. Часто выбирался на места боёв своей дивизии. Бродил среди окопов. Иногда навещал места раскопок и полевые лагеря поисковиков, осматривал их «трофеи», комментировал находки.

Города Целиноград, Актюбинск, Малоярославец, Медынь, Могилёв, Обнинск и посёлок Рогово вручили своему земляку и освободителю титул почётного гражданина. В Обнинске установили памятник.

Среди наград генерала два ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, два ордена Суворова II степени, орден Красной Звезды. Но особенно ценил казак медаль «За оборону Москвы». Как никакая другая награда она роднила его с боевыми товарищами, павшими и живыми.

Марина Улыбышева

Марина Алексеевна Улыбышева — поэт, журналист. Корреспондент программы «Родной образ» на телерадиокомпании «Ника ТВ». Лауреат литературных премий им. М. Цветаевой, им. В. Берестова, им. Л. Леонова, им. И. и П. Киреевских, и в рамках Международной премии М. Волошина в номинации «Лучшая поэтическая книга 2014 г.» специальной премии «За сохранение традиций русской поэзии». Награждена Патриархом Всея Руси Алексием II благодарственной грамотой и медалью Сергия Радонежского II степени и государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Живёт в Калуге.



УЧИТЕЛЬ КУН

Художественное переложение книги «Лунь юй» («Беседы и суждения») — главной книги конфуцианства с добавлением известных фактов жизни одного из главных мыслителей и философов Китая — КОНФУЦИЯ.

Глава 1

О ТОМ, КАК СТАРЫЙ ШУ ЛЯНХЭ ТОСКОВАЛ

Когда на земле царит ночь, нет на ней ни зеленого, ни жёлтого, ни красного цвета. Одна чернота, такая густая, что, кажется, можно её резать ножом и мазать на хлеб вместо масла.

Семидесятилетний Шу Лянхэ сидит на пороге своего дома. Чернота у него снаружи и чернота у него внутри. Мрачные мысли одолевают его. Кажется бы, Небо, которому он всю жизнь поклонялся, как любящий сын, всем одарило его. Прежде всего, отличался он в Поднебесной, где люди обычно рождаются невысокими, необыкновенным ростом и силой. А ещё удивительной храбростью, о которой до сих пор рассказывают чудеса. Всю жизнь с оружием в руках защищал он правителей своего государства, а теперь и сам был градоправителем городка Цзоу в вассальном княжестве Ли. Всё есть у семидесятилетнего Шу Лянхэ — и богатство, и знатность, и уважение горожан. Руки его до сих пор с такой силой пускают стрелы из лука, что ему может позавидовать любой юноша. Но тяжело у него на сердце. Нет радости. Одна чернота сосёт душу и навеивает мрачные мысли.

Девять дочерей подарила ему жена, девять красавиц с луноподобными лицами, с жёлтой блестящей кожей, с губами, как лепестки роз, и глазами,

похожими на маслины. Но нет у него сына — наследника его знатности и богатства, продолжателя его старинного рода. Жена его уже давно умерла. Он оплакал её, а потом отправился к главе известного в городе семейства Янь, у которого было три дочери. До земли поклонился гордый Шу Лянхэ удивлённому отцу и попросил у него дочь в жёны.

Мудрый Янь оказал Шу Лянхэ все почести, но не дал ответа. Не хотел он принуждать дочерей к неравному браку. Пообещал испросить их согласия. Вот уже три дня прошло, но нет до сих пор из дома Яня гонца. Вскипает оскорблённое сердце храброго воина и правителя, неужели не уважают его молодые девицы?

Чернота вокруг Шу Лянхэ. И только там, на востоке, вдруг начинает светлеть, быстрее и быстрее, и вот уже стремительно рассеивается ночной мрак, выкатывается из-за горизонта огромное расплавленное солнце, и чёрный мир становится зелёным, и жёлтым, и красным! Слышится шлёпанье башмаков по дорожной пыли. Это торопится гонец из дома уважаемого Яня и несёт он радостную весть — семнадцатилетняя красавица Янь Чжи, самая младшая из трёх сестёр, согласилась стать женой Шу Лянхэ!

Г л а в а 2

О РОЖДЕНИИ СЫНА

Приходом Янь Чжи будто солнышко осветило дом старого Шу Лянхэ. Девушка оказалась не только красивой, но и благочестивой. Отныне всё в доме сияло чистотой и порядком. Понимая, как важно для старого воина иметь наследника, она сама упросила его съездить с нею на холм Ницю и помолиться верховному существу о даровании им сына. И вскоре её горячие молитвы были исполнены.

На двадцать первый день десятого месяца в 551 году до Рождества Христова на свет появился младенец, про которого легенды впоследствии скажут, что рот его был подобен озеру, губы, как у быка, а спина, как у дракона. Разумеется, легенды придадут внешности рождённого мальчика аллегорическое значение. Но, что правда, то правда: младенец был некрасив, некоторые даже осмелились называть его уродом. Ребёнок родился необычайно большим, с глубокой вмятиной на темени, с чрезмерно длинными ушами, толстым мясистым носом и глазами навывкате. Но доброе сердце Янь Чжи только на короткое время подёрнулось материнской печалью. Вскоре она уже была убеждена, что её малыш самый прекрасный на свете!

Конфуций, или, как его ласково звали, — маленький Цю, рос необыкновенно послушным и радовал своих родителей почтительностью и рассудительностью не по возрасту.

Через три года умер доблестный Шу Лянхэ. Но даже и в день приближения смерти не было в нём неумеренной грусти и черноты, он знал, что оставляет на земле наследника и что верная Янь Чжи воспитает его, как

и подобает сыну знатного человека. Только не знал, умирая, Шу Лянхэ какие ещё невзгоды ожидают его жену и сына.

А невзгоды не заставили себя долго ждать. И первой из них пришла бедность.

Глава 3

О ТОМ, КАК У МАЛЕНЬКОГО ЦЮ НЕ БЫЛО РИСА

Так уж бывает в жизни: сегодня ты счастлив и богат, а завтра налетит град и побьёт посевы на твоём поле, или неведомая болезнь в одночасье унесёт весь скот, или воры заберутся в дом и вытащат сундуки с сокровищами, или небесный огонь спалит дотла твоё жилище. И останешься ты один, хоть и в шёлковой рубаше, но гол как сокол, и за душой не будет у тебя ни копейки.

Да и в самой Поднебесной, или как иначе её называют — Китае, творятся неполадки. Некогда сильное и крепкое государство, руководимое благословенной династией Чжоу, разделилось на множество самостоятельных государств, которые то и дело воюют друг с другом. А если мужчины воюют, убивают друг друга, разоряют мирные жилища, то некому растить рис, некому пасти стада, некому ходить на охоту и приносить добычу домой.

Сидит семилетний Цю на циновке, давно уже он забыл вкус фиников, а в животе у него второй день нет ни одной рисинки. Янь Чжи склонилась над шитьём.словно маленькая серебряная рыбка в море ныряет в холст иголка из рук матери, а затем выныривает с другой стороны, опять попадая в уверенные пальчики.

С тех пор как умер Шу Лянхэ, Янь Чжи никогда не улыбается. С утра до вечера занимается она повседневными делами, не отдыхая ни минутки. Мальчику жалко свою мать. Вчера он невольно подслушал, как приходил к ней знакомый учитель, предлагая заняться домашним воспитанием подрастающего Цю. Янь Чжи отказалась, сославшись на то, что им нечем платить за обучение. Тогда, к удивлению Цю, учитель предложил матери обучать ребёнка бесплатно, а ещё сказал, что принесёт ей несколько мер риса, чтобы она смогла накормить голодного. Он взял Янь Чжи за руку и обещал ей, что она никогда не будет ни в чём нуждаться. Уж было обрадовался Цю, предвкушая сытный ужин, но вместо того чтобы согласиться, Янь Чжи почему-то сильно рассердилась и прогнала учителя, сказав, что отдаст мальчика только в общественное училище. Второй день сосёт у Конфуция под ложечкой, второй день думает он о поведении матери и не может понять, зачем она прогнала учителя, только чувствует, что есть в мире что-то гораздо более важное, чем горсть риса.

— Мама, почему ты никогда не смеёшься? — спрашивает её Цю.

— Как бы мы жили, — отвечает вопросом на вопрос мать, — если бы утром вместо солнца вставала луна, если бы добыча гонялась за охотником и, если бы вдова, похоронившая своего мужа, смеялась и танцевала?

— Значит, самое главное в мире — это порядок вещей? И его надо соблюдать, что бы ни случилось? — спрашивает Конфуций.

— Именно так я думаю, сынок, — ласково и в то же время строго отвечает мать.

Другой бы ребёнок пропустил эти слова мимо ушей. Но не таков был Конфуций, он запомнил их на всю жизнь.

Г л а в а 4

О ТОМ, КАК КОНФУЦИЙ ХОДИЛ НА ПИР

В пятнадцать лет Конфуций почувствовал непреодолимую тягу к учению. Мать, как и обещала, ещё с восьми лет отдала его в общественное училище, какие были в то время в Китае не только в городах, но даже и в деревнях. Там изучали предметы, без которых не мог обойтись ни один уважающий себя житель Поднебесной: правила вежливости, церемонии, музыка, счёт, стрельба из лука и управление колесницей. Вскоре Конфуций затмил всех своих товарищей прилежанием, скромностью и успехами в ученье.

Более всего ему нравилось участвовать в церемониях. Он с такой тщательностью исполнял все предписания обрядов, что иной раз товарищи посмеивались над ним:

— Для чего ты так стараешься? Эти дедовские обычаи давно уже устарели!

А Конфуций неизменно отвечал:

— Самое главное в мире — порядок вещей!

И чем дольше размышлял юный Конфуций над этой фразой, тем больше видел в ней смысла и глубины. Много перечитал он мудрых книг и увидел, что пока богдыханы — правители областей придерживались старых традиций, страна богатела и процветала, и только ныне, когда к традициям стали относиться с пренебрежением, междоусобные войны раздирают Китай, а народ голодает и мучается. Очень хотелось Конфуцию, чтобы все были счастливы, а Поднебесная была самым благословенным местом под Солнцем.

В шестнадцать лет Конфуций решил восстановить порядок вещей и начать с себя. Один знатный вельможа устраивал в то время званый пир и созвал на него всех богатых и уважаемых людей города. Разумеется, никто не пригласил на празднество нищего ученика общественного училища. Это показалось Конфуцию несправедливым, ведь он потомок славного рода Шу Лянхэ, а значит, должен быть таким же уважаемым человеком, каким был и его отец. Надо сказать, что Конфуций уже давно мечтал о поприще государственного мужа, он хотел приносить славу отечеству. Поэтому и явился молодой Конфуций ко двору вельможи и, как полагалось, четырежды постучал в ворота. Привратник приоткрыл окошечко и недовольным голосом спросил:

— Кто там ещё?!

— Я сын знатного Шу Лянхэ, бывшего градоправителя этого города. Я пришёл на пир, потому что все уважаемые люди этого города нынче здесь.

— Пошёл прочь! — рассердился привратник. — Где это видано, чтобы таких оборванцев звали на пир к вельможам!?

Конфуций ещё раз попытался объяснить привратнику, почему он пришёл, но слуга в бешенстве схватил палку и, выйдя из ворот, ударил его.

Любой бы обиделся или озлобился на такое к себе отношение. Но не таков был Конфуций. Он только поклонился привратнику «за науку» и с тех пор стал ещё усерднее готовить себя к государственной карьере. Мир нуждался в восстановлении старых традиций, кто, если не я, объяснит людям, как нужно правильно жить, думал Конфуций, и трудился в учении не жалея сил.

Глава 5

НОВЫЕ БЕДЫ НЕ ЗА ГОРАМИ

Радостью наблюдала Янь Чжи за успехами своего сына. А успехи были налицо. В семнадцать лет Конфуций стал помощником учителя, а по окончании учёбы поступил на государственную службу. Правда, должность торгового пристава, которую он занял, считалась крайне скромной: в его обязанности входил надзор за свежестью припасов на рынках и лавках. Но и это скромное место можно было использовать с большой выгодой, если на иные нарушения закрывать глаза да принимать подношения от недобросовестных торговцев. Только не таков был Конфуций.

С самого утра он обходил лавки и рынки, тщательно осматривая мясо, овощи и хлеб. Честных торговцев поощрял, а мошенников строго наказывал. Такой порядок вещей, вскоре дал самые блестящие результаты. И хотя он был ещё очень молод, его стали уважать в народе и говорить о нём, как о большом мудреце.

Получая жалованье и довольствуясь малым, Конфуций вскоре поправил свои дела и в девятнадцать лет женился на девушке Ци Гуань из знатной фамилии. А вскоре получил повышение по службе. Князь Лу с единодушного одобрения сограждан назначил его инспектором пахотных полей, лесов и стад. Трудолюбивый Конфуций тщательно вникал во все мелочи, во все проблемы. Стада домашних животных тут же стали умножаться, а заброшенные поля обращались в богатые нивы.

Не могла нарадоваться уже постаревшая Янь Чжи на своего сына, вся семья больше не голодала, жизнь наладилась, всё сулило Конфуцию блестящую будущность. Но беда, как всегда, была не за горами.

Глава 6

О ТОМ, КАК КОНФУЦИЙ СОБЛЮДАЛ ТРАУР

Однажды утром Янь Чжи почувствовала недомогание. Как свежий ветерок вызывает на глади озера лёгкую рябь, так и по телу Янь Чжи пробежала сначала лёгкая дрожь. К вечеру она усилилась, и к полуночи уже сильный

озноб сотрясал худенькие плечи Янь Чжи. Её блестящие глаза, похожие на две маслины, подёрнулись печалью. Всю ночь Конфуций и Ци Гуань сидели у её спальных циновок и держали её за руки, которые прямо на глазах истончились и стали невесомы, как две тоненькие веточки. К утру она умерла.

В тот же день Конфуций отправил князю Лу прошение об отставке, чтобы исполнить трёхгодичный траур.

Один из чиновников князя Лу, пожалев молодого, подающего надежды Конфуция, сказал ему:

— Сегодня далеко не все соблюдают обязательный траур по родителям. Подумай, молодой человек! Через три года тебя и не вспомнят тут, при дворе! Не бери отставку!

Но Конфуций только посмотрел на жалостливого чиновника, закрыл свои большие уши ладонями, почтительно поклонился ему и ушёл.

Три года он знал только одну дорогу из дома — на могилу матери. Три года пища ему была несладка, жизнь ему была невесела. Три года оплакивал он умершую, и наконец износилась в клочья траурная одежда его. Дом обеднел, и печально смотрели на него запавшие от горя глаза верной жены Ци Гуань. Но в эти три года он изучал священные книги и читал мудрых правителей древности. От многого знания просветлел его ум. И хоть никуда не выходил он из дому, слава о нём гуляла свободно по улицам города, и многие преисполнились к нему ещё большего уважения.

Когда же истёк срок, сложил свои траурные лохмотья Конфуций на гробнице матери и облачился в новые одежды.

— Ты теперь пойдёшь во дворец? И снова станешь служить? — с надеждой спросила его Ци Гуань.

— Нет, дорогая жена! Если люди идут разными путями, они не смогут делать вместе одно дело. Это не мой путь!

— Но как же мы станем жить? — забеспокоилась Ци Гуань. — В нашем доме уже не осталось пищи. Тебе нужно трудиться!

— Женщина! Я тружусь день и ночь, размышляя и проникая в суть вещей. Не тревожься. Пищу нам принесут в награду за мои труды, — отвечал мудрец.

Покачала Ци Гуань головой, но перечить мужу не решилась.

Г л а в а 7

О ТОМ, КАК У КОНФУЦИЯ ПОЯВИЛИСЬ УЧЕНИКИ

Тем же вечером в их дом постучался юноша, он принёс связку сушёного мяса и мешок овощей. Сложив свои дары на пороге, он поклонился хозяину дома и произнёс:

— Конфуций! Многие почитают тебя как мудреца. Мог бы ты обучить меня своему знанию?

— Обучить ли тебя знанию? — задумался Конфуций, — Что знаешь, то и считай, что знаешь, чего не знаешь, то и считай, что не знаешь — вот это и будет знание. Но для чего тебе оно?

— Хочу прославиться, как и ты, чтобы люди узнали меня! — сказал юноша и гордо потрянул своими чёрными, как смоль, волосами.

Конфуций ещё раз внимательно посмотрел юноше в глаза и вздохнул:

— Что ж, если хочешь, оставайся. Но не беспокойся о том, что тебя люди не знают, а беспокойся о том, что ты не знаешь людей также, как и себя самого.

Вечером, готовясь ко сну, Конфуций зашёл в комнату к своему новому ученику и бросил ему на пол ветхую, гнилую циновку для ночлега. Утром же он заботливо спросил юношу, хорошо ли ему спалось.

— Благодарю за заботу, учитель, — ответил молодой человек. — Но нельзя ли мне дать спальную циновку получше. Я видел, они у вас есть в достаточном количестве.

— Кто желает спокойствия и удобства больше учения, тот не заслуживает звания ученика, — ответил Конфуций.

На другой день он снова спросил юношу:

— Хорошо ли тебе спалось, мой ученик?

Юноша почтительно склонил голову и ответил:

— Спасибо, учитель. Постель была хороша ровно настолько, что ночью мне удалось вволю поразмышлять о том, как лучше отдавать все силы учению.

— Что ж, первый урок ты усвоил правильно, — сказал Конфуций. — Теперь можешь взять себе циновку получше. Теперь учись так, как будто боишься не достигнуть предмета, да ещё опасаться его потерять.

Так постепенно у Конфуция появились ученики. Среди них были и дети из знатных семей и бедняки, которые учились бесплатно. Как-то богатые ученики стали роптать:

— Учитель! Зачем ты приваживаешь к себе этих нищих. С них нет никакого толка. Они не могут тебе заплатить за науку, а, наоборот, поедают твой хлеб.

На это Конфуций ответил:

— Быть бедным и не роптать — трудно! Быть богатым и не гордиться — легко! У князя Цина была одна тысяча четвёрок лошадей, а когда он умер, то народ не нашёл в нём никаких добродетелей для прославления его. Бо И и Шу Ци умерли с голоду в горах Шоу Ян, а народ доныне прославляет их.

Богатые ученики устыдились и больше не обижали своих бедных товарищей.

Глава 8

КАК КОНФУЦИЙ УЧИЛСЯ МУЗЫКЕ

Князь удельного княжества Янь, услышав о мудром философе, прислал к нему одного из вельмож спросить совета, как лучше управлять народом.

— Не зная ни государя, ни его подданных, как я могу давать советы по управлению? — сказал Конфуций.

Гонец уехал, и вскоре князь Янь пригласил Конфуция к себе. Некоторое время при его дворе мудрец работал над реформами законов и нравов, чем

принёс огромную пользу правителю, потом решил вернуться домой. На прощание князь Янь спросил:

— Как нужно управлять народом, чтобы народ не роптал и княжество благоденствовало?

— Управлять нужно, как ветер, который только пригибает траву, но не вырывает её с корнем. Управлять нужно, как дождь, выпавший ко времени. Когда дождь вовремя проливается с небес, все люди радуются, — отвечал мудрец.

Но и уча других, Конфуций не переставал учиться сам. Прослышав о знаменитом музыканте Ши Сяне, он захотел усовершенствовать свои музыкальные способности.

При первой встрече Ши Сянь наиграл на старинном цине Конфуцию мелодию. Через несколько дней Конфуций блестяще повторил её, получив похвалу именитого музыканта.

— Не торопитесь хвалить меня, учитель, — возразил Конфуций. — Я выучил мелодию, но пока не освоил ритм.

Поупражнявшись ещё несколько дней в тени раскидистого дерева, Конфуций снова пришёл к Ши Сяню.

— Теперь ты играешь совсем хорошо, — сказал музыкант. — Больше мне нечему научить тебя.

— Нет, учитель! — опять возразил Конфуций. — Я ещё не могу передать настроение песни.

Спустя несколько дней Конфуций вновь исполнил мелодию, передав тончайшие оттенки её. Ши Сянь был растроган до слёз.

— Мне кажется, — сказал Конфуций, — что эту мелодию написал муж видом смуглолицый и высокий. Его дух обнимал все пределы небес. Таким мужем мог быть только величественный Вэнь Ван, основоположник дома Чжоу.

Изумлённый Ши Сянь поднялся со своего сиденья и склонился перед Конфуцием:

— Это я должен быть твоим учеником! — произнёс он. — Ты угадал! Знатки старинной музыки говорят, что эту мелодию сочинил именно сам Вэнь Ван!

Так, прилежно трудясь, Конфуций умел проникать в суть вещей. Своим ученикам он впоследствии всегда говорил: «Тщательно изучайте музыку. Музыка показывает нам союз Неба с землёй. Если в стране есть богослужение и музыка, страна всегда будет процветающей. Музыка облагораживает душу».

Г л а в а 9

КАК КОНФУЦИЙ ВИДЕЛ ТО, ЧЕГО НЕ ВИДЯТ ДРУГИЕ

Однажды философ во дворце беседовал с молодым князем Ци. Во время их беседы вошёл посыльный и сказал, что имеет сообщить нечто важное. Это было известие из княжества Чжоу, что молния сожгла в императорском дворце один из храмов, посвящённых памяти предков.

— Храм Ливана, по всей вероятности! — заметил Конфуций.

Князь Ци удивился:

— Почему ты так думаешь?

— Рано или поздно Небо посылает знамения своего гнева на нарушителей законов. Ливан был злой государь. Он отменил многие мудрые постановления. Он устроил при своём дворе безумную роскошь, щеголял своими лошадьми и одеждами. Небесный гнев, уничтожив храм Ливана, предостерегает князей, чтобы они не подражали Ливану!

Тогда князь обратился к гонцу:

— Отвечай! Какой именно храм пострадал от молнии?

— Храм Ливана! — ответил гонец.

После долгого размышления князь сказал окружающим.

— Конфуций достиг вершины премудрости. Он видит происходящее далеко, также ясно, как будто это происходит у него перед глазами.

Но хоть молодой князь и поражался мудрости Конфуция, осыпал его ласками и подарками, оказывал ему большой почёт при дворе, однако не исполнял его советов и наставлений. Ему было приятно, что при нём живёт знаменитый философ. Но всё своё свободное время он отдавал забавам и развлечениям. Через год он предложил Конфуцию в дар целый город. Однако Конфуций отказался, объяснив, что он ничем не заслужил подобного дара. И, видя бесполезность своего дальнейшего пребывания у Ци, покинул его гостеприимный дом, так как всегда следовал правилу — «появляйся, когда в государстве царит закон, и скрывайся в эпоху беззакония».

Глава 10

ВСТРЕЧА КОНФУЦИЯ И ЛАО ЦЗЫ

Вто время в окрестностях Чжоу в уединённой пещере жил великий китайский мудрец Лао Цзы. Про него ходили разные легенды. Люди говорили, что мать, прежде чем родить его, носила его во чреве около шестидесяти лет. Поэтому он родился весь седой: так его и называли — Лао Цзы, что означает — седой мальчик.

Конфуций оставил поодаль сопровождавшую его свиту учеников и почтиительно приблизился к жилищу философа. Маленький, высохший словно мушья Лао Цзы сидел на камне. Взгляд его был устремлён то ли вдаль, то ли в себя. Он не сразу заметил возникшего перед ним Конфуция. Казалось, что сидящий на камне сам есть продолжение камня, что он не умеет ни слышать, ни говорить. Наконец он обратил свой взор на пришедшего. Мгновением ока заметил он и группку учеников, сгрудившихся словно стая птиц неподалёку.

— Мудрец чуждается света, — сказал Лао Цзы, и голос его был подобен скрипу могучего дуба в порывах ветра. — Он не только не домогается, но убегает почестей.

— Разве мудрец не подобен ясному месяцу, который освещает ночную тьму и не убегает за тучу, даже если ему поклоняются за то? — спросил Конфуций.

— Истинно добродетельный не выставляет напоказ своей добродетели. Мудрец подобен хранителю сокровищ, он скрывает его от всех, чтобы не похитили недостойные, а не трубит на всех углах, что у него есть сокровище!

— Но не рискует ли он, умерев, унести безвозвратно сокровище с собой? — усомнился Конфуций.

— Разве мудрец не знает, что после смерти хранителя истинное сокровище само выходит наружу, и вот тогда его собирают достойные. Это всё, что я хотел сказать тебе!

После этого Лао Цзы вновь обратил свой взор вдаль и окаменел. Только ветер развеивал его длинные седые волосы, струящиеся от его неподвижного лба.

Долго молчал и Конфуций. В глубокой задумчивости возвратился он к своим ученикам, но на их любопытные взгляды, только крепче сжимал губы. Вечером он сказал:

— Вообразите себе дракона, который кольцами своего туловища объемлет всю Вселенную... Таков разум Лао Цзы!

После этого он ещё несколько дней пребывал в молчании. И однажды ученики застали его внимательно смотрящим на течение реки. Лёгкий поток, журча огибал камни, в узком месте бурлил и с силой пробивался вперёд, а на широком пространстве становился спокойным и плавным.

— Учитель! — не выдержал один из учеников, — Почему вы так долго смотрите на эту воду. Ведь она — вещь, кажется, самая обыкновенная!

— Верно говоришь, — отвечал Конфуций, — течение реки — вещь самая обыкновенная, известная каждому. Но не каждый может сравнить эту воду с учением. Воды реки текут безостановочно днём и ночью до самого устья, а затем впадают в море. Так и учение, оно текло таким же образом до нашего времени, мы, как живые волны, понесём его вдаль и передадим следующим поколениям, и так до скончания веков будет наполняться это море. Не будем же подражать мудрецам, которые мудры только сами для себя и не делятся своей мудростью с другими.

Все поняли, что это он говорил про Лао Цзы. Так обозначилась разность между учением Лао Цзы и Конфуция.

Г л а в а 11

КАК КОНФУЦИЙ СЛУШАЛ МУЗЫКУ ШАО-ЮЙ

Однажды Конфуций во дворце некоего князя слушал музыку. В тот день исполняли произведение, созданное богдыханом Шунем ещё в древности. Это произведение называлось «ШАО-юй», считалось, что оно рассеивает мрачные мысли и укрепляет сердца в любви к долгу. Музыка произвела такое сильное впечатление на философа, что на три месяца впал он в глубокую

задумчивость. Три месяца не отвечал он на вопросы учеников, а всё молчал, только изредка наигрывая отдельные кусочки потрясшей его мелодии. Три месяца отказывался Конфуций от изысканной пищи, которую заботливо предлагали ему ученики. Три месяца размышлял он о музыке «Шао-юй».

Так глубоко Конфуций умел проникать в глубь вещей.

Г л а в а 12

КАК КОНФУЦИЙ СТОЙКО ПЕРЕНОСИЛ ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ

В то время когда жил Конфуций, в Поднебесной частенько случались междоусобные войны, нарушающие размеренную жизнь крестьян. Во время этих войн опустошались поля, погибали люди, иных уводили в плен враждебные войска. Конфуций считал, что войны как испытание посылает людям Небо. Гневается оно на людей за то, что уклонились живущие от традиций своих предков, пренебрегают соблюдением жертвоприношений духам, непочтительно исполняют церемонии. Но если уже случилась война, то надо проявить всю свою волю и самообладание, потому что Небо не любит слабых и безвольных. Сам он в минуты смертельной опасности являл порою образцы беспримерного самообладания. «Могущественного правителя можно лишить войска, но даже последнего простолюдина невозможно лишить его воли!» — частенько говорил мудрец.

Однажды вместе с учениками он был окружён враждебными воинами. Через несколько дней у них закончилась вся пища. Не ведая, что их ждёт завтра, ученики начали роптать и жаловаться, что их довели до крайности. Конфуций же как ни в чём не бывало продолжал каждый день упражняться в игре на лютне и читать книги. День ото дня положение осаждённых ухудшалось. Иссякали на глазах запасы воды. Но утром Конфуций вновь брался за лютню. Это удивительное спокойствие учителя вызвало возмущение учеников.

— Как ты можешь, учитель, целыми днями бряцать на лютне, когда мы погибаем! Все мы завтра умрём! Ты называл себя мудрым, мы надеялись на тебя! Мы полагали, что из каждого сложного положения, ты сможешь вывести нас. И вот мы на грани гибели, а ты даже не хочешь утешить нас...

— Отойдите от меня, малодушные! — ответил философ. — Не я ли учил вас благородству?! Благородного мужа можно довести до крайности, но из него нельзя сделать ничтожество! У многочисленной армии можно отнять главнокомандующего, но даже у обыкновенного человека нельзя отнять его волю.

Вскоре неприятельское войско ушло, и опасность миновала. А ученики долго ещё вспоминали этот случай и удивлялись мужеству своего учителя.

Глава 13

О ТОМ, КАК КОНФУЦИЙ СОЗЕРЦАЛ ПТИЦ В КЛЕТКЕ

Гуляя с учениками в окрестностях города, Конфуций увидел птицелова. Птицелов был уже сед, но маленькая фигурка его походила на фигурку юноши. Он сидел прямо на земле, подложив под себя босые, пыльные ноги. Конфуций подошёл к нему и заглянул в клетку. От его пристального взгляда не ускользнуло то, что в клетке находились только молодые птицы.

— Где же старые птицы? — спросил мудрец.

— Прежде чем приблизиться к приманке, старые птицы сначала всё исследуют. Они хитры и недоверчивы. Если они откроют для себя что-то опасное, они не только сами не приблизятся к приманке, но и уведут от неё молодых птиц. В сети чаще попадают молодые птицы, отделившиеся от старых, и очень редко старые, следовавшие примеру молодых, — так отвечал птицелов.

— Так и с людьми! — сказал Конфуций, обращаясь к своим ученикам. — Высокомерие, задорность, неопытность — вот главные источники ошибок молодости. Нахватавшись верхушек знания, молодые считают себя уже способными жить самостоятельно, они считают себя героями мудрости и добродетели, едва им удаётся совершить какое-нибудь дело. Так, увлекаясь, они попадают в первую же расставленную для них ловушку. Также глупы и старые, увлекающиеся малейшим проблеском дарования у молодых, они вверяются им и вместе с ними попадают в ловушку.

Он дал птицелову достаточно денег и выпустил всех птиц на волю.

А вскоре пример вышесказанного все увидели воочию.

Глава 14

КАК КОНФУЦИЙ БЫЛ НЕДОВОЛЕН УЧЕНИКОМ

Правитель области Пу пригласил к себе в помощники ученика Конфуция Цзы Лу, имеющего доброе сердце и желание служить людям. В тот год в области Пу часто шли сильные дожди, разлившаяся вода подмыла и повредила дамбы и каналы. Жители оказались перед угрозой наводнения.

Цзы Лу немедленно приступил к своему служению. Первым делом распорядился он починить дамбы и каналы. Прослышав об этом, Конфуций согласно покивал головой и промолвил:

— Хорошо поступает Цзы Лу.

А тем временем сердце Цзы Лу горело желанием принести пользу народу. Узнав, что простые люди в провинции Пу живут тяжело, многие недоедают, так как последний урожай был плох, Цзы Лу распорядился выдавать всем нуждающимся по корзинке с едой и кувшину рисового отвара из своих запасов. Прослышав об этом, Конфуций нахмурился. В этот же день он послал к Цзы Лу человека с требованием прекратить раздачу еды. Ученики

Конфуция недоумевали: разве их учитель не сам всегда учил их состраданию и милосердию к бедным?

На следующий день, лишь солнце осветило алтарь с абрикосовым деревом, в тени которого Конфуций любил беседовать со своими учениками, как приехал Цзы Лу. Вид у него был недовольный и разочарованный.

— Учитель! — обратился он к Конфуцию. — Объясни, почему ты требуешь, чтобы я прекратил раздачу пищи нуждающимся! Моё сердце горит желанием облегчить людям страдания. Почему ты не позволяешь мне быть человеческим?

Конфуций покачал головой:

— Одной человечности недостаточно, нужно ещё смирение и разумение. Если ты думаешь, что люди голодают, почему ты не доложил об этом своему правителю, чтобы он сам открыл свои амбары и закрома и накормил народ? Вместо этого ты демонстрируешь собственное милосердие, тем самым показывая, что твой господин этого милосердия не имеет! Таким образом, ты напрямую вредишь своему господину. Если ты не прекратишь свои неразумные действия, тебе не избежать наказания!

Понял тогда Цзы Лу свою ошибку, низко поклонился учителю за науку и удалился.

Г л а в а 15

КАК КОНФУЦИЙ УЧИЛ ОСТОРОЖНОСТИ В ОБРАЩЕНИИ СО СЛОВОМ

Учитель всегда действовал быстро и скоро, если от него кому-то требовалась помощь. Был он тороплив и тогда, когда призывал его к себе правитель. Не дожидаясь, пока ему запрягут телегу, Конфуций тут же вставал со своего сидения и отправлялся в путь пешком. Но зато в речах он всегда соблюдал осторожность и неторопливость. Если к нему обращались с вопросом, на который он не знал ответа или который требовал рассуждения, часто он ничего не отвечал. И только спустя какое-то время вопрошающий мог получить ответ на свой вопрос.

— Даже четвёрка лошадей, — говорил Конфуций, — не в состоянии догнать неосторожное слово, вылетевшее с языка.

Также никогда с торопливостью он не ожидал результатов своего учения.

— Только с наступлением холодного времени года мы узнаем, что сосна и кипарис опадают последними, — говорил он.

Г л а в а 16

О ТОМ, КАК КОНФУЦИЙ ПРИЗНАВАЛ СВОИ ОШИБКИ

И всё-таки, как бы ни был мудр человек, жизнь его никогда не застрахована от ошибок. Только мудрый тем и отличается от остальных, что умеет учиться и на собственных заблуждениях.

Конфуций дружил с Люся Цзи. Достойный и уважаемый это был человек. Но был у него младший брат, известный в Поднебесной под именем разбойника Чжи. Имя этого разбойника наводило страх на всех жителей. Из года в год, имея в своём отряде девять тысяч воинов, скитался разбойник Чжи по городам и сёлам, грабя знатных, отнимая у них буйволов и коней, уводя в плен их дочерей и жён. После очередного безжалостного нападения на одно из селений Конфуций сказал Люся Цзи:

— Ты — уважаемый человек, умный и мудрый! Неужели ты не можешь найти слов, чтобы вразумить своего младшего брата, который наводит страх на весь мир?

— У моего брата — сердце словно кипящий котёл, а голова словно могучий вихрь! Я не могу разговаривать с ним.

— Тогда я поговорю сам с твоим братом! — сказал Конфуций.

— Лучше не ходите к нему, — предупредил Люся Цзи, — это небезопасно!

Но Конфуций не послушался совета Люся Цзи. Взяв с собой двух учеников, он отправился к разбойнику Чжи в надежде умиротворить сердце злодея.

В это время разбойник пировал со своими людьми на воле. Когда сообщили ему о визите Конфуция, глаза его засверкали, как молния, а волосы вздыбились вверх от гнева.

— А, это тот самый искусный лжец Конфуций? Он не пашет землю и не ткёт пряжу, он зарабатывает себе на жизнь, шлёпая губами и молотя языком! Что ж, пусть войдёт ко мне. Если его слова мне понравятся, то он будет жить, а если нет — он умрёт!

Войдя к разбойнику, Конфуций два раза поклонился и чуть отступил назад.

— О, уважаемый военачальник, — сказал он, — я вижу в вас столько достоинств, сколько природа редко отпускает одному человеку. Вы красивы, вы смелы и решительны, вы ловко владеете оружием, вы собрали вокруг себя людей преданных и удалых. Я думаю, вы достойны лучшего титула, чем «разбойник Чжи». Я уговорю правителей юга, севера и востока построить для вас большой город, где вы, отложив оружие, сможете достойно жить и приносить жертвы предкам.

Разбойник Чжи, слушая такие речи, заскрежетал зубами:

— О, глупец, обмотанный поясом из шкуры дохлого быка! Нет моей заслуги в том, что я — красив. Это заслуга моих родителей! Ты — лживый обманщик, не постеснявшийся льстить мне в лицо! Разве ты не знаешь, что те, кто льстят в лицо, любят клеветать за глаза. Ты хочешь приручить меня, посулив мне выгоду. Но я хочу жить своей волей, хочу наслаждаться своими желаниями, и ты мне — не указ! Уходи немедленно, пока я не засолил твоё лживое тело в грязной бочке!

Конфуций поспешно вышел от разбойника и сел в экипаж. Всю дорогу он тяжело дышал и два раза выронил вожжи. На обратном пути он встретил своего друга Люся Цзи.

— Ты был прав, Люся Цзи! — сказал печально мудрец. — Я хотел погладить тигра, но чуть было сам не угодил ему в пасть.

А вскоре пришло известие, что разбойника Чжи растерзали в лесу дикие звери. И никто не оплакал его безвременную смерть. Наоборот, многие вздохнули с облегчением. Только Конфуций покачал головой и сказал:

— По своей воле стубил человек свою жизнь. И кости его растащили гиены и шакалы.

Впоследствии он всегда говорил ученикам, что есть три влечения, доставляющих человеку пользу: это влечение учиться, познавать церемонии и влечение к музыке. А три вредных влечения — это находить удовольствие в роскоши, в разгуле и в страсти к пирам.

И при этом добавлял: «А настоящие ошибки — это те, которые не признаются и не исправляются человеком. Признанная же ошибка уже приносит человеку не вред, а пользу».

Глава 17

КАК КОНФУЦИЙ СПАС САМОУБИЙЦУ

Однажды Конфуций в сопровождении своих учеников ехал в провинцию Ци. День был просто великолепен. Ярко светило солнце. Прохладный ветерок обвевал путешественников. Пела высоко в небе звонкоголосая птица. Глядя на расстилавшиеся перед ним равнины, Конфуций думал о красоте существующего мира, о том, как прекрасно человеку жить в нём.

Вдруг в стороне от дороги раздались хриплые стоны. Приблизившись, все увидели человека, который пытался повеситься на высоком дереве. Тут же несчастный был освобождён от петли.

— Что побудило тебя прибегнуть к самоубийству? — спросил его Конфуций.

Тогда спасённый поведал историю своей жизни. Он рассказал, что с детства мечтал стать мудрецом, поэтому рано покинул свою родину и отправился путешествовать из княжества в княжество. Много он повидал и многому научился, но, когда возвратился домой, то узнал, что родители его уже умерли, а он не скрасил своим присутствием их последние дни. Познав это, он решил научить других поступать правильно и, как только миновал срок траура, стал служить у князя Ци, всех поучая и делая всем наставления. Но никто не слушал его. А некоторые даже презирали. Не хотел его слушать и его единственный сын. И, когда он надоел ему своими советами и наставлениями, сын просто ушёл из дому и стал изучать мудрость на стороне.

— О, горе мне, горе! — говорил несчастный. — Я учился мудрости, но не сумел стать ни хорошим сыном для своих родителей, ни достойным гражданином, ни уважаемым отцом семейства. О, горе мне!

Он продолжал плакать и рвать на себе волосы, намереваясь снова продолжить своё намерение покончить с жизнью. Конфуций сказал ему:

— Ты обезумел от горя. Но если в тебе осталась ещё хоть капля здравого смысла, выслушай меня внимательно. Как бы ни велики были твои беды, они

ничто по сравнению с малодушием. Всё в жизни можно поправить, и только самоубийство — преступление непоправимое! Одумайся и пойми, что прежде чем сделаться мудрецом, нужно сделаться просто человеком. Никто не может безнаказанно пренебрегать своими человеческими обязанностями. Первой же твоей обязанностью было любить родителей и угождать им. Ты её не исполнил. Это и стало главной причиной твоих несчастий. И всё же никогда не поздно стать человеком. Иди домой и примись за свои труды. Жить — это тоже человеческая обязанность, которую надо стараться исполнять изо всех сил. Только ради спасения другого человека мы имеем право рискнуть своей жизнью.

Так сказал мудрый Конфуций. И этот человек пошёл домой и трудился, и стал уважаем в народе, и сын вернулся к нему. И они были счастливы.

Некоторые же из учеников Конфуция, имеющих родителей, после того случая испросили у него разрешения вернуться домой, чтобы служить им и заботиться о них. И Конфуций их с радостью отпустил. «Это хорошие ученики, они уже усвоили мои уроки» — сказал он.

Г л а в а 18

КАК КОНФУЦИЙ РАССПРАШИВАЛ О ЦЕРЕМОНИЯХ

Конфуций приехал в княжество Чжоу и направился в храмы, где богдыханы воздавали почести своим предкам. Зная, что он великий знаток всяческих церемоний, начальники-мандарины, которые заботились о храмовых помещениях, приняли его с величайшим почётом и усадили на самое высокое место. Во время беседы Конфуций всех поражал своими знаниями. Когда же заговорили об обычаях и церемониях, принятых в Чжоу, Конфуций стал расспрашивать так подробно и входить в такие мелочи, что один из присутствующих удивился:

— О нём говорили, что он всё знает, а между тем он расспрашивает и расспрашивает!

Услышав эти слова, Конфуций ответил:

— Вот в этом-то и заключаются церемонии.

Г л а в а 19

КАК КОНФУЦИЙ УЧИЛ ЖАДНОГО ПРАВИТЕЛЯ БЫТЬ ЩЕДРЫМ

Междоусобицы и смуты, господствовавшие в то время в Поднебесной, ослабляли страну. С болью смотрел Конфуций, как землепашцы оставляли порой свои поля и упражнялись в стрельбе из лука и других военных упражнениях. В княжестве Лу к общим смутам присоединилась ещё и другая беда — неурожай. Тощие пашни не могли прокормить страждущих. Продукты подорожали. Кругом слышался ропот и недовольство. Первый министр

пригласил Конфуция во дворец и стал спрашивать его советов. К крайнему удивлению учеников, видевших Конфуция всегда щедрым на советы и поучения, на этот раз учитель отвечал весьма скудно и неохотно.

— Что случилось, учитель? — спросили они потом. — Почему вы не захотели поделиться своими знаниями с министром, который так хотел услышать вашу мудрость?

— Не поговорить с человеком, с которым можно говорить, значит потерять человека. Поговорить с человеком, с которым нельзя говорить, — значит потерять слова. Умный не теряет ни человека, ни слов. Министр — жадный и хитрый человек, — отвечал Конфуций, — не о народной пользе печётся он, а только об умножении своих доходов. Он хотел выведать у меня, как выжать из народа последнее. Я не желаю участвовать в его хитростях.

Несмотря на такое поведение Конфуция, на следующий день ему принесли от министра поистине царский подарок при надвигающемся голоде — 1000 мер риса! Министр любыми путями хотел получить расположение Конфуция. Но Конфуций даже не поблагодарил дарителя. Принимая подарок, он имел крайне суровый вид. Ученики опять пришли в недоумение.

— Учитель, если тебе не нравится министр, ты мог бы отвергнуть его подарок. Но раз ты его принял, почему же ты не поблагодарил его?

— Если бы я отверг подарок вельможи, я бы проявил гордость и презрение. Я принял подарок и сейчас же велю раздать его бедным от имени вельможи, не взяв себе ни единого зёрнышка. Теперь у министра будут сотни благодарных. Может быть, увидев подобные действия, он поймёт, что значит быть милосердным.

Глава 20

КАК КОНФУЦИЙ УЧИЛ СЕРЕДИНЕ И ПОСТОЯНСТВУ

Так Конфуций учил своих учеников:

— Мир, в котором мы живём, дан нам Небом. Он называется Природой. В природе во всем существуют законы. Например, если бросить камень с высоты, то он полетит вниз, к земле, а не вверх. Это закон природы. Он соблюдает порядок на земле. Если бы этот закон нарушался, и камни летали не вниз, а вверх, то всё бы в природе нарушилось. Нарушилась бы и сама природа. Человек — часть природы. Ему тоже даны законы, согласные с природой. Если он живёт согласно с природой, он счастлив. Если же нарушает её законы, то прежде всего страдает он сам.

Великий закон, данный человеку Природой и Небом, называется серединой и постоянством. Он проявляется во всём. Если сажающийся за еду не будет соблюдать середины и постоянства, то он умрёт либо от голода, либо от обжорства. Истинный мудрец тот, кто избегает во всём крайностей.

Однажды в тронном зале дворца богдыхана Конфуций обратил внимание на большие, сплетённые из прутьев ведра, предназначенные для подъёма

воды из колодца. Он попросил одного из мандаринов зачерпнуть воды. Мандарин взял ведро и с размаху бросил его в колодец. Ведро, переполнившись водою, погрузилось на дно так, что мандарину не хватило сил вытянуть его на поверхность.

Тогда Конфуций попросил другого мандарина зачерпнуть воды. Взяв другое ведро, мандарин осторожно опустил его в колодец, но лёгкое ведро плавало на поверхности, и мандарин не смог зачерпнуть ни капли.

— Придётся зачерпнуть воды самому, — сказал Конфуций.

Осторожно покачивая из стороны в сторону, он опустил ведро в колодец ни быстро и ни тихо, а так, что вода наполнила его настолько, что без труда оно было поднято на поверхность.

— Вот вам пример середины и постоянства. Этого искусства надо держаться и при управлении народом. Излишняя слабость также, как и излишняя суровость, вредны. И от того, и от другого народ становится неуправляемым.

Глава 21

О СЛАВЕ И ПОЧЕСТЯХ

Глава о Конфуции разносилась по всей Поднебесной. Одни поклонялись ему и старались следовать его примеру. Другие приглашали его к себе из любопытства, но все слова мудрого мужа пролетали у них мимо ушей. Третьи считали его за чудака, случайно выделившегося из общей массы. В общем, как это и бывает с людьми известными, иные поносили его, иные хвалили. Но, казалось, что всё это не достигает ушей Конфуция. Он так же был прост и спокоен, так же учтив и расположен к людям. Всё было в жизни Конфуция. Бывали дни, когда он восседал рядом с правителями в богатстве и золоте, бывали дни, когда они с учениками голодали и бедствовали. А однажды в княжестве Чжэн министры из зависти и боязни опасного соперника заключили Конфуция вместе с учениками в темницу, только через неделю они были освобождены войсками соседнего княжества. Но в богатстве он не заносился, а в бедности и лишениях не терял присутствия духа. Собирая своих учеников в тени раскидистого абрикосового дерева, он говорил им:

— Когда мудрец имеет богатство и положение в обществе, он будет жить, как богатый. Когда он находится в бедности, он будет жить, как бедный. Когда он находится в несчастье, он будет действовать так, как нужно в беде. Когда мудрец находится в низком положении, он не оскорбляет властей. Он строг к себе, но от других ничего не требует. Он всегда доволен своим положением, никогда не жалуется на Небо и никого не обвиняет за свою участь. И поэтому для мудреца нет ничего, чего бы он не мог достигнуть.

Один из учеников спросил его:

— Значит, следуя вашей мудрости, я смогу достигнуть славы и почестей?

— Кто стремится к славе и почестям, никогда не станет мудрецом. Мудрец заботится прежде всего о собственном нравственном самоусовершенствовании.

вании. Но кто станет мудрецом, тот непременно удостоится похвалы Неба и людей.

— Но ведь это может произойти уже после смерти мудреца! — с горечью воскликнул ученик.

— Чаще всего это и происходит после смерти, — спокойно ответил Конфуций.

Г л а в а 22

КАК КОНФУЦИЙ РАССУЖДАЛ О БЕЗМОЛВИИ

Конфуций никогда не говорил слишком много. Он предпочитал выражаться ёмко и кратко. Но однажды в конце жизни он удивил своих учеников, заявив, что больше не хочет говорить.

— Учитель! — воскликнули ученики. — Если вы перестанете говорить, что же мы передадим потомкам?

— Разве Небо что-нибудь говорит? А между тем времена года исправно сменяют друг друга, и всё живое растёт. Человек слишком много говорит и тем самым обесценивает свои слова. Мудрый правитель, чтобы повелевать миром, должен просто сидеть лицом к югу. Конечно, на это способны лишь совершенные. Но не нужно говорить там, где правда жизни светится сама, где говорит сама за себя полнота бытия.

— Учитель, ты говоришь какие-то странные вещи, — зароптали ученики. — Разве не все учения в мире построены на словах?

— Никто в мире не понял меня, — грустно сказал Конфуций и, действительно, замолчал.

Но ведь, действительно, не могут несовершенные понять совершенного. Чтобы понять смысл этих слов, надо стать равным Конфуцию.

Г л а в а 23

КАК КОНФУЦИЙ ПОСЕТИЛ ГОРУ ТАЙШАНЬ

Красива страна Поднебесная с её холмами и полями, ручейками и реками, но самое красивое место в ней — это гора Тайшань. Не зря древние цари выбрали её для хранения святынь. Добраться до вершины её можно только крутыми и извилистыми тропинками, и каждый входящий не раз подвергнется опасности на пути: покрыта она густыми лесами, а тропинки то и дело пересекают обрывы и пропасти. Но тот, кто достигнет вершины, будет вознаграждён сполна. Вид на вершине, открывающийся на все четыре стороны света, настолько великолепен, что душа человеческая приходит в неописуемый восторг от увиденного.

Однажды, освободившись из темницы, куда был брошен философ вместе со своими учениками по доносу завистливых министров княжества Чжэн, Конфуций решил посетить священную гору, чтобы вознести благодарственные

молитвы небу. Тяжёлый путь пришлось преодолеть путникам: некогда проторённые тропинки заросли тернием и волчецом, мосты, когда-то соединявшие обрывы и пропасти, обветшали, а многие даже рухнули. Чем выше поднимался Конфуций на гору, тем более хмурилось его обычно приветливое лицо, тем печальнее становился взгляд тёмных, почти чёрных глаз. Когда же он наконец достиг вершины, то сказал ученикам горькие слова:

— Всю жизнь положил я на то, чтобы сохранять обычаи предков, так как только так наша страна может достичь благополучия и процветания, всю жизнь я учил вас чтить своих родителей, соблюдать традиции нашего народа. И что же я вижу теперь воочию? Самое священное место, чтимое древними царями нашими, находится в запустении, никто не следит за сохранностью путей и мостов, невозможно найти проводника, который бы проводил желающего до цели. О, горе нам! Как же без проводников достичь добродетели? Как найти путь, если страсти заглушили все добрые посевы? Как учить добру, если никто не хочет слушать благого наставления?

Долго сидел Конфуций на вершине Тайшаня в слезах и стенаниях. И вместе с ним плакали и стонали его верные ученики, которые тогда поклялись записать все, что они знали о Конфуции в отдельную книгу «Лунь юй» («Беседы и суждения»), так как любой человек рождается, старится и умирает, а книга живёт вечно, её хранят и переписывают благочестивые люди. Много было гроз и пожаров, наводнений и стихийных бедствий, умер великий Конфуций, а следом время унесло и его учеников, а книга «Беседы и суждения» дошла к нам из мглы веков, и каждый сегодня может прочесть её удивительные страницы.

Г л а в а 24

КАК КОНФУЦИЙ ЗАКОНЧИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ

После семидесяти лет Конфуция стали посещать мысли о смерти. Его верная жена Ци Гуань умерла уже четыре года назад. И всё чаще и чаще Конфуций говорил ученикам:

— Всё на свете появляется и исчезает. За обновлением следует обветшание и разрушение, а там опять обновление. И так до бесконечности.

Философ оглядывался на свою жизнь: в пятнадцать лет он обратил свои помыслы к учению, в тридцать имел прочную основу, в сорок у него не осталось сомнений, в пятьдесят он знал веления Небес, в шестьдесят настроил свой слух, в семьдесят он следовал зову сердца, не нарушая правил. Он видел, что Небо было благосклонно к нему: жизнь его была полна событий, впечатлений и размышлений. Ещё раз он взойшёл со своими учениками на гору Тайшань, чтобы возблагодарить Небо за все милости и щедроты, которыми была полна его жизнь. Затем он привёл своих учеников к одному из холмов, окружавших город. Здесь они воздвигли алтарь и возложили на него шесть книг.

Через несколько дней он собрал учеников и объявил им свою последнюю волю:

— Запомните, я стал знаменитым учителем, не потому что я много знаю, а потому, что все мои знания пронизывает одна нить, все они подчинены одной цели. Завещаю вам древние книги, исправленные мной. Это драгоценный свод знаний и правил мудрости. Книги эти вы должны передать потомству во всей чистоте, ибо моё учение есть учение, завещанное нам нашими праотцами.

Вскоре Конфуций впал в бессознательное состояние и по прошествии семи дней скончался на семьдесят третьем году своей жизни. Верные ученики закрыли глаза покойного, вложили ему в рот по обычаю три щепотки риса и облекли тело в одиннадцать различных одеяний. Верхнее из них было то, в котором мудрец обыкновенно являлся ко двору. На участке земли, предназначенном для погребения, были насыпаны три кургана. На среднем, самом высоком, где и был захоронен Конфуций, посадили дерево. Предав тело земле, ученики наложили на себя трёхлетний траур, а Цзы Гун дал обет соблюсти шестилетний траур, в продолжение которого он жил на могиле своего учителя в специально выстроенной хижине. Сто человек вместе со своими семействами поселились близ места захоронения мудреца и образовали целую деревню, названную Кун-ли. Причём жители этой деревни добровольно попросили внука Конфуция (сын Конфуция умер ранее) быть их господином.

Князь Лу, узнав о кончине философа, чтобы загладить несправедливости и обиды, нанесённые ему при жизни, приказал выстроить часовню в его честь. В этой часовне стали хранить сочинения Конфуция, его парадные одеяния, музыкальные инструменты, его домашнюю мебель и дорожную колесницу. Каждый год приходят в эту часовню к Конфуцию на поклонение. Кроме того, со временем в каждом городе появились часовни в память Конфуция. Потомки его были возведены в звание потомственных дворян, а самому философу приказано было отдавать царские почести: скульптурные изображения его увенчивали императорской шапкой и облачали в царские одежды.

Великим учителем называли китайцы Конфуция на протяжении множества веков. Но ни царские почести, ни посмертная слава не порадовали старого философа, если б имел он возможность с высоты неба, из другого мира, посмотреть на нас, ныне живущих. И почести, и слава — всё дым! А если б увидел он здесь, на земле, тех, в ком отозвалось через поколения и расстояния его благое слово, кто хоть на йоту попробовал стать лучше и совершенней, следуя его нравственному примеру, то, несомненно, разгладились бы глубокие морщины на его некрасивом лице и засияло бы это лицо мудрой улыбкой. Потому что только тот, кто идёт путём истины, только тот и имеет право называться человеком.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Китай и китайцы

Китай — так эту древнюю страну называют обычно европейцы. Сами же жители Китая предпочитают называть свою страну поэтически — Поднебесная империя, или Страна четырёх морей, или Срединное государство.

Уже в глубокой древности китайцы известны как один из наиболее образованных и культурных народов. На очень высокой ступени развития у них стояло земледелие. Они первыми изобрели бумагу. Секрет знаменитого китайского шёлка также очень долго был известен только одним китайцам. Принадлежит китайцам и такое изобретение, как порох. Сильны они были в астрономических знаниях, благодаря чему первые установили правильное летоисчисление. С давних пор они считали в году 366 дней, а для уравнивания скоростей в движении луны и солнца был установлен високосный год. Употребление магнитной стрелки в качестве компаса также идёт у китайцев с древнейших времён.

Но нравы древних китайцев были очень жестоки. У них, как у и многих древних народов, был распространён обычай кровной мести. Способы, которыми китайцы лишали друг друга жизни, были весьма изощрёнными. Поэтому появление таких людей, как Конфуций и его последователь Мен Цзы, давало китайцам нравственный пример человечности, милосердия и доброты.

Богдыханы

Небо считали китайцы владыкою и повелителем мира, а землю — повелительницей. Таким образом, небо считалось у них мужским началом Ян, а земля женским началом Инь. Вместе с поклонением небу и земле они почитали духов, а также поклонялись душам умерших.

Своих великих правителей называли они богдыханами, что означало, что они — сыны неба. Личность богдыхана считалась священной и неприкосновенной, до тех пор пока он своими делами соответствовал повелениям неба.

Первым богдыханом летописи называют мудрого Фуси. Он жил за 3468 лет до Рождества Христова. Ему приписывается установление религиозных обрядов, изобретение музыкальных инструментов: 27-струнной лиры (цин) и 36-струнной гитары (сы).

Мандарины

Так в старинном Китае называли крупных чиновников, состоящих на государственной службе. Любопытно, что, когда мандарины собирались при дворе китайского императора, им не приходилось гадать, где им лучше встать: на плитах пола были начертаны иероглифы, указывающие звание и должность каждого мандарина. Именно в этом месте им и полагалось стоять.

Путь — Дао

Дао переводится на русский язык, как Путь. Это слово очень многозначно в Китае. Конфуций понимал Путь как следование законам природы.

Природа дана нам Небом, говорил Конфуций, следовательно, Путь — это нравственное самоусовершенствование человека. В человеке, следующем истинным Путём, проявляется духовная сила — сила Неба.

Церемонии

Церемониями называют ряд действий символического характера, традиционно обязательных в тех или иных случаях общественной или религиозной жизни. Церемонии могут охватывать различные сферы человеческой жизни, они предписывают, как надо здороваться, что говорить, что делать при определённых обстоятельствах. Особое внимание церемониям уделялось в Китае. Там даже существовали департаменты этикета и религиозных обрядов, которые следили за соблюдением всех правил и предписаний населением. Слово «церемония» кажется несколько устаревшим. Но не стоит думать, что современный человек свободен от соблюдения различных церемоний. Когда он надевает обручальное кольцо после свадьбы, когда подбирает соответствующий костюм, идя в гости, когда возлагает цветы на могилу, когда принимает присягу солдат или когда даёт клятву Гиппократу врач — всё это соблюдение церемоний.

Конфуцианство

Именно так стали называть философско-этическую систему, разработанную Конфуцием. Она отстаивала незыблемость порядков, установленных Небом. Эта система строго требовала выполнения обрядов, почитания предков, совершения жертвоприношений и так далее.

Сегодня говорят, что Конфуций первым в истории Китая открыл человека, стал учителем человечности. Он всей своей жизнью утверждал, что для человека нет лучшего призвания на земле, чем осознать себя человеком и стать творцом культуры. Конфуцианство оказало большое влияние на формирование и дальнейшее развитие Китая. Оно требовало нравственного совершенствования. И принцип этого совершенствования заключался в замечательных словах — «Не делай другому того, чего себе не желаешь».

У Конфуция было тысячи учеников. По преданию, семьдесят из них прославили своё имя. Поскольку он любил беседовать с ними в тени абрикосового дерева, то школа Конфуция получила ещё название Абрикосовый алтарь.

Каким был Конфуций

Конфуций никогда не садился на рогожку, постланную неровно. Никогда не ел каши, испортившейся от жары или влажности, не ел всего несозревшего или неправильно приготовленного. Он никогда не обходился без имбиря. Но гнушался кашею из обрушенного рису и мясом, изрубленным на мелкие куски. Во время еды учитель не разговаривал.

Если рядом кто-то запевал песню, которая ему нравилась, он охотно подхватывал. При случае, чтобы поддержать застолье, он никогда не отказывался от чарки вина, но никогда не бывал пьян. Он не осуждал весёлых

деревенских гуляний, говоря, что, если лук держать всё время согнутым, он потеряет упругость. Однако, встретив человека, носившего траур, он неизменно принимал печальный вид. Главной его чертой была деликатность. Он был безупречно учтив даже с нищими музыкантами, которых люди из хорошего общества вовсе не замечали.

В случае приказа государя явиться он отправлялся пешком, не ожидая, пока для него запрягут телегу. Сидя в телеге, учитель не оглядывался назад, не говорил быстро и не указывал пальцем. Он спешил в царские покои, словно птица с растопыренными крыльями. В ворота княжеского дворца входил наклонившись, даже если ворота были высоки. Проходя мимо престола, он менялся в лице, ноги его подгибались, он вступал в залу, затаив дыхание, как будто не дышал. Когда же он выходил за дверь и спускался на одну ступеньку, лицо его делалось спокойным. Спустившись с крыльца, он быстро бежал, растопырив руки, и затем благоговейно возвращался на место.

В родной деревне вид имел простодушный, а в храме предков говорил с осторожностью.

Даже в старости Конфуций великолепно стрелял из лука и отличался недюжинной физической силой.

Мен Цзы

Мен Цзы — последователь Конфуция, развивший и обогативший учение своего предшественника. Он жил в 372–289 гг. до нашей эры и стал одним из величайших философов Китая. Мен Цзы считал главным развитие врождённого доброго начала в человеке. Добрые начала проявляются в человечности, чувстве справедливости и долга, в благонравном поведении и интуиции добра. Достигать этого можно было пятью способами: личным примером, упражнением в добродетели, развитием умственных способностей, развитием полезных навыков учеников и беседой с учениками.

Мен Цзы говорил: «Не делай того, что не следует, и не желай того, что не должно, — вот и всё». Только иногда, чтобы человеку понять, чего именно ему не следует делать и чего именно ему не нужно желать, требуется вся жизнь.

Изречения древних китайских мудрецов

Не говори много, потому что при многословии ты всегда скажешь то, чего говорить не следовало.

Не берись разом за много дел, множество дел влечёт за собой множество забот и скорбей.

Не ищи великих радостей и излишнего спокойствия, поиски того и другого — помеха спокойствию.

Оглядываясь на прошлое, ни о чём не сожалей, смотря в будущее, ни о чём не тревожься.

Не пренебрегай исправлением малого зла, запущенное малое зло разрастётся и делается большим.

Говоря или действуя наедине, не воображай, что тебя никто не видит и не слышит.

Никогда не делай того, что рано или поздно повлечёт за собой раскаяние.

Из уст наших могут исторгаться и стрелы язвящие и пламя пожирающее, осторожность предохранит и от стрел, и от огня.

В руках хорошего человека плохой метод становится хорошим, а в руках плохого человека и хороший метод плох.

Как китайцы чтят Конфуция сегодня

Хотя с момента жизни Конфуция уже прошло более двух с половиной тысяч лет, слава о нём и сегодня жива. У подножия Шаньдунских гор в родном городке Конфуция Цюйфу сохранилась старинная усадьба, где живут прямые потомки древнего мудреца.

Сохранилась там и могила самого учителя. Каждый год в честь великого философа Китая проходят пышные торжества. На них под грохот барабанов и гласы труб актёры, одетые в яркие костюмы, с топорами и секирами в руках, исполняют ритуальные танцы, такие, какие исполнялись ещё при жизни Конфуция. Собравшиеся поют хвалебные гимны мудрецу:

Велик, велик, велик Конфуций!
Он знал вселенский путь вещей!
Един он стал с Землёй и Небом —
Учитель тысячи людей!

Андрей Убогий

Андрей Юрьевич Убогий родился в 1963 году в г. Железногорске Курской области, в семье врачей. Окончил Смоленский медицинский институт. Хирург-уролог. Автор нескольких пьес и книг прозы. Живёт в Калуге

ЖЕНЩИНА, ОБЕД, КНИГА

Заметки о Париже

Париж! Париж! К какой плывёт судьбе
Лады Озириса в твоём гербе...?

Максимилиан Волошин

Mon vieux, за тысячу лет нашей истории
мы сделали женщину, обед и книгу...

Исаак Бабель

ЧИТАЮЩИЕ КЛОШАРЫ

Пожалуй, начнём расшифровывать парижскую формулу в обратном порядке: с книги. Тем более поводом для поездки в Париж послужил «Салон русской книги», уже пятый сезон открывающийся в Русском центре, на набережной Бранли.

Как писал Андрей Белый, истинный символизм совпадает с истинным реализмом. Иначе как объяснить, что, явившись в Париж на книжный салон, я въехал в центр города по бульвару Дидро, поселился в отеле рядом с улицей Гёте, а из окна моего номера открывался вид на кладбище Монпарнас — то, на котором покоятся Ги де Мопассан, Шарль Бодлер, Хулио Кортасар и Жан-Поль Сартр?

Но первым живым «книжником», кого я увидел, только-только ступив на парижскую землю, был бомж-клошар, так увлечённо что-то читающий, что ни зимний дождь, засекающий под вокзальный навес, ни мой фотоаппарат несколько его не смущали. И в моей голове сразу возникла тема — «читающие клошары» — которая, то затихая, то делаясь громче, звучала во мне все парижские дни. Согласитесь: трудно не видеть приглашения к размышлению в том, что люди, оказавшиеся на самом что ни на есть социальном

дне, в ряду основных потребностей жизни — таких, как тепло, еда, крыша над головой — видят и чтение. Причём бомж на монпарнасском вокзале был далеко не единственным читающим клошаром, которого я встретил в Париже. Нет, их было много — читающих книги, газеты, журналы и даже тексты с экранов гаджетов — и на улицах Монпарнаса, и в Латинском квартале, и под мостами Сены.

Но клубок мыслей, вызванный этим первым и таким неожиданным впечатлением от Парижа, был ещё слишком запутан, и я не мог выделить в нём главных и связанных нитей; поэтому просто бродил по декабрьскому влажному городу, наступая на жёлтые листья платанов, запятнавшие тротуары, вдыхая вездесущие запахи кофе и свежего хлеба, и с особенным удовольствием переходя улицы на красный свет — как, я заметил, делают все парижане.

Следующее, вслед за клошарами, впечатление было тоже связано с книгами: я с удивлением видел, что старый Париж наполнен книжными магазинами. Идёшь по одной из множества небольших «рю» и видишь: вот окно булочной с круглыми бриошами и длинными багетами, торчащими из корзин, как стрелы из колчана, вот ряды винных бутылок (чьё содержимое, как известно, дало название цвету «бордовый» — от слова «Бордо»), вот переливчатый блеск ювелирной витрины, а вот — книги, книги и книги. Их очень много — полки поднимаются до высоких потолков — и они очень разные: кроме очевидно бульварного чтива, видишь имена Дидро и Гельвеция, Эпиктета и Цицерона.

А Латинский квартал — это вообще целый город знаний и книг. Там есть даже улица «*Nomo erudito*», образованного человека; и латынь, звучавшая здесь ещё до нашей эры, в эпоху римских цезарей и легионов, основавших город Лютецию на болотистых берегах Сены, и вернувшаяся сюда позже, уже в XIII веке, во времена основания Сорбонны — латынь звучит здесь и ныне, в стенах филологического и медицинского факультетов.

В Латинском квартале античная и средневековая древность так перемешаны с юностью — что созерцание этой бодрящей, живительной смеси очень трогает душу. Вот аббатство Клюни (сейчас здесь музей средневековья), вот могучие стены, оставшиеся от римских терм, вот суровая готика церкви Сент-Этьен-дю-Мон, одной из старейших в Париже (прах Паскаля покоится здесь) — а вот, рассыпая дробь каблучков и держа книги (!) под мышками, студентки Сорбонны бегут на первую лекцию — слушать, возможно, всё ту же латынь. Кажется, век бы стоял на углу, где-нибудь на перекрёстке бульваров Сен-Жермен и Сен-Жак — или нет, лучше на небольшой площади Контрэскарп, где жил молодой Хемингуэй — и любовался бы этими юными лицами, бегущими к знаниям с таким азартом и нетерпением, с каким можно бежать разве лишь на любовное свидание.

Правда, среди торопящихся к первой «паре» студенток — и белых, и смуглых, и чёрных — я не видел ни одного парня: похоже, тонус мужчин явно падает во всех сферах, от эротической до интеллектуальной.

Да и стоять на углу, и бродить по покатым булыжникам улиц на холме святой Женевьевы — именно там расположены многие здания одного

из старейших университета Европы — можно долго и с наслаждением; но ни я, ни Париж не забыли о ведущем мотиве главы: о клошарах и книгах. Вот я выхожу на милейшую, даже в дождливое зимнее утро, площадь Сорбонны — и на порошках капеллы святой Урсулы снова вижу клошара. Правда, сейчас он не читает, а спит, с головой завернувшись в спальный мешок; но я уверен, что, даже проспав первую лекцию, за книгу он всё же возьмётся: нельзя ж уронить честь Сорбонны! Может быть, кстати, что это и не простой бомж, а какой-нибудь новый Диоген: не зря же он прилёг-прикорнул не где-либо, а в самом центре города знаний, в ногах у святой Урсулы, покровительницы теологии.

Пока наш Диоген спит, идём дальше. В двух шагах — Сена и знаменитые набережные букинистов. Как вы понимаете, здесь наша тема — книга в Париже — обретает второе дыхание. Набережные Сены имеют как бы два яруса: вдоль верхнего тянутся зелёные ящики букинистов — сейчас, в дождь, они все закрыты — а нижний ярус принадлежит в основном клошарам. Почти все подмостовые пространства обжиты ими: тут стоят даже неплохие туристические палатки. В самом деле: чего ж и не жить под мостами? Здесь сухо, здесь рядом живая вода (а возле реки жить всегда веселее), и здесь, буквально над головой, тянутся ряды книг. Уж какие-то брызги от этого книжного моря, наверное, достаются и нищим; и быть книгочеем, живя под мостами Парижа, кажется совершенно естественным делом.

И в твоей голове и душе — той порою, как ты, любуясь мостами и баржами Сены, бредёшь вниз по реке, в направлении Троицкого собора и Русского культурного центра, — возникают противоречивые мысли и чувства. С одной стороны, понимаешь: те бедолаги, что доживают свой век под мостами Парижа, обозначают собой некий печальный итог и тупик человеческой цивилизации: эти «отбросы от общества» (как выражалась моя покойная бабушка) есть, во всех смыслах слова, последние люди. Как, кстати, и ближайшие их соседи, парижские букинисты: ведь они пытаются распродать свои ветхие, отслужившие и никому уж не нужные книги — как, бывает, с аукциона продают дом и вещи непоправимо разорившегося должника. И поэтому всё, что ты видишь, шагая мимо клошаров и букинистов, воспринимается в нарастающе-горьком миноре — как прощание с миром, в котором ты некогда вырос и жил.

Но на всё то же самое можно взглянуть и с другой стороны. Во-первых, ни сами клошары, ни их соседи-книготорговцы, похоже, нисколько не тягостятся своим положением: они, скорей, веселы и довольны судьбой. И если б тебе пришлось в голову поделиться с ними своими печальными мыслями — они бы, скорее всего, расхохотались: дескать, чем забивать голову всякими глупостями, лучше бы ты угостил нас вином. И, во-вторых, склонность парижских нищих читать — она пробуждает в душе и надежду. Ведь раз читают даже парижские маргиналы — значит, книга и чтение входят в число неотъемлемых, базовых ценностей, являются тем, без чего человек не способен быть человеком. Так, может, читающие клошары есть вовсе и не последние — а, напротив, первые люди? В том смысле, что они начинают

цивилизацию как бы заново: после всех её крахов и разочарований, упадков и заблуждений? Опустившись на самое дно, они словно пробуют всплыть — и вот именно книга в руках служит им неким спасательным кругом...

Но, пока мы шагали да рассуждали, набережная Бранли становилась всё ближе, и всё ярче и выше сияла в густеющей тьме башня Эйфеля. Приближался «Салон русской книги» — то место, где вместе с книжной темой начинала звучать и другая, параллельная ей: тема русских в Париже.

РУССКИЕ НА СЕНЕ

Несомненно, что за пределами России Париж — один из самых русских городов. На протяжении последних двухсот лет русские отправлялись в Париж или затем, чтобы прожигать там жизнь, — или затем, чтобы её спасти. А уж литературных имён с Парижем связано столько, что и в самой России надо ещё поискать столь же «писательский» город. И если Герцен с Тургеневым в XIX веке только открыли Париж для русской пишущей и читающей публики — то в веке XX город на Сене стал настоящим ковчегом для терпящей бедствие русской литературы. Бунин, Шмелёв, Газданов, Алданов, Набоков, Иванов, Цветаева, Тэффи, Ходасевич, Гиппиус, Мережковский — даже простое перечисление тех, для кого Париж стал приютом в изгнании, займёт память и время; и это только самые крупные и известные имена.

Мы, впрочем, пишем не историю русской эмигрантской литературы, а всего лишь рассказываем о современном русском книжном Салоне в Париже; но одним из самых ярких его впечатлений стала встреча с Евгенией Флавицкой, удивительной женщиной, чья мать была подругой Ирины Одоевцевой. Немолодую Евгению Михайловну все звали просто Женя, и весь русский Париж восхищался её статью и бодростью. Чёрный брючный костюм Флавицкой украшала крупная золочёная брошь в виде бабочки, чем-то напоминавшая гусарский эполет; и, действительно, что-то гусарское, бравое было в речах и манерах той женщины, которая — даже трудно представить! — многократно и запросто общалась с одной из русских литературных легенд, «маленькой поэтессой с огромным бантом». На парижских балах за Ириной Одоевцевой ухаживал Бунин; а Гумилёв, как известно, подарил Одоевцевой Луну — о чём она сама и поведала нам в поэтическом «Манифесте».

Так что от Бунина и Гумилёва благодаря Евгении Флавицкой меня отделило — точнее, соединяло с ними — всего три рукопожатия: кто бы мог подумать, что ощутимо-живая волна ещё той, самой первой парижской эмиграции, вот так докатится до нынешних дней?

Что сказать о самом Салоне? Мне он показался живым и нескучным. Правда, в салонах и светских приёмах я не знаток — жизнь моя занята совершенно другим — но, на свежий взгляд, русская литература в Париже не бедствует. Книги и переводятся, и издаются (тиражи и читатели — это уже другой разговор); и лица, которые я, на протяжении трёх дней,

встречал в толчее и многоголосице русского культурного центра, все были живыми и самобытными. Президент же Салона Ирина Рекшан, как и положено великосветской хозяйке, там и сям запускала жужжащие «веретёна» русско-французской речи, и «полотно» разговора ткалось почти непрерывно; но тут я отсылаю читателя к первым страницам «Войны и мира», к описанию салона Анны Шерер.

Как водится, был и фуршет. Причём наливал шампанское и подносил бутерброды гостям сам спонсор мероприятия Эрик Монжур: такая аристократическая демократичность очень согревала всю атмосферу.

А в ночи, за оконными стёклами, текла и переливалась огнями набережная Бранли — и текла Сена, отражавшая и колебавшая зыбкие эти огни. Неколебимо-устойчивым в этой влажной и тающей ночи был один мост Альма; и мои мысли сами собой обращались к нему — точнее, к той истории, которую этот мост воскрешал и хранил.

Альма — это имя небольшой речки на западе Крыма, близ устья которой произошло первое из сражений Крымской войны. Нас, русских, в этом сражении англичане с французами потрепали изрядно; да и вся Крымская кампания стала национальным позором России — «войной мерзавцев с идиотами», как назвал её Тютчев.

Но мне мост Альма говорил больше не о давно миновавшей войне, а о самом Крыме и о Максимилиане Волошине — человеке, перебросившем ещё один мост между Россией и Францией. Волошин жил в Париже долго, любил и знал этот город, оставил о нём цикл прекрасных стихотворений; и, когда он, уже после революции, окончательно поселился в любимом своём Коктебеле, связи двух стран, двух культур — даже двух революций, французской и русской, — продолжали звучать в его мыслях и творчестве. Волошин считал Париж одним из трёх осколков* затонувшей Атлантиды, европейской пра-цивилизации; и судьба «парижской ладьи», украшающей герб этого древнего города, была ему безразлична.

Думаю, что Волошин, живя в Париже, не мог не проходить по мосту Альма — и, глядя сверху на Сену (оливковый цвет её вод очень точно сумел передать Марке), не мог не вспоминать кремнисто-полынные пажити и холмы любимого Крыма.

А я, оказавшись рядом с мостом Альма и вспомнив многое из отношений России и Франции, не мог не искупаться в декабрьской Сене — напомнив французам одну из русских традиций. Когда русские войска в марте 1814 года вошли в Париж и казачьи полки стали лагерями вдоль Сены, парижан больше всего впечатлили две вещи. Одна — это слово «быстро!», которым нетерпеливые русские подгоняли официантов в парижских кафе; а другая — купания казаков в холодной мартовской Сене. И если первое из того, чем русские поразили французов, прочно вошло в жизнь Парижа — быстро здесь на каждом шагу — то традиция купаний в ледяной воде как-то подзахирела, и пора было её освежить.

* Два других — это Рим и Царьград.

Удобного спуска к реке в центре Парижа не оказалось, и пришлось лезть в воду по железной технической лестнице, скрипучей и ржавой. Надо мной шумел мост Альма, а по фарватеру Сены проходил катер, полный туристов; надо думать, они сделали немало кадров, на которых голый чудак плавает в зимней реке. Но туристы-фотографы мне не мешали; больше досаждали два чернокожих охранника, которые были приставлены наблюдать за порядком на набережной. Они взволнованно размахивали руками, крича: «Monsieur, it's impossible!»

Но что мне было до их «impossible» — мне, занимавшемуся возрождением давней русской традиции? Оливковая вода Сены, кстати, показалась мне совсем не холодной. И я был очень доволен купанием: ведь «Салон русской книги» в Париже прошёл не напрасно — и была восстановлена ещё одна из исторических нитей, связующих наши народы.

ГОРОД СТОИКОВ

В Париже со мной был ещё один спутник, с которым я бродил по аллеям Люксембургского сада, присаживался за столики парижских кафе, спускался от площади Контрэскарп к Сене и покупал жареные каштаны, так приятно согревавшие руку в холодный день декабря. А то, что этот мой спутник был бесплотно-незрим, нисколько мне не мешало; напротив, его голос, освобождённый от физического присутствия хозяина, звучал как-то особенно проникновенно.

Речь об Эрнесте Хемингуэе. Вообще, давно пора считать его русским писателем: в прошлом веке его так любили в Советском Союзе, и так много портретов этого печального бородача висело по стенам русских интеллигентских квартир, что он давным-давно стал нам родным и близким. Я и в Париж-то поехал с напутственным словом отца, давнего почитателя Хемингуэя: «Ну, походи там за меня — по местам старика Хема...»

Конечно, я походил. Первым делом посетил «Клозери де Лиля», то кафе, где писалась «Фиеста». Перед входом в него бронзовый маршал Ней всё так же взмахивал шпагой, что-то беззвучно кричал и был так же героически одинок — как и в дни Хемингуэя. Помните это место «Фиесты»? «Он был очень хорош, маршал Ней, в своих ботфортах, взмахивающий мечом среди свежей, зелёной листвы конских каштанов...»

В самом же кафе, на табличке, привинченной к барной стойке, я прочёл имя писателя — и заказал себе именно то, что часто заказывал он. «...я тоже почувствовал жажду и заказал ром «сент-джеймс». Он показался мне необыкновенно вкусным в этот холодный день, и, продолжая писать, я чувствовал, как отличный ром Мартиники согревает мне тело и душу». («Праздник, который всегда с тобой»)

Ром действительно согревал тело и душу — и сырой зимний день уже не казался таким знобяще промозглым. Его, этот день, уже можно было терпеть и даже находить в нём немало хорошего. Вот точно так же, глотнув

спиртного, Хемингуэй и мог терпеть жизнь — которую в целом он воспринимал как нечто бессмысленное и неизбежно трагичное. Стоит только припомнить финалы его романов, от «Прощай, оружие» до «Островов в океане», как станет ясно: ничего хорошего от жизни автор не ждал, никакого просвета не видел, и почти все его любимые герои погибали с такой роковой неизбежностью, с какой гибли лишь разве герои античных трагедий. Несомненно, что Хемингуэй по натуре и мировоззрению был стоиком, духовным потомком Сенеки и Марка Аврелия, тех мудрецов-римлян, которые воспринимали действительность как бессмысленно глупую шутку, а в смерти видели избавление от мучительно-грубого фарса под названием «жизнь».

И вот тут для меня возникает одна психологическая загадка. Почему, сознавая бессмысленность жизни, стоики — и Хемингуэй в их числе — были убеждены, что жить следует честно и благородно, а умирать нужно достойно? Ведь если в жизни нет смысла, и за гробом нас ждёт пустота — то не всё ли равно, как и каким человеком я пройду путь от рожденья до смерти? Зачем быть хорошим, зачем терпеть и страдать — если могильным червям всё равно, чьё тело, праведника или грешника, послужит им пищей? И если «победитель не получает ничего» (это название одной из книг Хемингуэя) — то зачем тогда быть победителем?

Мне представляется, что критически-честный ум стоиков находится в постоянном противоречии с их же собственным сердцем. «Ум ищет божества, а сердце не находит», — написал Пушкин о себе, молодом; но вот у стоиков всё ровно наоборот. Их ум не видит в жизни никакого божественного начала, не прозревает божественного же продолжения и поэтому пребывает в пустыне сухого, рационально-логического мировоззрения. Сердце же их сохраняет живую (пусть и не создаваемую рассудком) связь с Божеством и поэтому не позволяет человеку стать тем, кем он должен бы стать, следуя выводам собственного ума — то есть бессовестным, эгоистичным животным.

Жизнь стоиков тем и трагична, что она протекает в постоянном разладе ума и сердца: человек чувствует долг быть хорошим — но при этом осознаёт, что это никому в целом мире не нужно. Похоже, в таком напряжённо-трагическом противоречии жил и Эрнест Хемингуэй. Он был словно подвешен в бессмысленной пустоте и не понимал: зачем его сердце ещё продолжает надеяться, верить, любить?

Но если в себе самом он не находил опоры и не видел смысла в продолжении собственной жизни (что и привело его к самоубийству) — то, хотя бы отчасти, эту опору ему заменяли предметы, явления, звуки и запахи, люди, птицы и рыбы того бесконечного мира, который его окружал и в который писатель вглядывался с таким живым интересом. Ведь что привлекает, что трогает и согревает читателя в этих всех бесконечных описаниях блюд и напитков, оттенков погоды и моря, перечислении улиц, отелей и ресторанов, в этих многостраничных диалогах «ни о чём» — во всём, словом, том, что один из преподавателей литинститута назвал «хемингуэвиной»? А трогает то, что ты ощущаешь подтекст пустоты и страдания за каждым таким описанием; ты понимаешь, что, скажем, стакан вина или

какое-нибудь жаркое, так любовно и с таким знанием дела описанные Хемингуэем, — это не просто выпивка и закуска, а это соломины, за которые держится утопающий, горячо благодарный всем тем «соломинам», что покамест удерживают его на плаву.

Вот и Париж — в который нам давно пора возвратиться — был для писателя местом спасения от тоски и отчаяния, был своего рода ковчегом, на котором ещё молодой, но уже склонный к депрессии Хемингуэй преодолевал те пустоты, что он ощущал в себе же самом. И разве читалось бы, скажем, вот это место из «Праздника» с таким сочувствием и интересом, если бы читатель в глубине души не понимал: это не просто путь сквозь Латинский квартал, с дотошным перечислением улиц и площадей — а это путь человека над бездной тоски, одиночества и пустоты? «Я прошёл мимо лица Генриха Четвёртого, мимо старинной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, пересёк открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытия, свернул направо, вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель и, пройдя мимо Клюни и бульвара Сен-Жермен, добрался до известного мне славного кафе на площади Сен-Мишель...»

Но Хемингуэй — не единственный стойкий, живший в Париже. Гуляя по Монпарнасу, я вспоминал и о Гайто Газданове, парижском таксисте и прекрасном русском писателе. Газданов, кстати, вполне мог и подвозить загулявшего Хемингуэя, когда тот направлялся в кафе «Селект» или «Дом»: парижские годы писателей совпадают.

Так вот Газданов тоже был стойким: человеком, сохраняющим честь и достоинство в мире, где эти честь и достоинство, кажется, уже никому не нужны. Почитайте (или перечитайте) «Ночные дороги», русский роман о Париже: и вас поразит в нём даже не описание парижского дна, жизнь всех этих пьяниц, сутенёров и проституток — а вас тронет глубоко человеческий, снисходительный и беспощадный одновременно взгляд автора. Это взгляд человека, который не знает, зачем нужно жить — и ему самому, и другим — но который при этом уверен, что жить нужно честно, бесстрашно и твёрдо.

Всех стойких, живших в Париже, я, разумеется, не назову; но вот об Альбере Камю надо упомянуть непременно. Его знаменитый «Миф о Сизифе» стал своего рода знаменем нового стоицизма (получившего, уже в XX веке, модное имя «экзистенциализм»). Это гимн обречённо-бессмысленному подвигу человека, который прекрасно осознаёт всю тщету собственной жизни, проходящей в бесконечных трудах и страданиях, — но при этом не расстаётся ни с жизнью, ни с той глыбой, которую он обречённо-упорно толкает к вершине.

Как это ни странно, но и весь Париж мне порой представляется городом стойких. Хотя его, казалось бы, с куда большим основанием можно назвать городом разнообразных удовольствий и наслаждений; но в том-то и дело, что эти две крайности — стоическая обречённость и утончённое жизнелюбие — сходятся и дополняют друг друга. Утратив смысл жизни, как-то скоротать время до собственной смерти и можно, лишь предаваясь различного рода удовольствиям или впадая в нескончаемую житейскую суету. Вот именно

этим — утехой собственных глаз и желудка, похоти и честолюбия — похоже, и занят Париж и многие из его обитателей. И бесконечные эти витрины, от гастрономических до ювелирных, эти музеи и выставки, эти кафе и салоны, и бутики модной одежды, и роскошь отелей или борделей, и весь этот шум, блеск и чад мировой столицы наслаждений — всё это и раздражало бы, и вызывало бы неприязнь к парижанам, если бы не осознание: всё, что ты видишь вокруг, — это попытка хоть как-то спастись, защититься от ужаса угрожающей всем пустоты одиночества и бессмыслицы жизни.

А чтоб держать оборону от этого вездесущего ужаса, годятся любые средства — в том числе и кулинария. Недаром же сказано (кажется, Черчиллем): «Если бы не искусство кулинарии, жестокость реальности была бы невыносима».

ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ

Для меня до поездки в Париж это были действительно тайны. То есть я не понимал: что во французской кухне такого особенного, что она большинством знатоков признаётся за первую в мире? Я и книжки читал, и расспрашивал тех, кто, в отличие от меня, хорошо разбирается в кулинарии — но так и не смог уяснить: в чём же её идея и принципы?

Вот, скажем, принципы кухонь китайской или японской можно объяснить в двух словах. Японцы стараются быть возможно ближе к природе, и поэтому блюда их кухни по вкусу и виду мало отличаются от натуральных, не подверженных никакой обработке продуктов. Кусок сырой рыбы на шарике пресного риса — вот главная пища Японии.

У китайцев же всё наоборот. Исходный продукт должен быть так обработан и изменён, чтобы в нём ничего не осталось от его первоначальной природы. У китайского повара свинина превращается в курицу, курица в рыбу, а рыба — так вообще неизвестно, во что. То есть китайцам важнее всего не природа, а поварское искусство, не простота — а фантазия и изощрённость.

Думаю, что почти все главные кухни мира можно описать столь же кратко и при этом не очень грешить против истины. Но вот с французской кухней так отчего-то не получается. Нет, конечно, какие-то принципы есть и в ней — например, обилие соусов или сыров — но это всё некие частности, не объясняющие неуловимого главного. А вот в чём состоит это «главное», я и смог уяснить, только съездив в Париж.

Мой день начинался с обильного завтрака в монпарнасском отеле: уже в семь утра я набирал на тарелки целые горы вкуснейшей еды. Тут был и пышный омлет с ветчиной, и сосиски с тушёной фасолью, и грибы с овощами, и несколько сортов сыра — среди них камамбер, бри, рокфор — и, разумеется, круассаны с кофе. Я набивал себе пузо, что называется, «под завязку» — и, когда шёл после завтрака бродить по Парижу, мне казалось, что минимум сутки я о еде не смогу даже думать.

Но я ошибался. Пройдя под дождём по лоснящимся и отражающим фонари тротуарам, зайдя в церковь Нотр-Дам-де-Шамп, где меня окружала пустынная гулкость католической мессы со всего лишь десятком сидящих пред алтарём прихожан, я выходил на бульвар Распай — и погружался в живой, обаятельный мир продуктового рынка Парижа. Несмотря на декабрьскую тьму и на сеющий дождь, здесь уже было много людей, и все, покупатели и продавцы, были празднично оживлены. Гудели моторы, стучали контейнеры и товарные ящики, шелестели пластиковые навесы, сияли огни фонарей, и со всех сторон доносилось радостное: «Бонжур!»

Проходить вдоль прилавков было истинным наслаждением. Я чувствовал, что попал в настоящий центр жизни Парижа, прикоснулся к чему-то сакральному; и мне было даже немного неловко: словно я, чужак, нечаянно подсмотрел то интимное, что положено знать лишь своим. Очень трудно сейчас передать на бумаге ту нежность, тот трепет и тот интерес, с каким парижане выбирали продукты, приценивались и советовались с продавцами — а те отвечали им с таким пафосом, словно читали воскресную проповедь в церкви. Да, это было похоже на священнодействие; и вот тут-то мне стала приоткрываться тайна французского отношения к еде.

Я понял: еда для француза — священна. Вот именно в этом, а вовсе не в перечне кулинарных приёмов или списке рецептов и состоит та неуловимая тайна, которая долго от меня ускользала. Над этой сакральностью пищи и трапезы можно, конечно, иронизировать — или, напротив, искренне ей восхищаться — но, оказавшись в Париже, трудно не видеть вот этого безоговорочно-общего поклонения еде.

Вот, кстати, и подтверждение моим мыслям. Известно, что популярнейшей книгой во Франции является путеводитель по ресторанам: так называемый «гид Мишлен». Для каждого из рестораторов заполучить звёздочку в этом гиде напротив названия своего заведения много важнее — чем, скажем, для ревностного служаки получить ещё одну звезду на погоны. Мишленовский гид переиздается ежегодно, и «звёздность» указанных в нём заведений ежегодно меняется. И вот в 2003 году Францию поразило известие о рестораторе по имени Бернар Луазо, который покончил с собой из-за слухов о том, что у его заведения якобы собираются отнять одну мишленовскую звезду*. Дело даже не в самоубийстве как таковом — мало ли на свете людей с неустойчивой психикой? — а в том, как это событие взбудоражило Францию. Оно обсуждалось в прессе и на телевидении; несчастного то осуждали, то чуть ли не превозносили, как национального героя. Думаю, только во Франции эта история с самоубийством из-за мнения ресторанный критика о твоём заведении могла вызвать столь бурный общественный резонанс.

Это как раз подтверждает мысль об особенном отношении французов к еде. Уж если ради неё, по мнению многих, стоит жертвовать жизнью — значит, еда в самом деле священна.

* В 1966 году по схожей причине застрелился шеф-повар Ален Зик.

И вот — возвращаемся на продовольственный утренний рынок — как же мог я, созерцая и обоняя всю эту роскошь еды, да ещё ощутив отношение к ней парижан, — как мог я не купить что-нибудь у весёлых и словоохотливых продавцов?

То, что я недавно плотно позавтракал, уже не имело значения: я не простил бы себе небреженья к французской святыне. Я и выбрал-то сущий пустяк — кусок эментальского сыра и багет под названием «baiser» (то бишь «поцелуй»); но как же красиво мне их продавали! Небольшой ломтик сыра был любовно завернут в большой лист голубоватой плотной бумаги (годящейся, скорее, для вдохновенного любовного письма), а багет «поцелуй» в длинном шуршащем пакете миловидная продавщица подала мне с такою многозначительной, томной и благодарной улыбкой, точно мы провели прошлую ночь вместе — и эта ночь была, несомненно, одною из лучших во всей нашей жизни.

Но утренний рынок остался, увы, позади — и мы продолжаем идти по парижским бульварам. И вот как вы думаете: что самое характерное в облике этого города — без чего бы Париж перестал быть Парижем? Конечно, это уличные кафе. Ряды круглых маленьких столиков тянутся всюду: кажется, что они занимают не только здешние тротуары, но выступают чуть ли не на проезжую часть, под колёса машин. И за этими столиками — даже зимой — сидят неторопливые и расслабленные парижане. Но эту-то тайну я разгадал быстро: под навесами всех кафе подвешены обогреватели, и каждый из посетителей сидит в потоке тепла, превращающем даже промозглую зиму — в блаженное лето.

В бесчисленных этих кафе, как положено, пьют и едят. И, как ни странно, созерцание столиков на тротуарах Парижа пробуждало в моей душе нечто родное, глубинно-отрадное — напоминало о лучших из трапез моей собственной жизни. Впечатление это, так неразрывно связанное с воспоминанием, можно назвать «еда на обочине».

Если спросить самого же себя: какая еда доставляла мне наибольшее наслаждение — даже не удовольствие, а вот именно радость — то ответ, без сомнения, будет: еда на обочине. Что ни вспомни — или пыльно-сухие холмы любимого Крыма, где ты садился в ажурную тень акации возле пыльной дороги и доставал из пропотевшего рюкзака бутылку вина и лепёшку, или лесную тропу где-нибудь «на северах», когда пищей обычно служила печёная рыба, которую ты поймал накануне, или семейный обед-перекус где-то совсем уже неподалёку от дома, в калужских полях-перелесках, когда из сумы доставались варёные яйца и сало, помидоры, сыр, хлеб, когда всё это крупно резалось перочинным ножом, и тоже казалось, что в мире нет пищи вкуснее, чем эта, — все эти пиры на обочинах разных дорог, которые подарила мне жизнь, я вспоминаю вот именно с благоговением. В этих трапезах было что-то настолько простое, и вместе возвышенное, что ты ощущал себя одновременно и нищим, смиренно вкушающим скромное подаяние, — и царём, возглавляющим пир. Ты чувствовал: в этой торжественной трапезе, кроме еды, что разложена на случайной подстилке, участвует словно и весь окружающий мир, с его солнцем и ветром, с небесною синью и белизной облаков,

и вот с этой пыльной дорогой, что начинается неизвестно откуда, и пропадает неведомо где...

И как же чудесно, что именно к этой высокой идее — еда на обочине — пришли, со мной вместе, и парижане! В парижских кафе, чьи столики выставлены прямо на тротуары и где ты буквально задеваешь рукой или краем одежды сидящих людей, — главным блюдом является даже не то, что стоит вот на этих крошечных столиках; нет, главное здесь — сама жизнь, что течёт непрерывным потоком мимо тех парижан, кто присел отдохнуть на обочине, выпить кофе или вина, и почувствовать одновременно и свою обособленность от непрерывного и суматошного уличного потока, но и свою пожизненную принадлежность ему.

Впрочем, Париж подарил мне не только уличную еду: довелось побывать и на званом обеде. Не буду подробно касаться конкретных деталей — потому что не знаю: понравится ли это хозяйке? — но попробую передать его общую атмосферу. Главное, что мне запомнилось — это высокая простота и естественность трапезы. Хозяйка сама и готовила, и подавала блюда на стол. Этих блюд было на удивление мало — что мне очень понравилось. Тарелка пармской ветчины, миска отварного картофеля, листья салата, печёная рыба-сибас и в завершение обеда — кусочек пахучего мягкого сыра.

Вы спросите: что же мы пили? На столе стояла бутылка сухого белого — это на пятерых! — то есть вино предлагалось именно для дегустации, а не для пьяной развязности.

Этот изысканный минимализм застолья мне чем-то напомнил высокую моду Парижа. И как ей, этой моде, показался бы диким принцип «а наде ну-ка я всё лучшее сразу!» — так и на парижском званом обеде не к месту была бы наша русская поговорка: «Всё, что есть в печи, — всё на стол мечи!» Нет уж: парижане скорее предпочтут на красавице «маленькое чёрное платье», чем обилие бархатов да соболей.

Но и на званом обеде я отчётливо чувствовал то, что уже ощутил и в парижских кафе, и на уличных рынках Парижа: обед представляет собою центр всего дня — а значит, в каком-то смысле, и сердцевину всей жизни. Конечно, не в одной только Франции умеют и любят поесть — но, пожалуй, в деле «обоожествления еды» французы обставили всех. Их король Генрих Наваррский как-то сказал, что «Париж стоит мессы»; он мог бы сказать и «обед стоит мессы»: уверен, что эти слова вызвали бы во Франции бурные и продолжительные аплодисменты.

Ж Е Н Щ И Н Ы П А Р И Ж А

Не пора ли поговорить и о женщине, третьей и главной опоре французской жизни? Даже человек, не знающий по-французски ни слова, уж эту-то фразу, скорее всего, слышал: выражение «cherche la femme» давно стало всемирным. Вот попробуем побродить в поисках женщин и мы: благо, Париж предоставляет для этого много возможностей.

Первые, кого видишь здесь ранним утром, только выйдя на улицу — это вовсе не утомлённые ночной сменой жрицы любви (как вы, вероятно, подумали), а бегуни и велосипедистки. Их очень много — куда больше, чем, скажем, в Москве или Калуге — и все они на удивление привлекательны. Возможно, что главный заряд утренней бодрости парижанам придают даже не их непреременные чашки кофе — а вот эти упругие задки, длинные ноги и живые улыбки, что пробегают или проезжают слева и справа и заставляют тебя непрерывно и восхищённо вертеть головой.

К тому же, автор этих страниц провёл молодость на стадионах, среди юных легкоатлетов; поэтому видеть бегущих парижанок для меня было — как отмотать время лет на сорок назад. Уже подмывало и самому припуститься бежать за красотками: хорош бы я был, если б дал себе волю...

Велосипедисток было ещё больше, чем длинноногих бегуний. Похоже, велосипеды — излюбленный транспорт Парижа: приходилось встречать и седовласых старушек, лихо крутящих педали. А однажды я с изумлением видел, как из дверей фешенебельного ресторана вышла сногшибательная красотка на шпильках и в норковой шубке — и тоже, поддёрнув юбочку, оседлала велосипед и покатила по влажно мерцающей велодорожке.

Ещё одна роль, в которой нередко встречаешь женщин Парижа, — это роль полицейских. С одной стороны, странно видеть милые женские лица в обрамлении полицейских мундиров и шлемов, дубинок у пояса, краг и наручников; но, с другой стороны, понимаешь, что наведение порядка — исконное женское дело. Причём порядка не просто на кухне или на улице — а порядка в космическом смысле: как сохранение животворящих констант бытия.

А ещё один облик, в котором являлись мне женщины Франции, — это студентки Сорбонны. Я провёл утро в Латинском квартале, у зданий старейшего университета Европы; и меня очень трогало сочетание свежей студенческой юности с помпезно-солидной древностью этого города знаний. Забавно было смотреть, как без пяти минут восемь студентки бегут на занятия; об этом я, впрочем, уже написал.

Но куда больше, чем даже студентки Сорбонны, меня восхитила другая красавица. Её имя Хелен Каррер д'Анкосс: она известный историк и бессменный секретарь французской Академии. Оказавшись на её лекции в дни «Салона русской книги», я увидел стройную даму с прекрасной причёской, в каком-то задорном и почти легкомысленном платьице, которая целый час с жаром рассказывала об отношениях России и Франции: все её слушали, что называется, раскрыв рты. А я открыл рот, когда узнал, что этой поджарой красавице недавно стукнуло девяносто...

Но по улицам да по салонам можно бродить сколько угодно — и ты всё равно останешься лишь соглядатаем и ротозеем, скользящим глазами по оболочке явлений и не проникающим в их сокровенную суть. В суть проникают другие: вот, скажем, художники, чей талант, труд и опыт позволяют почувствовать и осознать нечто самое важное — в том числе в женщинах.

Так что лучше отправимся в поисках женщин в музей: например, в знаменитый Д'Орсе. В этом здании бывшего вокзала на берегу Сены собраны

импрессионисты — и среди прочих есть немало работ Ренуара. Я понимаю, конечно, что описывать живопись — это почти то же самое, что пересказывать музыку: дело глупое и неблагодарное. Но я попробую передать хотя бы своё впечатление и свои мысли о ренуаровских женских портретах: потому что мне кажется, именно Ренуар возвёл французскую женщину на особенную высоту.

Сначала в глаза бросается то, что художник всю жизнь писал один женский тип: розовощёкий и нежный, с туманно-мечтательным взглядом и полуулыбкой на полуоткрытых устах. Даже если картина большая, и женских лиц на ней много — как, например, на известной картине «Бал в Мулен де ла Галетт» — с удивлением видишь, что все эти хорошенькие танцовщицы имеют одно лицо: что, впрочем, совсем не делает эту картину однообразной и скучной. Напротив: именно ренуаровский образ женщины так обаятелен и привлекателен, что на него можно смотреть бесконечно.

И пока ты созерцаешь прекрасное это лицо — или лица — ты всё меньше способен понять: какова эта женщина? То есть скромна она — или игрива, легкомысленна — или застенчива, целомудренна — или порочна? Кто она: нежная мать — или особа лёгкого поведения? Все оттенки, все качества, все ипостаси, которые и составляют непостижимую женскую тайну, Ренуар сумел собрать в одном образе — причём образе гармонично-естественном.

Можно сказать, это было одним из важнейших открытий, какие я сделал в Париже — что Ренуар всю жизнь писал портрет не столько конкретной женщины, сколько самой женственности как таковой. Китаец-даос сказал бы, что это портрет «инь» — того проникающего всю природу, женственного начала, к которому мы, мужчины, испытываем столь neodолимую и неутолимую тягу.

И, уже выйдя из залов музея Д'Орсе, продолжая свой путь по-над Сеной, глядя на баржи и катера (отдалённых потомков той самой ладьи, что начертана на парижском гербе), я вдруг почувствовал и весь Париж — как-то «сквозь Ренуара», сквозь то мерцание вечной женственной сути, что он сумел передать с таким мастерством.

Это стало вершиной моего постижения города. Я не то чтобы мыслью, но всем существом осознал, до чего же Париж — город женственный, до чего ж он проникнут, пропитан всем тем, чем бывает наполнена и настоящая женщина. И парижская страсть следовать моде, и склонность судить да рядить, или попросту сплетничать, и поклонение кухне, и любовь к показной мишуре, и желание завлечь-удивить — всё, словом, то, что мы видим и чувствуем в женщине, мы можем видеть и чувствовать здесь, в этом неотразимо женственном городе.

И я бродил по Парижу уже как настоящий влюблённый, хмелеющий даже не от вина (не так уж, кстати, и много мне удалось опустошить парижских бутылок — как-то всё было не до того), а хмелеющий от парижского влажного воздуха, блеска витрин, светофоров и фонарей, от мягкой и торопливо картавящей речи французов, так напоминающей лепет ребёнка — какой-нибудь девочки лет четырёх — от жёлтого крапа листвы на сырых

тротуарах, от ампирных фасадов домов, от скульптур в Люксембургском саду, и даже всего лишь от названий бульваров и улиц, произносить которые вслух — было именно как признаваться в любви.

Великий французский знаток этой темы, написавший целый трактат «О любви», — я имею в виду, конечно, Стендаля — называл это «кристаллизацией». Он описывал, как сухая невзрачная ветка, погружённая в перенасыщенный солевой раствор, обрастает кристаллами и превращается в нечто волшебное сияющее и драгоценное. Так вот и взгляд влюблённого, пишет Стендаль, превращает обычную женщину — в блистательную королеву.

Подобная «кристаллизация» произошла и в моих отношениях с Парижем. Всё в нём меня восхищало: дома, тротуары, бульвары, платаны, сады, манекены в витринах, золотая игла ночной башни Эйфеля, устремлённая в чёрное небо, торжественный купол собора Инвалидов, покрывающий прах Наполеона, согбенный «Мыслитель» в музее Родена и толпы народа в старинном метро, гулкость месс в католических храмах и вой сирен «Скорой помощи» в уличной неразберихе, и васильковые проблески неба в разрывах растрёпанных туч над Монмартром — словом, всё, на что только падал мой взгляд, покрывалось кристаллами восхищённой влюблённости, и становилось от этого невыразимо прекрасным. Возможно, что подобная же влюблённость миллионов людей, что прошли, за тысячелетие, по парижским улицам и мостам — она и сделала город на Сене таким, каким он теперь представляется нам. И зачем нам, влюблённым, знать низкие истины — то, например, каков есть наш любимый Париж на самом-то деле?

Георгий Куликов

Георгий Викторович Куликов родился в 1950 году в Самарканде. Окончил Академию МВД СССР, дипломатическую Академию МИД России. Четверть века служил в органах внутренних дел. Работал первым заместителем министра юстиции Российской Федерации, начальником Главного нормативно-правового управления Союза Беларуси и России, заместителем губернатора Калужской области. Государственный советник юстиции I класса, заслуженный юрист Российской Федерации.



К ВОПРОСУ О МИРАЖАХ

Утреннее совещание у полковника милиции Кочеткова прошло на удивление быстро. Заместитель начальника управления, как обычно, заслушал начальников подразделений, а потом отпустил всех по рабочим местам со словами:

— За работу, товарищи, а Кудрина попрошу задержаться...

Когда все сотрудники вышли из кабинета, Кочетков сказал:

— Женя, садись ближе, нужно поговорить.

Все в управлении знали, что на «ты» полковник называл только тех своих сотрудников, которых уважал за профессионализм и к которым испытывал доверие. Заслужить его было непросто. Кочетков мог позволить таким людям опоздать на совещание или разрешить взять отпуск летом, советовался по каким-либо рабочим вопросам и прислушивался к их рекомендациям. Таких сотрудников «за глаза» называли в управлении «любимчиками начальства». Одним из них и был подполковник милиции Евгений Сергеевич Кудрин.

— Вот что, Евгений, к нашему начальнику управления обратился начальник школы милиции полковник Дёмин с просьбой направить в рамках проведения практикума сегодня к трём часам дня одного из самых опытных работников уголовного розыска для встречи с выпускниками школы. Он лично распорядился, чтобы я направил на эту встречу именно тебя.

— Товарищ полковник, но вы же меня сами на сегодня к трём часам приказали явиться на совещание в РОВД Краснопресненского района... — возразил Кудрин.

— Пошёлёшь своего заместителя, а сам поедешь в школу милиции, — безапелляционно прервал Кочетков.

— Да я никогда не читал лекций, — проямлил Евгений Сергеевич.

— Ты, Женя, расскажешь им об особенностях работы уголовного розыска с точки зрения практика, ведь опыта тебе не занимать, — продолжал полковник, — теорий они нахватались сполна, вот им и нужно чисто с практических позиций осветить работу сыщиков. Как говорил Альберт Эйнштейн, теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Поэтому нужно объединить теорию и практику, чтобы всё работало и все знали, почему это работает. Для этого, Женя, и существуют в учебном процессе практикумы курсантов с опытными оперативными работниками — чтобы стирать грани между теорией и практикой. Одним словом, дерзай, может быть, этот опыт тебе ещё пригодится.

— И где же, как вы говорите, этот опыт мне может пригодиться, на пенсии что ли? Я вроде бы ещё пока не собираюсь записываться в пенсионеры, — с обидой в голосе проговорил Кудрин.

— Да не ершись, Женя, это же я без всяких намёков сказал! — примирительно ответил полковник. — Ну раз сам начальник управления тебя делегирует, я воспринимаю это как приказ, и ты должен реагировать подобным образом.

— Слушаюсь, — коротко ответил Кудрин и направился к выходу из кабинета начальника.

«О чём мне говорить с курсантами?» — думал он, шагая по длинным коридорам управления.

Придя в свой кабинет, Евгений Сергеевич достал из сейфа рабочие документы и разложил их на рабочем столе, но мысли о предстоящей встрече с курсантами продолжали его тревожить. Он закрыл глаза и предался воспоминаниям о своей учёбе в школе милиции. Сразу вспомнился одноклассник Боря Пушкин, который, несмотря на известную фамилию, был не только тугодумом, но и отчаянным лентяем. Он никогда ничего не учил, надеясь исключительно на шпаргалки. И однажды, что-то перепутав в своей голове, на экзамене по административному праву на вопрос о структуре государственных органов исполнительной власти стал плести о мотивации изнасилований. Экзаменатор прервал монолог Пушкина и сказал:

— Я такого раньше не слышал в теории административного права, вам, товарищ курсант, видимо, фуражка на голове мозоль натёрла.

С этим он поставил Пушкину «неуд» и выгнал его из аудитории.

Вспомнился преподаватель по бухгалтерскому учёту капитан Журкин, которого курсанты «за глаза» называли «Жмуркин». Как-то на экзамене, услышав неверный ответ, он сказал ставшую крылатой фразу:

— Кушайте больше хрена, товарищ курсант, ибо это самое умное растение: он всё знает! Может, и у вас от него знаний прибавится...

«Много всяких смешных и курьёзных историй происходили во время учёбы в школе милиции, если всё вспоминать — одного дня не хватит», — подумал Евгений Сергеевич и подошёл к окну. На улице было буднично: как всегда, по проезжей части сновали машины, по широким тротуарам люди торопились по своим делам, ветер лениво раскачивал верхушки деревьев.

Яркое августовское солнце осветило его лицо, и от нахлынувших чувств он тихо произнёс:

— Как же всё прекрасно! Листья деревьев ещё недавно радовали своей яркой зеленью, а теперь в них появился золотистый узор, который придаёт улице какой-то неповторимый, праздничный вид. А уличный фонарь, который стоит как раз напротив окна моего кабинета... В любое время года он ярко светит ночью, но, когда приходит утро, его магия заканчивается; он теряется на фоне домов и мчащихся машин и превращается в несущего караул незаметного часового, который наблюдает за всем происходящим на дороге.

Слово «караул» вернуло Кудрина к действительности, и мысли обратились к предстоящей встрече с курсантами. Евгений Сергеевич посмотрел на часы и понял, что пора уже собираться.

Ровно в три часа дня он вошёл в здание школы милиции. Дежурный проводил Кудрина до кабинета начальника этого учебного заведения.

— Полковник милиции Дёмин Сергей Сергеевич, — представился начальник школы.

— Подполковник милиции Кудрин Евгений Сергеевич, — ответил гость.

— Много о вас слышан, Евгений Сергеевич, не только от начальника управления, но и от многих московских сыщиков. И очень рад, что сегодня именно вы, один из самых опытных оперативников, будете встречаться с выпускниками школы, — сказал Дёмин.

— Ну, у нас опытных сыщиков много, — улыбнулся Кудрин, — на мне свет клином не сошёлся.

— Тем не менее именно вас рекомендовал начальник управления для встречи с курсантами школы.

Дёмин пригласил гостя пройти в аудиторию. В огромном зале находилось человек сорок курсантов. Начальник школы, представив гостя, удалился.

Полтора часа Кудрин рассказывал об особенностях оперативно-розыскной деятельности, о методах и формах работы, приводил примеры из собственной практики раскрытия преступлений «по горячим следам».

— Теория — это хорошо, — резюмировал он, — но практика все же несколько отличается от теоретических постулатов и имеет свои особенности. А теперь, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.

Поднялся «лес рук», но особенно выделялся рыжеволосый курсант. Он выше всех тянул руку и готов был буквально выпрыгнуть со своего места.

— Пожалуйста, товарищ курсант.

— Курсант Косяк, — представился тот, вставая со своего места.

«Ну надо же, какая фамилия», — подумал Кудрин, вспомнив недавно услышанную фразу: ничто не бодрит с утра так, как незамеченный дверной косяк.

— Несколько дней тому назад, — продолжал курсант, — мы были в музее криминалистики на Петровке, 38, и среди интересных экспонатов и описаний расследования преступлений я видел на одном из стендов вашу фотографию. Когда я увидел вас входящим в зал, сразу вспомнил об этом. Если

мне не изменяет память, под фотографией были коротко описаны некоторые резонансные преступления, в раскрытии которых вы принимали активное участие. Там было написано, что вы принимали участие в поиске пропавших драгоценностей последнего эмира Бухары, которые до сих пор не найдены.

— Да, не найдены, — подтвердил Кудрин, — я не принимал непосредственного участия в этом расследовании, а лишь слегка прикоснулся к нему. Но в силу служебных обязанностей мне пришлось встречаться с людьми, которые всю жизнь посвятили розыску этих драгоценностей.

— Расскажите, расскажите, товарищ подполковник, — раздались просьбы курсантов.

— Ну, хорошо, — сказал Евгений Сергеевич, — если у вас есть интерес к историческим расследованиям, слушайте...

Т Р И Г О Д А Н А З А Д

Дежурство в ночной группе МУРа случалось примерно три раза в год, и чем больше звёздочек на погонах и выше статус, тем их было меньше.

Очередное дежурство Кудрина пришлось на июньскую ночь; выездов на происшествия было мало, поэтому появилась возможность сыграть со следователем Славой Андреевым несколько партий в шахматы.

Под самое утро, когда солнце осветило комнату дежурной группы, раздался звонок дежурного по управлению: на Песчаной улице в музее произошла кража.

Группа прибыла на место происшествия быстро. Выйдя из машины, все увидели небольшое одноэтажное здание старинной архитектуры, на фасаде которого висела полустёртая табличка «Музей археологии». Навстречу им вышел пожилой человек. Среднего роста, сутулый, с редкими седыми волосами. Из-под старого серого пиджака, застёгнутого на нижнюю пуговицу, выглядывала несвежая рубашка. На лбу выступили крупные капли пота, что выдавало его беспокойство и даже чувство страха.

— Макеев Иван Андреевич — директор музея, — представился он. — У нас ночью произошла кража экспонатов.

Войдя в здание музея, Кудрин почувствовал запах плесени и по скрипучему полу прошёл в зал. В этом большом помещении были выставлены разные экспонаты: обломки керамики, котелки, мотыги и другие древности, интересные в первую очередь специалистам из области археологии.

— Мы только позавчера выставили новые экспонаты, привезённые к нам по обмену из краеведческого музея Бухары, — проговорил Макеев и подвёл всех к стенду, над которым красовалась надпись «Археологические экспонаты из краеведческого музея Бухары».

Кудрин увидел, что стекло на этом стенде с левой стороны было сдвинуто и место нескольких экспонатов пусто. Криминалист попросил всех отойти подальше и, достав из своего чемоданчика кисточку, стал водить ею по стенду.

— Так вот, — продолжал директор музея, — отсутствуют три экспоната: серебряный портсигар, серебряная пряжка и деревянная шкатулка. Все эти вещи когда-то принадлежали последнему бухарскому эмиру, их совсем недавно нашли узбекские археологи, и они наряду с другими артефактами приехали к нам на выставку из далёкой Бухары.

— А какова приблизительно стоимость похищенных экспонатов? — спросил следователь Андреев.

— Да трудно сказать, все эти вещи длительное время пролежали в земле, вид у них далеко не продажный, — ответил директор музея и протянул следователю фотографии.

— Каждый экспонат у нас фотографируется, вот и снимки похищенных вещей имеются, — добавил он.

Следователь посмотрел на фотографии и передал их Кудрину. Евгений Сергеевич стал внимательно разглядывать их: деревянная шкатулка, на крышке которой было выгравировано лицо какого-то бородатого мужчины, серебряный портсигар с закруглёнными углами и серебряная пряжка, на которой был изображён полумесяц, а над ним пятиконечная звезда.

— Вряд ли похищенные экспонаты могли представлять какую-то ценность, если только пряжка, да и её нужно было приводить в порядок, — проговорил Макеев.

— А как же похититель проник сюда? Входная дверь на замке, окна целы, всё подключено к пульту вневедомственной охраны, — спросил Андреев.

— Через окно туалета, — ответил директор музея и повёл всех приехавших через зал, затем они спустились по небольшой лестнице и попали в длинный коридор, по бокам которого были четыре комнаты.

— Здесь в двух помещениях мы храним экспонаты, в третьей комнате находятся хозяйственные принадлежности, а в четвёртой — туалет, — проговорил Макеев.

Дверь в туалет была открыта, и все увидели, что небольшое окно, выходящее во двор, было разбито, а на полу валялись осколки стекла.

— Сюда кто-нибудь заходил до нашего приезда? — спросил криминалист.

— Нет, никто не заходил, — ответил директор музея.

— А в других комнатах есть окна? — задал вопрос следователь.

— Нет, в тех трёх окон нет, — ответил Макеев, — но что хочу сказать: со стороны улицы на этом окне стояла металлическая решётка. Сейчас она валяется во дворе. До нас, лет десять назад, в этом здании был какой-то склад, и эта решётка стояла ещё с тех времён, но теперь стала уже дряхлой, и сбить её не представляло большого труда.

— Возвращаясь к похищенным экспонатам... — проговорил Кудрин. — А что за мужчина с бородой изображён на той шкатулке?

— Это изображение последнего эмира Бухары Сеида Алимхана.

Евгений Сергеевич ещё раз внимательно посмотрел на фотографии. Его заинтересовал портсигар с закруглёнными углами, на обратной стороне крышки которого был выгравирован полумесяц, сверху которого виднелась

пятиконечная звезда. Фотографий портсигара были две: на одной — общий вид, а на другой — с открытой крышкой, поэтому гравировка была хорошо видна.

— А что означает эта гравировка? — спросил Кудрин.

— Это знак, что данная вещь принадлежала Сеиду Алимхану; на личные перстни и драгоценности эмир специально приказывал гравировщикам ставить полумесяц со звездой, — ответил Макеев.

Через час группа закончила свою работу: были составлены необходимые документы, опрошены сотрудники музея, сфотографировано место происшествия. Попрощавшись с директором музея, группа села в машину, которая через мгновение мчала их в управление.

«Дальнейшее расследование за местным отделением милиции, — подумал Кудрин, — малозначительность этой кражи не доставит большого энтузиазма местным сыщикам».

С чувством выполненного долга Евгений Сергеевич сдал дежурство и направился домой. По дороге он с удовольствием думал о приглашении Ромки Звягинцева, однокашника по школе милиции, порыбачить в начале августа у него на Волге. Осталось дело за малым: уговорить жену, чтобы отпустила, и начальство — чтобы разрешило.

Время промчалось быстро. Начальство со скрипом, но отпустило в счёт отпуска, а жена на удивление легко согласилась, так как уже договорилась с детьми ехать на дачу собирать урожай яблок и варить варенье. И вот жарким августовским вечером Евгений Сергеевич садился в вагон скорого поезда до Волгограда, где его уже ждал рыбак Ромка. Нет ничего лучше, чем проснуться утром под стук колёс в минуты, когда человек представлен самому себе. За окном быстро сменялись пейзажи, картинки жизни, а Евгений Сергеевич с воодушевлением думал о предстоящей рыбалке, о том, как встретится он с однокашником по школе милиции Ромкой Звягинцевым, и ему чудился вздрагивающий поплавок на глади широкой реки. Под стук вагонных колёс пролетали поля, леса и маленькие населённые пункты; Кудрин закрыл глаза и задремал. Проснулся он от смеха соседей по купе. Семья из трёх человек завтракала, и в купе пахло жареной курицей и свежими огурцами. Когда о столик застучали варёные яйца, мужской голос спросил:

— Нина, а где у нас соль?

Женщина засуетилась, привстала и, увидев, что Кудрин проснулся, прошептала:

— Доброе утро, присаживайтесь с нами, позавтракаем.

— Спасибо, я пойду в вагон-ресторан, — ответил он.

— Да ладно вам, ресторан, присаживайтесь, — повторила женщина, — что там дают в ресторане поезда, а здесь всё домашнее, свеженькое.

— Спасибо, — ответил Евгений Сергеевич, спускаясь с верхней полки; он не в силах был устоять перед манящими запахами жареной курицы, — сейчас умоюсь и подойду.

Через несколько минут он с аппетитом жевал куриную ножку и жадно ел большой пупырчатый огурец.

«Как же хорошо поест в поезде!» — с восторгом подумал Кудрин.

Проводник принёс всем чай и, несмотря на то что был тёплым, а на поверхности стакана плавали какие-то маленькие ветки, он казался весьма сносным и даже где-то приятным. Под мелодичный перезвон чайных ложек в гранёных стаканах поезд набирал ход и мчался дальше.

Поблагодарив попутчиков за угощение, Евгений Сергеевич забрался на свою верхнюю полку и снова предался мечтаниям о предстоящей рыбалке. Его радужные мысли прервал стук в дверь. Попутчица открыла её, двое мужчин продавали копчёную рыбу, запах от которой переворачивал всё нутро. Мужчина-попутчик вышел в коридор и через несколько минут вернулся, держа в руках двух огромных лещей, от которых шёл умопомрачительный аромат. Он положил рыбу на столик и пригласил всех её попробовать.

В этот момент зашёл проводник и сказал, что через несколько минут поезд сделает десятиминутную остановку на полустанке, на маленьком его вокзале есть буфет, в котором всегда продаётся жигулёвское пиво.

— А я сбегая за пивом, — предложил Кудрин и спустился с верхней полки.

Когда поезд остановился, он, взяв с собой сетку-авоську, предложенную соседкой по купе, вышел из вагона и пошёл в сторону небольшого сооружения, названного проводником вокзалом. Это было старое одноэтажное здание П-образной формы. В центре этого сооружения прямо над входом висели большие круглые часы, корпус которых был явно не советского производства, а сверху висела надпись «Раздельное». Подойдя к входной двери, Кудрин увидел объявление, написанное карандашом на стандартном листе бумаги: «Уважаемые пассажиры, убедительная просьба не хлопать входной дверью. Придерживайте её руками, чтобы вокзал не остался без стены». Улыбнувшись, он прошёл в здание вокзала и сразу же увидел слева от входа очередь в привокзальный буфет. Ничего не оставалось, как присоединиться к ней. Очередь продвигалась не спеша, и когда наконец Евгений Сергеевич, купив свои шесть бутылок пива, быстро зашагал к выходу, открыл дверь вокзала и сделал всего один шаг на улицу, ему под ноги посыпались посылки и бандероли. Это вокзальный грузчик провозил мимо тележку, гружённую почтой, и зацепил её колесом о бордюр. Всё содержимое тачки высыпалось прямо у входной двери вокзала. Кудрин инстинктивно прижал авоську с пивом к груди и стал пробираться среди бандеролей. Но когда он выбежал на тротуар, поезд уже тронулся. Прибежав на перрон, он увидел лишь удаляющийся силуэт последнего вагона.

— Вот это попал! — невольно вырвалось у него, а люди, стоящие на перроне, стали сочувственно успокаивать. Пожилой мужчина подошёл к Кудрину и посоветовал:

— Вам в милицию надо, там помогут, справа в конце зала есть отделение милиции.

Этот совет вывел Кудрина из ступора. Он сказал «спасибо» и снова, теперь уже не спеша, пошёл к зданию вокзала. Войдя, он увидел с правой

стороны на одной из дверей вывеску «Милиция» и направился к ней. Не успел он взяться за ручку, как дверь открылась и оттуда вышел здоровенный дегтина в форме сержанта милиции. Фуражки на голове у него не было, а обут он был в ярко-красные носки и неопределённого цвета сандалии.

Евгений Сергеевич спросил:

— Как найти руководство линейного отделения милиции?

Сержант посмотрел на стоящего перед ним человека с полной авоськой пива и проговорил:

— Иди, мужик, своей дорогой и пей своё пиво, а начальству сейчас некогда.

Вид сержанта и его тон разозлили Кудрина, и он, вынув из нагрудного кармана рубашки удостоверение личности, раскрыл его перед лицом сержанта:

— Подполковник милиции Кудрин из Московского уголовного розыска.

— Сержант Быстров, идёте...

— К пустой голове руку не прикладывают, — перебил его Евгений Сергеевич и прошёл за ним в коридор, в котором было три двери. Одна из них была приоткрыта, и они вошли туда. В крохотной комнатухе за столом, на котором была куча бумаг, сидел немолодой капитан милиции.

— Данилыч, капитан, товарищ, тут полковник из Москвы.

Капитан недоверчиво посмотрел на человека с полной авоськой пива.

— Подполковник милиции Кудрин Евгений Сергеевич, — представился тот и предъявил удостоверение личности.

— Капитан милиции Волин Иван Данилович, начальник линейного отделения милиции, — представился хозяин кабинета.

— Присаживайтесь, товарищ подполковник, — любезно подвинув стул, сказал капитан, — и расскажите, что случилось. Вы отстали от поезда?

Кудрин рассказал ему о своём злключении и попросил связаться с УВД Волгограда. Капитан без промедления поднял трубку телефона и попросил телефонистку срочно связать его с дежурным по управлению. Через несколько секунд дежурный ответил, и Кудрин, представившись, попросил соединить с начальником отдела уголовного розыска майором Звягинцевым.

Вначале Роман удивился звонку Кудрина со станции «Раздельное», потом долго хохотал над пивным приключением товарища, а затем уже серьёзно сказал, что чемодан он заберёт, пришлёт за ним машину. Потом Звягинцев попросил передать трубку капитану, тот ответил, что все понял и все сделает.

— Пашка, — позвал капитан стоящего у двери сержанта, — сбегай к Валентине и скажи, чтобы приготовила закуску по высшему разряду и принесла сюда.

— Есть.

— У вас немного сотрудников, как я вижу? — спросил Кудрин.

— Эх, и не говорите, товарищ подполковник, — грустно проговорил Волин, — у меня по штату Пашка, которого вы уже видели, и два инспектора

уголовного розыска. Так вот, один из них в очередном отпуске, а другой болеет. Очень тяжело работать, ведь приходится отвечать за все правонарушения не только на вокзале, но и в пределах железнодорожного полотна, а штатное расписание отделения никуда не годится. Сколько раз докладывал начальству, а воз и ныне там. Повезло ещё, что у меня хорошие отношения с местным районным отделом внутренних дел; их начальник — мой старый приятель, поэтому, когда что-то случается у меня на территории, я вызываю оперативную группу из райотдела. Но материалы потом всё равно остаются у меня, и мы сами проводим дальнейшее расследование.

— Понятно.

В этот момент дверь кабинета открылась, и вначале появился сержант, а за ним — уже знакомая Кудрину буфетчица с подносом еды. Иван Данилович подошёл к огромному сейфу, стоящему в углу кабинета, и, открыв его, достал литровую бутылку мутноватой жидкости.

— Извините Евгений Сергеевич — это лучшее, что имеем, неплохой первак от местной рукодельницы, не побрезгуйте — это хороший напиток, — сказал капитан и поставил бутылку на стол.

— Ну, давайте, — проговорил Кудрин, — я же в отпуске.

— А у меня сегодня неофициальный приём высокопоставленного гостя из самой Москвы, — проговорил капитан и залпом опустошил стакан.

Кудрин, не отставая, тоже выпил до дна и от крепости поперхнулся.

— Закусывайте, Евгений Сергеевич, — сказал Иван Данилович и подвинул поднос к нему поближе.

— Да, давненько я не пил самогона, — проговорил Кудрин, — почти со времён работы в отделении милиции.

Закуска была отменная: варёная колбаска, пошехонский сыр, рижские шпроты, селёдка с зелёным луком и свежим огурцом.

Они выпили ещё по одной, и на душе у Евгения Сергеевича стало теплее и веселее. Он уже не вспоминал о рыбалке, а с упоением рассказывал капитану последние московские анекдоты.

Неожиданно в кабинет влетела буфетчица Валя и закричала:

— Данилыч, на складе Васька мёртвый лежит.

— Как так, я же его часа три тому назад видел с коробками у твоего буфета.

— Три часа тому назад был живой, а сейчас мёртвый лежит в своей берлоге, Верка-фельдшер уже побежала на склад.

— Небось пьяный в дугу лежит, — пробурчал капитан, — ладно успокойся и иди работай, я сам сейчас пойду туда.

— Иван Данилович, можно я с вами пойду, мне одному как-то здесь оставаться не хочется, — сказал Кудрин.

— Да что вы, товарищ подполковник, отдохните здесь, трудный день выпал сегодня на вашу долю, я сам управлюсь, — проговорил капитан.

— И всё же я пойду с вами, вдруг там что-то серьёзное.

— Ну как хотите, — сказал капитан и, пожав плечами, вышел из кабинета.

Кудрин и подошедший сержант последовали за ним. Они пошли по станционному залу в противоположный его конец. «Да, вот это зрелище», — подумал Евгений Сергеевич, рассматривая по пути потрескавшиеся стены с отбитой штукатуркой, грязные кресла и мусор под ногами. Народа в зале практически не было, никто не ожидал посадки на очередной поезд. На двери с табличкой «Туалет» он увидел приклеенный листок бумаги, на котором прописными буквами было написано: «Вход в туалет с обратной стороны, противоположной другой стороне». Кудрин улыбнулся, подумав: «Ну какой человек в здравом уме, прочитав эту ахинею, будет искать этот туалет, он скорее за углом вокзала справит нужду и наплюёт на все правила приличия».

В конце зала капитан подошёл к железной двери, на которой висела табличка «СКЛАД», и, открыв её, вошёл в комнату. За ним последовали Кудрин и сержант. Они вошли в небольшую комнату, заваленную какими-то коробками и ящиками. На потолке висела лампочка, горевшая тусклым светом, стены были влажными, а воздухе чувствовалась сырость. Капитан прошёл чуть левее и открыл ещё одну дверь, которую из-за тусклого света Кудрин не увидел. Они вошли в совсем маленькую комнатку с маленьким окном. У стены стоял небольшой диван, за ним маленький столик и табуретка, а на полу лежал худощавый мужчина с окровавленной головой. Рядом стояла женщина в белом халате.

— Что с ним, Вера? — спросил капитан.

— Конец Ваське пришёл, помер он, — проговорила она и стала собирать свой саквояж.

Кудрин обратил внимание на стол, на котором валялись две пустые бутылки из-под водки, кусок чёрного хлеба и пустая банка из-под шпрот. Он подошёл к небольшому окошку и приоткрыл его. В душную, пропахшую водочным перегаром и потом комнату ворвался свежий воздух.

— Вот чёртов паразит, алкаш несчастный! — вырвалось у Волина. — Ведь только из-за памяти отца его пристроили на работу, а он от водки потерял человеческий облик, и конец пришёл вполне предсказуемый.

Евгений Сергеевич подошёл к дивану, посмотрел на труп, на пол, который давно никто не убирал. На полу валялись огрызки яблок, куски хлеба и водочные пробки. Он обратил внимание на небольшую коробочку, лежащую под диваном.

— Пашка, — обратился Волин к сержанту, — звони в районный отдел милиции и вызывай оперативную группу, а потом не пускай сюда никого.

Сержант быстро вышел из комнаты, а Волин стал внимательно разглядывать рану. Кудрин с помощью носового платка, чтобы не стереть возможные отпечатки, осторожно взял коробочку. Это оказался серебряный портсигар с закруглёнными углами. Евгений Сергеевич не верил своим глазам: похоже, это был портсигар, украденный в начале лета из московского музея.

— Вот я его сейчас открою, а на обратной стороне крышки будет гравировка полумесяца, над которым пятиконечная звезда, — сказал он, обращаясь к капитану.

Открыв портсигар, Кудрин показал его Волину. Капитан присмотрелся: на внутренней крышке действительно был выгравирован полумесяц с пятиконечной звездой. Волин вопросительно посмотрел на Кудрина.

— Пойду-ка на вокзал и попробую найти свидетелей, которые могли видеть Ваську в последние часы его жизни.

Когда Волин вышел из комнаты, Евгений Сергеевич снова стал внимательно рассматривать портсигар и всё больше убеждался в правильности своего предположения: именно эта вещь была похищена несколько месяцев назад из музея. Кудрин аккуратно положил портсигар под кровать, откуда он его достал, отряхнул платок и ещё раз осмотрел комнату.

Его размышления прервали вошедшие в комнату трое сравнительно молодых мужчин и одна среднего возраста женщина.

— Подполковник милиции Кудрин, — представился Евгений Сергеевич и предъявил своё удостоверение личности.

— Следователь райотдела Синицын, — представился мужчина в форме капитана милиции, — а со мной инспектор уголовного розыска лейтенант милиции Бутов, эксперт-криминалист лейтенант милиции Хованцев и судебно-медицинский эксперт Власова.

Приступили к осмотру места происшествия. Примерно через полчаса, закончив осмотр, следователь начал писать протокол. Закончив, он попросил понятых, приглашённых сержантом, подписать его. Закончив формальности, он попросил сержанта вызвать из городской больницы машину для транспортировки тела в морг.

— Это ещё не всё, — сказал Кудрин и указал на лежащий под диваном портсигар, не замеченный следователем во время осмотра.

Эксперт-криминалист аккуратно достал его и раскрыл; внутри ничего не было, и он, закрыв портсигар, положил его в стеклянный бокс.

Евгений Сергеевич рассказал следователю об этой неожиданной находке и истории, связанной с ней.

— Мне необходимо связаться со своим руководством для дальнейших указаний, — проговорил Кудрин, — теперь это уже и моя забота узнать, как портсигар, украденный из московского музея, оказался в комнате рабочего на вокзале за много километров от Москвы.

В комнату вошли санитары с носилками и, получив от следователя необходимый документ, положили труп на носилки, закрыли его белой простыней и вынесли из комнаты.

— Что вы думаете о причинах смерти потерпевшего? — спросил следователь у эксперта Власовой.

— Предварительно могу сказать, что смерть наступила от большой потери крови часа три назад. Судя по всему, потерпевший был сильно пьян, что видно из косвенных составляющих, а именно: двух пустых бутылок из-под водки со свежим запахом спиртовых частиц и стойким водочным перегаром в комнате. Может быть, он упал и ударился о железную балку, выступающую из стены. Эта балка, как вы видите, тоже вся в крови, и удар, видимо, пришёлся в висок. Хотя если принимать во внимание разлохмаченные

волосы потерпевшего, порванный пиджак и прижизненные царапины на щеках, можно предположить, что перед смертью он с кем-то дрался. Более подробно о причинах смерти скажу после вскрытия.

Минут через пятнадцать оперативная группа уехала. Капитан Волин закрыл комнату на ключ, и вместе с Кудриным они отправились в кабинет.

— Давайте, товарищ подполковник, помянем Ваську, хоть он и был непутёвым, — сказал Волин, наливая в стакан самогон.

Они молча выпили, закусили, Иван Данилович, размяв сигарету, жадно затянулся дымом.

— Васька Балабанов жил с родителями в своей хате села Большое, что от станции в двух километрах, — начал рассказывать Волин. — Мать у него рано умерла, а отец Илья Николаевич работал машинистом на тепловозе и часто был в отъезде. Васька рос сам по себе, в школу ходил из-под палки, всё время проводил на улице с местными ребятами. Уже в детстве он начал покуривать, а чуть позже и выпивать. Несколько раз попадал в милицию за мелкое хулиганство, но выручал авторитет отца, который в районе был уважаемым человеком, его портрет долгое время висел на стенде лучших людей района. Года три тому назад Илья Николаевич умер, а Васька, оставшись один, стал крепко выпивать с сомнительными мужиками. И как-то раз, напившись, он, видимо, не погасив окуроч, спалил свою хату. Хорошо, что успел выскочить из горящего дома. После того случая жить ему стало негде, и он уехал из наших мест. Как говорили его бывшие соседи, Васька подался в Москву. Года три его не было, и вот месяц назад он снова у нас появился. Вид его был ужасным: опухший от пьянства, небритый, в грязной одежде — бродяга, одним словом. Так вот, он прямиком отправился к начальнику станции Семёну Петровичу Сидневу, когда-то близкому другу его отца. Тот в память об Илье Николаевиче пристроил Ваську рабочим в буфет, а на складе выделил ему для временного проживания ту самую комнату, где сегодня и нашли его мёртвым. Где Васька всё это время был, с кем крутился, никто не знает, — закончил свой рассказ Волин.

— Судя по найденному в его комнате портсигару, украденному из московского музея, Балабанов промышлял в Москве.

— Раз портсигар из похищенных вещей московского музея, значит, Васька имел к ним прямое отношение, — согласился Иван Данилович. — Кстати, я опросил граждан, бывших на вокзале, двое видели, как Васька, изрядно выпивший, шёл с каким-то парнем лет тридцати, плотного телосложения, с горбатым носом и шрамом на левой щеке. Буфетчица Валя тоже видела этого парня с Васькой. Она ещё сказала, что, когда горбоносый покупал у неё бутылку пива, заметила на фалангах правой руки крупную наколку «Кука», а на фаланге большого пальца татуировку в виде перстня, в котором на белом фоне была изображена перевёрнута карточная пика.

— Это уже кое-что, — сказал Кудрин, — согласно уголовной классификации, наколка с перстнем, внутри которого перевёрнутая карточная пика, означает, что человек сидел за хулиганство, а наколка «Кука» — вероятно, его кличка.

— И ещё, я думаю, что этот человек после этого сел на московский поезд...

— И сел, конечно, без билета, — поддержал капитана Кудрин, — заплатив наличными проводнице. Иван Данилович, мне нужно связаться со своим руководством, соедините меня, пожалуйста, с дежурным по московскому управлению.

Капитан попросил телефонистку связать его с московским управлением. Через минуту телефон зазвонил, и Кудрин сам снял трубку. Он представился, попросил связать его с полковником Кочетковым и через мгновение уже докладывал о событиях, произошедших на станции «Раздельное», о найденном портсигаре и о горбоносом мужчине, возможно, убившем Балабанова.

— Ну что же, Женя, возвращайся в Москву, а я дам указание, чтобы наши работники постарались перехватить подозреваемого на вокзале в Москве.

— И ещё, по описанию очевидцев у него на фалангах пальцев правой руки была наколка «КУКА», а на фаланге большого пальца татуировка в виде перстня с перевёрнутой карточной пикой.

— Нужно будет «пробить» его по нашим картотекам, — сказал Кочетков и, попрощавшись, положил трубку.

— Накрылась моя рыбалка, приказано вернуться в Москву, — расстроился Евгений Сергеевич.

Иван Данилович сочувственно покачал головой. В этот момент сержант доложил, что из Волгограда за гостем приехала машина.

— Ты, Пашка, вот что, попроси Валю, чтобы она накормила водителя, а то он наверняка голодный, и скажи ей, что я потом расплачусь с ней.

Сержант ушёл, а Кудрин снова попросил капитана созвониться с УВД Волгограда. Уже через минуту Кудрин говорил с Романом Звягинцевым и рассказывал ему о событиях, произошедших на станции. Потом сказал, что руководство приказало срочно возвращаться в Москву и что их рыбалка накрылась «медным тазом».

— Женя, ну что у нас за жизнь такая, одна работа и всё, порой так закрутит, что иногда придёшь домой и не знаешь 03 набрать или 0,5 открыть, — сказал Звягинцев.

— Вот ты Ромка шутишь, а мне не до смеха, я ведь так мечтал о рыбалке, а тут такой облом.

— Да понимаю я, обидно, конечно, что так получилось. Слушай, а ведь ближайший пассажирский поезд на Москву с этой станции будет только завтра утром. Следовательно, в Москву ты приедешь через двое суток. Я поговорю с военными, может, у них какой-нибудь борт летит в ближайшее время в Москву.

— Хорошо, — ответил Кудрин и, положив трубку, заметил висевший на двери кабинета большой красочный плакат. На нём была нарисована огромная метла, которая заметает сор из пустых бутылок, а над ней крупными буквами было написано: «Врага-самогонщика и яд-самогон из нашего дома советского вон».

Взгляд Евгения Сергеевича скользнул по плакату, а потом по рабочему столу капитана, где стояла недопитая ими бутылка с самогоном.

— Ну что, Иван Данилович, — со вздохом сказал Кудрин, — допьём, что ли, бутылку.

— Конечно, — обрадовался капитан.

После самогона Евгений Сергеевич немного повеселел и даже рассказал капитану очередной анекдот. Минут через двадцать в кабинете зазвенел телефон. Волин снял трубку и протянул её Кудрину:

— Это вас майор Звягинцев.

— Женька, у военных на Москву сегодня в двенадцать часов ночи идёт борт, я договорился, что ты с ними полетишь. Только этот борт прилетит в Москву во Внуково-2. Времени не теряй, садись в машину и езжай в сторону Волгограда.

— Спасибо большое, Рома, — ответил Кудрин, — у меня к тебе будет просьба, созвонись с дежурным по нашему УВД и скажи ему о времени прибытия самолёта в Москву, чтобы тот выслал за мной дежурную машину, а я уже «лечу» в аэропорт.

Через несколько минут он уже мчался на серой «Волге» в сторону Волгограда.

У самого города их ждал Звягинцев. Поздоровавшись, они по-братски обнялись и поехали в сторону военного аэродрома. И как бывало ещё с курсантских времён, Роман достал из своего портфеля бутылку коньяка и бутерброды.

— На аэродроме не будет такой возможности, давай здесь выпьем за встречу.

Они выпили, закусили бутербродами, обсудили событие, произошедшее на станции. Роман обещал, что они всё равно порыбачат на Волге. Через полчаса Евгений Сергеевич, попрощавшись с товарищем, уже сидел в небольшом турбовинтовом самолёте рядом с группой военных и с ужасом смотрел на выдавший виды салон самолёта с торчащей кусками тряпичной отделкой и грязными иллюминаторами. Он закрыл глаза и задремал. Часа через три самолёт благополучно приземлился в московском аэропорту, и через некоторое Кудрин уже сидел в дежурной машине.

Утром Евгений Сергеевич сразу же отправился на доклад к полковнику Кочеткову. Подробно рассказав обо всём происшедшем, он с грустью посетовал, что рыбалка сорвалась.

— Мне искренне жаль, Евгений, что так получилось, но я тебе обещаю, что в любое время тебя отпущу и на рыбалку, и на охоту. И ещё, — добавил полковник, — пусть твои сотрудники поедут на вокзал к приходу поезда из Волгограда и попытаются задержать этого горбоносого. А дело по краже из музея я распорядился из отделения милиции передать нам. Вот ты стоял, можно сказать, у истоков расследования, да и волгоградский эпизод ты хорошо знаешь, так что тебе, Женья, и карты в руки, распутывай со своими сыщиками дальше этот клубок.

— Да вы что, товарищ полковник, у меня и так дел куча и маленькая те- лежка, — возразил Кудрин.

— Не бунтуй, Евгений, это приказ, — проговорил Кочетков и взялся за одну из папок, лежащих у него на столе, всем видом давая понять, что аудиенция окончена.

Евгений Сергеевич вышел от начальника расстроенным: «Вот как бывает, на рыбалке не побывал, а новое уголовное расследование поймал!» Не успел он войти в свой кабинет, как раздался телефонный звонок.

— Это Макеев — директор музея. Помните кражу экспонатов в начале июня? Мне надо с вами срочно поговорить.

«Ну надо же, на ловца и зверь», — подумал Кудрин и ответил:

— Приходите, я вам оформлю пропуск на двенадцать часов дня.

— Буду обязательно, — коротко ответил Макеев и положил трубку.

Евгений Сергеевич пригласил Вольского и попросил его по имеющимся приметам «пробить» Куку, а потом с сотрудниками отдела поехать на вокзал к прибытию поезда и попробовать задержать и доставить подозреваемого на Петровку, 38.

Ровно в двенадцать часов дня послышался стук в дверь кабинета, и на пороге появился директор музея Макеев. Лицо директора музея выглядело поблёкшим, правое веко дёргалось в нервном тике.

— Проходите, товарищ Макеев, присаживайтесь, вас, если мне память не изменяет, Иваном Андреевичем зовут? — спросил Кудрин.

— Так точно, — по-военному ответил тот, сел на предложенный стул, вынул из кармана носовой платок и вытер обильный пот со лба.

— История эта длинная...

— Рассказывайте всё, я внимательно слушаю, — сказал Евгений Сергеевич.

— Начну со своего рождения, — начал он. — Родился я в шестнадцатом году в Петрограде. Мать моя умерла при родах, поэтому её я вовсе не знал. Отец — Андрей Егорович Макеев — работал тогда слесарем на Путиловском заводе. Он всей душой принял революцию и в семнадцатом году вступил в партию большевиков, а в девятнадцатом году по призыву партии поехал в Среднюю Азию бороться с басмачами — врагами Советской власти. Поскольку родственников у нас почти не было, он взял меня, совсем ещё малыша, с собой в тёплые края. Так мы оказались в Бухаре, где отец стал воевать с басмачами. Когда я подрос и окончил среднюю школу, отец уже был заместителем командира отряда ОГПУ, а в тридцать пятом году — командиром специального отряда НКВД по Бухарской области.

Однажды, в тридцать восьмом году, когда отец лежал на лечении в военном госпитале Бухары, я пришёл проведать его. Мы вышли из палаты прогуляться. Отец спросил меня о дальнейших планах после окончания школы, на что я ему ответил, что хочу пойти по его стопам и стать военным. Он одобрил моё стремление, хотя и предупредил о трудностях и опасностях на этом пути. И тут отец неожиданно, чего раньше никогда не делал, заговорил о своей службе. Так я узнал, что он был командиром специального отряда по розыску пропавших драгоценностей последнего эмира Бухары. Я, естественно, об этом ничего не знал, поэтому слушал отца, широко раскрыв рот.

Отец рассказывал, что эмир Бухары Сеид Алимхан родился в 1880 году и был последним представителем тюркского рода Мантыгов, правившего Бухарским эмиратом почти два века. Когда ему исполнилось тринадцать лет, отец Абдулахад-хан, правивший тогда ханством, отдал его в кадетский корпус Николаевского полка Санкт-Петербурга. Через три года Сеид Алимхан вернулся в Бухару, а ещё через некоторое время, после смерти своего отца, он, как наследник престола, занял место эмира Бухарского ханства. После этого он был произведён императором в генерал-майоры и вошёл в список свиты Его Императорского Величества Николая Второго.

Сеид Алимхан управлял ханством до сентября 1920 года. Когда Бухара была захвачена Красной армией, эмир со своей свитой бежал в Афганистан. Перед своим бегством Сеид Алимхан приказал привести к нему в летнюю резиденцию доверенных лиц. В центре основного дома дворца существовала специальная шестиугольная комната. Вокруг неё располагались ещё комнаты, и она не имела внешних стен. Это было сделано для того, чтобы никто со двора не смог подслушать разговоры эмира. По рассказам пленных басмачей, одним из таких людей был дервиш Даврон. Дервиш — это мусульманский аналог нашего монаха, — уточнил Макеев. — Так вот его привели в эту комнату ночью, чтобы не видели лишние глаза. В покоях повелителя, кроме самого эмира, Даврон встретил ещё одного человека — телохранителя эмира Тисобо Калапуша. Как рассказывал отец, необычная судьба была у этого человека. В детстве он рос вместе с любимым племянником эмира Рахимхоном. Родители Калапуша работали в той семье и умерли от брюшного тифа, а мальчик выжил, и, поскольку он остался совсем один и дружил с Рахимхоном, ему разрешили жить в их семье. Когда Рахимхон подрос, эмир решил отправить его на учёбу в тот же кадетский корпус в Санкт-Петербург, но любимый племянник заявил, что он без Калапуша никуда не поедет. И как его ни уговаривали родители и сам эмир, тот стоял на своём. Поскольку эмир очень любил своего племянника, то пришлось ему отправлять на учёбу обоих. Основной задачей Калапуша, по велению эмира, было присматривать за Рахимхоном и оберегать его от всего дурного.

После окончания учёбы в кадетском корпусе Калапуш был зачислен эмиром своим телохранителем, а впоследствии повелитель сделал его начальником всех своих охранников. Теперь вместе с эмиром они решали, как спасти сокровища. Золота и драгоценностей было так много, что для каравана потребовалось бы около сотни выючных лошадей, каждая из которых могла бы нести два тюка с пятью пудами золота и драгоценностей.

Отец говорил, что у них было не так много вариантов. Во-первых, это был Кашгар, где находилось английское посольство, возглавляемое старым приятелем эмира консулом Эссертом. Но как предполагал отец, скорее всего, тот отказал эмиру, испугавшись общей нестабильности в Туркестане. Может быть, он вышел на контакт с вице-королем Индии, хотя и тот эмиру, видимо, отказал, зная отказ Эссерта. Идти с таким караваном в Иран было опасно — ситуация в Закаспии была очень напряжённой. Они приняли, как

теперь стало известно, другое решение — спрятать все драгоценности в горах до лучших времён.

В первой половине сентября 1920 года ночью караван из нескольких сот лошадей и верблюдов, гружённых сокровищами Бухары, с запасами воды и продовольствия, двинулся на юг к предгорьям Памира. Охрану составляли эмирские гвардейцы, которыми командовал Калапуш. Рядом с ним стремя в стремя ехал и дервиш Даврон.

Первоначальным местом, где он предполагал спрятать драгоценности, был заброшенный средневековый город в Каршинской степи. Но планы эти были нарушены людьми из соседних кишлаков, которые могли увидеть караван. Тогда отряд пошёл на Гузар и направился дальше в предгорье Памира к Гиссарскому горному хребту.

— Я там не раз бывал, — говорил отец. — Сам горный хребет находится на западной части Памира между реками Амударья и Зеравшан. Там холмистые склоны, если передвигаться в восточном направлении, постепенно переходят в скальные массивы, а горные реки хребта за много лет выточили в нем огромные каньоны и расщелины. Вот там, в одном из таких каньонов, Калапуш, скорее всего, и увидел большую расщелину, в которой приказал Даврону спрятать драгоценности эмира. Около двух суток Калапуш ждал Даврона, но тот не возвращался. Встревоженный Калапуш поднял по тревоге своих конников, и через несколько километров пути отряд наткнулся на убитых людей. Это были охранники каравана, следовавшие с Давроном. Один из них оказался смертельно раненным, но смог рассказать о происшедшем. Погонщики каким-то образом узнали о содержимом караванных вьюков и решили завладеть сокровищами эмира. Произошла схватка между погонщиками и людьми Даврона, которые победили в ней. Каким-то чудом этот раненый воин сбежал от Калапуша и скрылся в одном из горных аулов. Отцу рассказали об этом люди, которым перед смертью поведал об этом тот воин.

Отряд Калапуша продолжил путь к горной расщелине, и вскоре они увидели раненого Даврона и двух конников. Он рассказал Калапушу, что груз спрятал именно в той расщелине, о которой говорил Калапуш. Пока Даврон перевязывал раны и отдыхал, Калапуш поскакал к месту сокрытия драгоценностей, которое указал Даврон и, убедившись в сообщённом, направился обратно к ждущему его отряду. Когда он прискакал к отряду, то убил Даврона и его спутников. Так приказал эмир; его воля была такова: место, где спрятаны драгоценности, должен был знать лишь один человек — Калапуш.

Отряд двинулся дальше и через несколько дней подъехал к Караулбазару, небольшому населённому пункту у самой Бухары. Здесь их встретил командующий эмирской артиллерией Низемеддин. Калапуш понял, что тот не просто так оказался здесь. Через несколько минут все его люди были убиты. Таким образом, единственным живым человеком, кто знал о месте, где спрятаны драгоценности, оказался именно он. Калапуш, видимо, надеялся, что ему, долгое время бывшему личным телохранителем эмира,

властитель доверит и тайну своего богатства. Но он ошибся: в покоях эмира Калапуш нашёл свою смерть.

— Не знаю почему, — проговорил Макеев, — но у отца сложилось впечатление, что не всё Калапуш рассказал эмиру о том, где спрятаны драгоценности. Отряды басмачей делали свои набеги в основном в районы, примыкающие к Гиссарскому хребту. Видимо, эмир не знал точного места, где были спрятаны его драгоценности.

Через два дня Сеид Алимхан со своими приближёнными бежал из Бухары в Афганистан. Как рассказывал отцу его знакомый из личной охраны Фрунзе, он доложил рапортом начальнику политуправления Туркестанского фронта о том, что в Шахриязбе, где останавливался эмир во время следования в Афганистан, было изъято два мешка золота и других драгоценностей. Все эти ценности по указанию Фрунзе были перевезены в Самаркандский банк.

— Вот такую историю поведал мне отец, — закончил свой рассказ Макеев.

— А почему, по вашему мнению, он рассказал то, что не должен был говорить, ведь, скорее всего, он давал подписку о неразглашении всего того, что связано с драгоценностями эмира? — спросил Кудрин.

— Я думаю, отец предчувствовал свою смерть и, действительно, через месяц умер от старых ран.

— Ну а потом, через день после разговора с отцом, — продолжил Макеев, — я пошёл в военкомат и попросил направить меня в Ташкент на двухгодичные курсы младших офицеров. Военком был сослуживцем отца, и через месяц я уехал в Ташкент познавать азы военного дела. А ещё через месяц я узнал, что умер отец. Мне разрешили с ним проститься, и я приехал в Бухару, где проводил его в последний путь.

— В 1940 году после окончания курсов, — продолжал Макеев, — мне было присвоено звание младшего лейтенанта, и я отправился на место службы — Бухарское управление НКВД. Меня зачислили на должность заместителя командира отряда НКВД по борьбе с басмачеством; так я практически сменил отца на этом посту. Мы гоняли басмачей повсюду, но особенное рвение они проявляли в округе Гиссарского горного хребта. Мне тогда не раз вспоминались слова отца, что Калапуш, видимо, не сказал эмиру точного места клада. Складывалось впечатление, что басмачи что-то искали в этом районе, несмотря на то что этот горный хребет тянется более чем на двести километров.

— В январе сорок первого, — проговорил далее Макеев, — командир моего отряда ушёл на повышение, а меня назначили на его место. Где-то в конце февраля месяца мы преследовали очередную банду басмачей, и на подъезде к небольшому селению Караулбазар я увидел в бинокль странную картину: басмачи, сложив винтовки у полуразрушенного дома, лопатами копали землю по его периметру. Я дал команду окружить этот дом, благо он находился в зарослях каких-то кустов, и уничтожить всех находящихся рядом с ним бандитов. Так мы и поступили; басмачи были убиты, а их главарь, который находился в самом доме, пытался сбежать, но был пойман.

— Были уже сумерки, — продолжал Макеев, — и я распорядился, чтобы отряд заночевал в близлежащих домах, в которых никто не проживал. Бойцы разошлись по домам, разожгли костры и принялись ужинать пайками, которые им выдавали перед каждым рейдом. А я стал допрашивать главаря банды басмачей, предварительно поставив у дверей своего ординарца Сашку Бездомного.

— Это что, такая фамилия ординарца? — спросил Кудрин.

— Да, — ответил Макеев, — Сашка тогда привязался ко мне; год назад в одном кишлаке басмачи вырезали всех сочувствующих Советской власти, в том числе и его родителей, которые были учителями. Сашку тоже чуть не расстреляли. Когда мы ворвались в кишлак, я буквально из-под дула ружья выхватил его. Поскольку у Сашки уже был призывной возраст, то в военкомате он попросился на службу в мой отряд, а я посодействовал ему. Его фамилия была Лапоть, и она уж очень ему не нравилась, поэтому, когда ему делали новые документы, взамен утраченных при пожаре, он взял новую — Бездомный. Так вот и стал Сашка Бездомный как бы у меня ординарцем: исполнял мои поручения по службе, помогал писать некоторые документы, заваривал чай, приносил еду. Так вот Сашку я специально поставил у двери, чтобы не было лишних ушей, а ещё на всякий случай заглянул в незастекленные маленькие окна, там тоже никого не было.

Главарь банды сказал, что его зовут Алдар-бек и что он являлся доверенным лицом эмира. Он упал на колени и попросил не убивать его, так как все его восемь детей останутся в Кабуле без средств к существованию.

— Тогда я спросил у него, — продолжал Макеев, — что они искали у этого полуразрушенного дома?

— Так приказал эмир, — ответил Алдар-бек. — Но вначале я расскажу то, что не знает никто. Когда Калапуш вошёл в покои эмира, я стоял у другой двери в его спальню. Так вот я отчётливо слышал, что он сказал: все драгоценности повелителя спрятаны в одной из расщелин Гиссарского хребта. Потом он подошёл к небольшому столику, на котором лежала карта Туркестана и пальцем провёл вдоль предгорья Памира.

— Но это же огромная горная система, — пробормотал эмир.

— Совершенно верно, повелитель, — сказал Калапуш, — вас, как и меня, учили в кадетском корпусе определять географическую широту и долготу на земной поверхности.

Он достал из кармана халата кусочек бумаги и, протянув её эмиру, сказал:

— Здесь на бумажке написана одна географическая координата, где спрятаны драгоценности, северная широта.

— Где мои драгоценности? — заорал эмир.

Калапуш, немного помедлив, ответил:

— Ориентиры восточной долготы я спрятал в деревянную шкатулку с вашим ликом, которую мне подарил ваш племянник во время нашего обучения в кадетском корпусе. Я видел, как вы, в том числе и моими руками, расправились не только со всеми охранниками, сопровождавшими груз,

но и с вашим доверенным лицом — Давроном. И чтобы со мной такого не произошло, дайте мне возможность сейчас покинуть дворец живым, а завтра мой доверенный человек укажет, где я спрятал шкатулку.

Глаза у эмира налились кровью, и он заорал:

— Стража, взять его и скормить голодным собакам.

Я и ещё прибежавший охранник, выскочили из соседней комнаты и увидели, как Калапуш что-то рукой положил себе в рот. Когда мы подбежали, он уже упал, а изо рта пошла пена.

— Лекаря, — закричал эмир.

Через несколько минут прибежал лекарь, который зафиксировал смерть Калапуша.

— Вот такую историю рассказал мне тогда Алдар-бек, — сказал Макеев.

— Так, — задумчиво произнёс Кудрин, — благодаря таким понятиям, как широта и долгота, можно найти любую точку на земной поверхности. Однако вряд ли её можно отыскать, зная лишь только одну географическую координату. Вот и выходит, что Калапуш сознательно сообщил эмиру лишь одну координату, чтобы остаться живым. Теперь и мне становится понятно, почему басмачи свои набеги совершали в район Гиссарского хребта.

— Это точно, — подтвердил Макеев, — эмир, не зная этой координаты, посылал свои отряды басмачей, причём не столько для диверсий против советской власти, сколько для поиска своих драгоценностей.

— А почему эмир приказал Алдар-беку идти именно в Караулбазар? — спросил Евгений Сергеевич.

— Алдар-бек тогда сказал, что несколько месяцев назад эмир, как всегда, прогуливался по кабульскому базару. Раз в неделю он любил погулять вдоль его торговых рядов и чего-нибудь купить. Неожиданно в одном из продавцов он узнал своего старого парикмахера, который обслуживал эмира не один десяток лет. Эмир обрадовался старому знакомому, ведь он являлся как бы свидетелем тех сладких и безоблачных времён, когда он был повелителем Бухары. На предложение эмира попить чай парикмахер с удовольствием согласился, и они пошли в лучшую чайхану кабульского базара. Там за чашкой чая эмир и узнал, что в тот день, когда Калапуш с двумя всадниками проезжал мимо своего дома в селении Караулбазар, он заходил к себе домой.

— А откуда он мог знать об этом? — удивлённо спросил Кудрин.

— Как говорил Алдар-бек со слов самого эмира, — ответил Макеев, — парикмахер также жил в этом же селении и как раз напротив дома Калапуша. А в тот день он был дома и видел, как Калапуш входил в свой дом, примерно через полчаса вышел оттуда и присоединился к своим попутчикам.

— Судя по всему, — продолжал он, — эмир догадался, что ту самую шкатулку, о которой говорил Калапуш перед смертью, он спрятал где-то в своём доме или возле него, так как после этого он явился в крепость Арк, где тогда был эмир со своей свитой. Вот после этого эмир и приказал Алдар-беку собрать отряд и выдвинуться в Караулбазар к дому, где жил Калапуш.

— Выслушав Алдар-бека, — проговорил Макеев, — я сказал, что оставляю ему жизнь в обмен на сотрудничество с органами НКВД. Тот сразу согласился и написал расписку о сотрудничестве.

— А что было потом? — спросил Евгений Сергеевич.

— А потом, — ответил Макеев, — я ему дал пароль для связи и сказал, чтобы он ночью вылез из торцевого окна, там охраны не будет. Он так и сделал, и ушёл ночью через границу. В Бухаре я всё доложил своему начальнику и отдал ему расписку Алдар-бека. Он был очень доволен и обещал даже поощрить меня. Но вместо поощрения через неделю мой начальник и я были арестованы. Его расстреляли сразу, а меня особым совещанием за сотрудничество с врагами Советской власти приговорили к пятнадцати годам лишения свободы. Я был подавлен случившимся. Уже через несколько недель оказался в лагере под городом Мары — самой южной точки Союза. Здесь мне неожиданно повезло: заместитель начальника лагеря оказался бывшим сослуживцем отца. Однажды он вызвал меня к себе и угостил папиросой. Я спросил у него, за что меня посадили и кто мог этому поспособствовать? И вот тогда он молча достал из сейфа моё дело, вынул из него один лист и протянул его мне. Я читал его и глазам не верил — донос на меня написал не кто иной, как Сашка Безродный. Он писал, что своими ушами слышал, как я и враг Советской власти басмач Алдар-бек договаривались о моей работе на афганскую разведку.

— Какая чёрная неблагодарность, бывает же такое! — вырвалось у Евгения Сергеевича.

— Через некоторое время мы узнали, что на страну напали фашисты и началась война, — продолжал директор музея, — однажды нас построили у барачков и спросили, кто хочет идти воевать, чтобы кровью искупить свою вину. Я вышел одним из первых и уже через две недели в роте штрафников сидел с винтовкой в окопе под Ржевом. Там меня ранили, и я месяц пролежал в госпитале. Потом снова фронт, но уже рядовым со всеми правами, и снова ранение, а потом меня демобилизовали по ранению, и я осел в Подмосковье. После войны окончил историко-архивный институт и стал работать в музее. Вырос до директора музея, но настала пора уходить на пенсию, дать дорогу молодым, — закончил свой рассказ Макеев.

— А как вы узнали, что археологи нашли эту шкатулку? — спросил Кудрин.

— Полгода назад я случайно прочитал в газете «Правда Востока» про археологические раскопки рядом с Бухарой. Там было написано, что наряду с артефактами древности были найдены вещи, принадлежавшие последнему эмиру Бухары, которые будут переданы в краеведческий музей города. К статье прилагалась фотография, на которой была видна старая мотыга, портсигар и деревянная шкатулка с ликом эмира. Я понял, что это та самая шкатулка, о которой говорил Алдар-бек, и у меня пробудился непреодолимый интерес к ней. Захотелось не то чтобы завладеть этими драгоценностями, а просто узнать, что оставил Калапуш в этой шкатулке. Я созвонился с этим музеем и по согласованию с руководством поехал в Бухару.

Город моей юности очень изменился, он похорошел, появились многоэтажные здания, новые проспекты, но тихие улочки с платановыми деревьями остались такими, как и прежде, и центральный базар практически сохранил свой вид.

— Я договорился с дирекцией музея, чтобы они в рамках обмена экспонатами выставили некоторые у нас в музее, — продолжал Макеев, — для них было очень престижно выставлять свои артефакты в московском музее. Там я впервые увидел шкатулку, но не стал привлекать к ней особого внимания, а просто отобрал её в числе других экспонатов для выставления в нашем музее. Мы договорились, что все отобранные экспонаты пробудут в нашем музее один месяц, после чего мы их вернём в Бухару. Вот таким образом шкатулка попала в наш музей, а дальше вы всё знаете.

— Интересная история, — задумчиво сказал Евгений Сергеевич, — но кто же мог знать о тайне этой шкатулки?

— Для меня это тоже загадка, хотя её могли стащить просто заодно с прочими украденными вещами. Ведь серебряный портсигар немалых денег стоит, да и пряжка также прилично.

— А вам удалось открыть шкатулку? — спросил Кудрин.

— Да в том то и дело, что нет, ведь экспонаты привезли в воскресенье, и мы весь понедельник обустраивали для них стенды. К тому же крышка была крепко закрыта, и, чтобы открыть её, нужно было применить какие-нибудь слесарные приспособления. Но мне было очень интересно узнать, что было написано в бумажке Калапушем.

— Понятно что — географическая координата долготы, — проговорил Евгений Сергеевич, — однако, как мы уже говорили, зная лишь её одну, невозможно отыскать драгоценности.

— Если представить себе, что эмир кому-нибудь из наследников указал на известную ему географическую точку, — размышлял директор музея, — то, может, они и искали шкатулку? У эмира была жена и три сына, которых он не взял с собой в Афганистан. Как рассказывал гид музея в Бухаре, эти сыновья погибли в сталинских застенках, а сам эмир снова женился в Кабуле на таджичке, и у него родилась дочь — Шукрия Алими. После смерти отца она училась в университете, стала журналисткой и в настоящее время живёт в Америке. Может быть, эмир перед смертью рассказал ей о шкатулке...

— Может быть, и так, — ответил Кудрин, — на востоке наследниками становятся сыновья, но, видимо, у эмира не было другого выбора.

— Это всё, что я хотел вам рассказать, не было дальше сил скрывать это, — сказал Макеев.

Поблагодарив директора музея, Евгений Сергеевич отметил ему повестку, и, попрощавшись, Макеев вышел из кабинета.

«Много в мире недоступного нашему сознанию, — размышлял Кудрин, — самое сложное — выбрать правильный путь. Но для этого может быть недостаточно жизненного опыта и знаний, тогда этот путь будет ошибкой. А если это будет так, то выбор надо будет делать заново. Всё, что происходило с Макеевым в юности, было обусловлено недостаточным жизненным опытом:

излишняя доверчивость и недостаточность знаний о происходящих в стране событиях и обстановке, складывавшейся накануне войны».

Мысли Кудрина прервал зашедший в кабинет Роман Вольский. Поздоровавшись, Евгений Сергеевич рассказал о событиях, произошедших на станции «Раздельное».

— Вот что, Рома, — сказал Кудрин, — во-первых, пробей этого Куку по нашим картотекам, а во-вторых, в восемь вечера прибывает скорый поезд из Волгограда, так ты вместе с сотрудниками отдела поезжайте на вокзал и постарайтесь выявить его по приметам.

Евгений Сергеевич передал Вольскому листок бумаги, на котором написаны приметы Куки.

Кудрин посмотрел на свой рабочий стол, взгляд остановился на папках, лежащих стопкой на столе.

— А ведь помимо этой «Бухары» у меня ведь много других дел, — подумал он и ушёл с головой в ворох повседневных дел, оторвавшись от работы только тогда, когда в кабинет снова вошёл Вольский.

— Установили мы этого Куку, — начал он, — действительно это ранее судимый за хулиганство Кукуев Борис Фёдорович. Освободился из колонии в прошлом году и в настоящее время работает продавцом в палатке «Спортлото» на Комсомольской площади. Тридцать два года, не женат, проживает в квартире с больной матерью. Более подробная установка на него будет завтра, так как сегодня уже поздно и вряд ли можно ещё что-либо узнать.

— Что касается встречи на вокзале, — продолжал он, — так мы его, к сожалению, не смогли вычислить из всех приехавших в этом поезде. Задержали по приметам одного горбоносого мужика, но у него не оказалось татуировок, кроме того он был армянином, командированным в Москву Волгоградским строительным управлением.

— Ну да, носы у армян — самая видная часть лица, — проговорил Кудрин, — знаешь Рома, у одного армянина спросили: «Какая самая красивая птица в мире?», так он ответил, что это орёл, потому что у него самый красивый нос.

— Это хорошо, что установили Куку, — уже серьёзно сказал Евгений Сергеевич. Необходимо завтра его найти и доставить к нам.

На следующий день утром в кабинет Кудрина вошёл Роман Вольский и доложил, что поступила информация о том, что вчера вечером Кукуев, будучи в состоянии опьянения, устроил драку в кафе «Прага» в парке Сокольники. Поздно вечером участковый инспектор вместе с сотрудниками ГАИ доставил его в дежурную часть РОВД. Но драка — это ещё не всё. Некая гражданка написала в милицию заявление о том, что Кука вчера вечером изнасиловал её у туалета в кафе.

— Ничего себе расклад! Собирайся, Рома, мы немедленно выезжаем в Сокольнический РОВД.

Евгений Сергеевич созвонился с начальником уголовного розыска РОВД, кратко сообщил ему об оперативном интересе к задержанному Кукуеву и предупредил о своём приезде.

Минут через тридцать они входили в кабинет начальника уголовного розыска Сокольнического РОВД Ковалёва. Евгений Сергеевич был знаком с ним, поэтому без всяких преамбул более подробно рассказал о цели их приезда. Ковалёв, в свою очередь, пригласил к себе в кабинет инспектора уголовного розыска, у которого были материалы по вчерашней драке в кафе и заявление потерпевшей.

В кабинет вошёл молодой человек и представился:

— Лейтенант милиции Рябов.

— Ты вот что, Сергей, — обратился к нему Ковалёв, — принеси все материалы по вчерашней драке и заявление Верки-Огонька.

— Этот Кукуев, — сказал Ковалёв, обращаясь к гостям, — вчера устроил потасовку со своими собутыльниками в кафе «Прага». Ничего особенного там не было, ну, разбили хулиганы носы друг другу, да чёрт с ними. А вот свою подружку Верку по кличке Огонёк, он по пьянке при всех пацанах приделал кулаком в глаз. Та с характером, вот и решила ему отомстить: от боли и унижения взяла и написала на него заявление об изнасиловании и отдала участковому инспектору, вызванному администрацией кафе.

В кабинет вошёл Рябов и передал Ковалёву серую папку, а тот, посмотрев, передал её Кудрину.

— Тут на улице Верка-Огонек кругами ходит, — сказал Рябов, — она ещё с самого утра прибежала в дежурную часть и стала упрашивать отдать обратно её заявление на Кукуева: зря, мол, наговорила на него и он её жених.

Евгений Сергеевич выглянул в окно. У входной двери он увидел молодую особу лет тридцати в модных джинсах и короткой кофте. Волосы её были взлохмачены, а под глазом «светился» огромный синяк. Было видно, что она пыталась его замаскировать слоями пудры, но никакая пудра не могла спрятать сине-фиолетового цвета.

— Это и есть та самая Огонёк? — спросил он.

— Так точно, товарищ подполковник, она самая, — ответил Рябов и добавил: — Трусова Вера Семёновна, тусует с Кукой давно. Зимой он также её избил, и она написала на него заявление в милицию, но потом забрала обратно, а Кукуев отделался штрафом за мелкое хулиганство.

— Можно его привести сюда? — спросил Евгений Сергеевич, просматривая на ходу бумаги из серой папочки.

Через несколько минут дежурный офицер привёл Куку. В кабинет вошёл крепкого телосложения человек с горбинкой на носу и взлохмаченными волосами. Рукав его рубашки был разорван в нескольких местах, брюки были запачканы грязью, на руке у локтя виднелся свежий кровоподтёк, а на пальцах правой руки Кудрин увидел известные ему татуировки.

— Где ты был два дня назад? — спросил он у Кукуева.

— Дома был.

— Послушай, Кукуев, — резко проговорил Евгений Сергеевич, — я знаю, что ты был на станции «Раздельное» и убил Ваську Балабанова.

— Нигде я не был, не знаю никакого Балабанова и никого не убивал, — ответил Кукуев.

— У нас имеются веские доказательства твоего пребывания на станции. Во-первых, ты оставил свои «пальчики» в комнате Васьки Балабанова, а во-вторых, тебя видели люди, когда вместе с Васькой вы шли по зданию вокзала.

— Да не знаю я никакого Ваську Балабанова, не шейте мне дело, — зло ответил Кукуев.

— Ну хорошо, зайдём с другой стороны, — ответил Евгений Сергеевич и достал из серой папочки бумагу, написанную мелким почерком.

— Гражданка Трусова Вера Семёновна написала заявление о том, что вчера в кафе её изнасиловал гражданин Кукуев.

Евгений Сергеевич показал Куке заявление.

— Верка, сука.

— Ты вот, видимо, под воздействием винных паров не заметил, что штампа на заявлении гражданки Трусовой пока нет, — сказал Кудрин, — ты уже прошёл школу уголовного и знаешь, что, когда оно будет проштамповано, твоя Верка уже ничем тебе не поможет, даже если захочет забрать заявление; статья ведь будет не за хулиганство, а в зоне ты хорошо знаешь, что делают с осуждёнными за изнасилование. Но если ты сейчас расскажешь всё о том, что произошло в «Раздельном» и кто тебя послал туда, я думаю, Верка сможет забрать заявление, она уже с утра обивает пороги дежурной части. В этом случае ты, как и прежде, отделаешься мелким хулиганством. У тебя, Кука, есть одна минута, или ты нам всё рассказываешь о твоём вояже в Раздельное, или я уйду и передаю дежурному офицеру заявление Трусовой для регистрации. Подумай о своей больной матери, она может и не дожидаться тебя. Время пошло!

— Нет, — закричал Кукуев, — я всё скажу, только не передавайте заявление, прошу вас.

— Ну вот и договорились, рассказывай всё, что знаешь.

— Поехать в Раздельное мне приказал Золотой, он мне дал адрес Шныря, ну, этого Васьки, денег и сказал, что нужно у него забрать деревянную шкапулку с изображением на крышке бородатого мужика.

— Неужели Золотой опять взялся за старое? — произнёс Ковалёв. — Это местный авторитет, вор в законе Балугин Андрей Фёдорович. Он уже совсем старый стал и тусуется со своими друзьями в парке Сокольники, но в последнее время грехов за ним не наблюдалось.

— А Шнырь — это и есть Васька Балабанов? — уточнил Кудрин.

— Ну да, — ответил Кукуев, — Васька, но фамилии его я не знаю.

— Продолжай, — обратился Ковалёв к Кукуеву.

— Приехав на станцию, я сразу же увидел Шныря в здании вокзала, — сказал Кукуев, — и искать его не пришлось. Он был изрядно пьян и когда увидел меня, то не просто удивился, а, как мне показалось, был напуган нашей встречей. Я ему сказал, что Золотому нужна какая-то деревянная шкапулка, и Шнырь повёл меня в какую-то комнату в здании вокзала. Эту шкапулку я сразу увидел. Она была открыта и валялась на полу среди кучи мусора и пустых бутылок. Я её поднял, но в этот момент Шнырь

неожиданно меня схватил сзади за шею и стал душить. Я оттолкнул его от себя, а Шнырь не удержался и, поскольку был сильно пьян, упал на пол, стукнувшись головой об какую-то торчавшую железную балку. Я схватил шкатулку с изображением на крышке бородатого мужика и выбежал из комнаты. В это время шла посадка на поезд до Москвы, и, договорившись с одной из проводниц, я уехал с столицу. Ну а в Москве я передал эту шкатулку Золотому и поехал к друзьям в Сокольники.

— Ну, хорошо, — сказал Кудрин, — теперь под протокол расскажи инспектору Рябову всё то, что ты только что нам рассказал.

Когда Кукуева увели, Евгений Сергеевич спросил у Ковалёва:

— Неужели Золотой действительно ещё промышляет в районе?

— Да нет, товарищ подполковник, — ответил Ковалёв, — старый он уже стал, может лишь со своими поделщиками обворовывать посетителей парка, а на крупные дела он больше не способен.

— Необходимо срочно встретиться с этим Золотым.

— Да он и сейчас, наверное, сидит в кафе «Прага» в парке, — ответил Ковалёв.

— Так поехали в парк, нечего время терять, — сказал Евгений Сергеевич.

Через полчаса они вошли в кафе. Здесь стояли тяжёлые дубовые столы и стулья. У буфета стояла полная немолодая женщина с папиросой в углу рта, щуря от дыма глаза. За угловым столом справа, окутанным табачным дымом, сидели пятеро молодых мужчин и пили пиво; возле ножки стола валялась пустая бутылка из-под водки. В центре стола восседал пожилой человек.

— По какому случаю ранний банкет? — спросил Ковалёв.

Пожилый, изобразив на лице улыбку, прошепелявил:

— Гражданин начальник, что за шухер, мы с друзьями просто отдыхаем.

— Отдыхать, Золотой, ты будешь на том свете, — громко сказал Ковалёв, подойдя к столу.

— Чем обязан? — проговорил Золотой, выпуская изо рта клуб дыма.

— Собирайся, поедешь с нами в контору, — строго сказал Ковалёв, — там тебе всё расскажут.

Сидящие за столом притихли. Золотой в сопровождении подошедшего участкового инспектора пошёл к выходу из кафе.

Через двадцать минут они были в кабинете Ковалёва.

— Колись, Золотой, зачем послал Куку на убой Шныря? — резко спросил Кудрин.

— Не знаю никакого Куку и никакого Шныря, — медленно проговорил он и улыбнулся во весь рот, показывая свои золотые коронки.

— Да врёшь ты всё, Золотой, — сказал Ковалёв, — старый ведь уже, а всё приключений на свою седую голову ищешь.

Кудрин достал из серой папочки объяснение Кукуева и зачитал выдержки из него: «Поехать на станцию Раздельное и отыскать Шныря мне приказал лично Золотой (Боков Пётр Тимофеевич). Он дал мне пятьсот рублей, назвал адрес, по которому надо искать Шныря, и сказал, что у него

находится деревянная шкатулка с изображением бородатого мужика, которую нужно взять у него любым способом и привезти в Москву».

— Ну что, услышал?

— Но там ведь не сказано, что я приказал убить Шныря.

— Да, теряешь ты свою уголовную квалификацию, — с улыбкой сказал Ковалёв, — ты же только что признался, что знаешь их обоих.

— Знаю, ну и что из этого?

— Так вот, Кука замочил Шныря, и тот сейчас лежит в морге, — добавил Евгений Сергеевич.

— Клянусь, гражданин начальник, что не говорил я Куке мочить Шныря, мне нужна была лишь эта проклятая шкатулка.

— Колись, Золотой, кто тебя надушил воровать её из музея и как ты вообще о ней узнал? — спросил Кудрин.

— Да ничего я говорить не буду, — упорствовал Боков.

— Ну тогда я расскажу о твоих ближайших перспективах, — проговорил Евгений Сергеевич, — Кука пойдёт как исполнитель убийства, а ты — как его организатор. Ты прикинь, Боков, сколько тебе лет и выйдешь ли ты вообще живым из зоны.

Воцарилось молчание, Боков сидел на стуле, опустив голову, и нервно теребил рукой правое ухо.

— Я всё расскажу, — сказал вдруг Золотой, — только выслушайте меня, я действительно не говорил Куке убить этого дурака Ваську, но начну изда-лека. Первая моя ходка была за кражу продуктов в 1941 году, и я загремел, ещё пацаном, в Бухарскую колонию. Не знал я тогда обычаев зоны, вот чёрт меня и попутал украсть у одного из заключённых кусочек мыла. На следующий день меня стали жестоко избивать и наверняка бы убили, не вмешайся заместитель начальника колонии по оперативной работе лейтенант государственной безопасности Бездомный. Он тогда меня буквально вырвал из лап смерти, а потом, после лечения в лазарете, направил в другую колонию. Но перед этим он вызвал меня и сказал, что я перед ним теперь должник и что помнить об этом обязан всю жизнь.

«Бездомный, где-то я уже слышал эту фамилию», — задумался Кудрин. И вдруг его осенило: Макеев ведь наверняка про него и рассказывал!

— Прошло много лет, — продолжал Боков, — и в начале июня ко мне домой явился пожилой человек, в котором я с трудом узнал того самого Бездомного. Он напомнил мне о моём долге перед ним, дал задаток тысячу рублей и попросил, чтобы я «сработал» деревянную шкатулку, которую вместе с другими артефактами привезли на выставку в музей на Песчаной улице. Я направил туда Шныря, который несколько лет жил в моём бараке у Сокольнического рынка и выполнял разные мои поручения. Шнырь рано утром направился в музей, чтобы посмотреть на эту деревянную шкатулку, а к вечеру я ему дал пятьсот рублей и сказал, чтобы он выкупил её у работников музея. Деньги ведь немалые за какую-то деревяшку! А на следующий день я узнал, что он залез в музей и кроме шкатулки «свинтил» ещё что-то из дорогих вещей и исчез. Я понял, что он с деньгами и этими вещами

подался на родину, больше ведь бежать ему было некуда. Бездомный уже несколько раз ко мне заходил и требовал шкатулку. Тогда я послал к Шнырю своего подручного Куку, но убивать его я не велел, а лишь забрать шкатулку, которую он мне вчера и привёз.

— Ну ты, Золотой, такой белый и пушистый, — вырвалось у Ковалёва, — Шныря интеллигентно попросил за деньги выкупить шкатулку, а Куку просто отправил за ней к Шнырю для дружеской беседы.

— Да клянусь вам, ничего такого я Куке не говорил!

— А где сейчас находится шкатулка? — спросил Евгений Сергеевич.

— У меня дома, — ответил Боков, — как раз сегодня в семь часов вечера за ней придёт Бездомный.

Записав показания Золотого в протокол, Кудрин с Золотым отправился к нему на квартиру. Кудрин дал указания своим подчинённым, чтобы они вызвали к девяти часам вечера в его кабинет директора музея Макеева.

Приехав на квартиру Бокова, Евгений Сергеевич наконец увидел деревянную шкатулку с изображением эмира, лежащую на кухонном столе. На вид она была довольно простая, в виде прямоугольного бокса. Сверху закрывалась крышкой, на которой было вырезано изображение последнего эмира Бухары. Кудрин открыл её и увидел, что она абсолютно пустая.

«Да, — подумал он, — вероятнее всего, в ней и была спрятана бумажка с географической координатой, о которой говорил перед смертью Калапуш. Видимо, Балабанов, открыв её и не найдя там ничего ценного, просто вытряхнул содержимое на пол, а саму шкатулку выбросил в мусор, валявшийся в его комнате. Теперь её уже не найти, ведь после отъезда оперативной группы с того склада, где нашли Балабанова, в комнате была произведена уборка; об этом тогда просил капитан Волин буфетчицу».

Глядя на шкатулку, Кудрин невольно вспомнил о недавно прочитанной книге, в которой говорилось, что во времена, когда Прометей похитил для спасения людей огонь у Олимпа, ему в наказание была дана женщина — Пандора. Видимо любопытство — это наследие Пандоры, которая не смогла устоять против соблазна — заглянуть в шкатулку мужа, которая была в их доме. Она открыла её, чем навлекла неисчислимые беды и несчастья. Евгений Сергеевич положил шкатулку в свой портфель и прошёл в комнату.

Ровно в семь часов вечера в дверь позвонили, и все напряглись. Золотой открыл дверь, на пороге стоял пожилой человек в тёмном костюме и светлой рубашке. Увидев перед собой сразу нескольких мужчин, он резко отпрянул, но Ковалёв, стоящий у двери, перехватил его руку и завернул её за спину. Мужчина вскрикнул и против воли вошёл в комнату.

— Ну, давайте знакомиться, гражданин Бездомный, — сказал Евгений Сергеевич и, показав ему своё удостоверение личности, продолжил: — Подполковник милиции Кудрин. Предъявите свои документы.

Бездомный вынул из кармана пиджака свой паспорт и протянул его Кудрину.

— А теперь, Александр Иванович Бездомный, рассказывайте, что вас привело в эту квартиру.

Кудрин вынул из своего портфеля деревянную шкатулку и положил её на стол перед Бездомным. Тот схватил её, открыл... Он поставил шкатулку на стол и, обхватив голову руками, громко зарыдал. Успокоившись, Бездомный стал рассказывать:

— Всю жизнь я положил на поиск этой шкатулки. Когда она буквально уплыла из моих рук в Бухаре, я приехал за ней в Москву, чтобы найти её и пришёл к Золотому. Я напомнил ему о его долге передо мной. Найти в Москве Золотого не представляло большого труда, ведь я всю жизнь проработал в органах государственной безопасности, так вот, ради этой чёртовой коробки я предал своего командира, который однажды спас мне жизнь, написал на него донос, что он являлся врагом Советской власти. И это ради того, чтобы убрать человека, знавшего тайну этой шкатулки. Молодой тогда был, и жадность победила разум.

— Ну а каким образом вы надеялись получить вторую географическую координату места, где спрятали драгоценности эмира? — спросил Кудрин.

— А что, мой командир жив? Ведь только он знал об этих координатах. — встрепетулся Бездомный.

— Жив, — ответил Евгений Сергеевич, — в своё время всё узнаете.

— Я и сам не знаю, вся моя жизнь была нацелена лишь на её поиск, — ответил он, — сколько я земли перерыл у дома Калапуша, сколько людей мной тогда было опрошено в Караулбазаре, и всё безрезультатно. Вначале мне действительно хотелось найти эти богатства, но потом с годами осталась лишь маниакальная страсть к её поиску. И вот недавно, открыв газету «Правда Востока», я увидел на фотографии среди экспонатов, найденных археологами, шкатулку с изображением последнего эмира Бухары. Я был страшно рад этому, и мне захотелось любыми путями её заполучить, но неожиданно её вместе с другими артефактами увезли на выставку в Москву. Вот я и приехал в столицу и отправился к Золотому. Ну а что касается другой координаты, то, видимо, её знает единственная здравствующая поныне дочь эмира, проживающая в Америке. Поверьте, у меня даже в мыслях не было встретиться с ней, это просто невозможно в нашей стране. Вот, пожалуй, и всё, а сейчас я пенсионер и проживаю в Бухаре, семьи так у меня и не было, а в последние годы я пребывал в депрессии от никчёмности жизни, видно, Бог наказал меня за все прегрешения, — закончил свой рассказ Бездомный.

— Ну, хорошо, поедem на Петровку и там всё запротоколируем, — сказал Кудрин и, положив шкатулку в свой портфель, направился к выходу из квартиры.

Через тридцать минут все входили в здание управления. Вольский прошёл с Бездомным в свой кабинет для документирования его показаний, Ковалёв с Золотым — в свободный кабинет сотрудника Кудрина, а сам Евгений Сергеевич — в свой кабинет для встречи с Макеевым.

Ровно в девять часов вечера в дверь постучали, и на пороге кабинета появился директор музея Макеев.

— Проходите, Иван Андреевич, — сказал Кудрин, — нашлась всё-таки шкатулка с изображением эмира Бухары, но никакой записки там не было; человек, в чьи руки она попала, видимо, не найдя ничего ценного, выбросил её в мусор, как и саму шкатулку.

— Значит, мы никогда не узнаем того места, где спрятаны драгоценности эмира, — грустно проговорил Макеев.

В этот момент в кабинет вошёл Вольский, а за ним Бездомный. Увидев Макеева, тот задрожал, упал на колени и зарыдал:

— Прости, командир, прости меня, бес попутал.

— Бог тебя простит, Сашка, вставай, не будь бабой. Постарел ты, — Макеев отечески погладил его по седой голове.

— Прости, командир, что жадность победила меня, — лепетал Бездомный, — я до сих пор не могу себе этого простить.

— Да ладно, что было, то прошло, я ведь знал, что это ты на меня тогда написал донос. Но мы уже старики, нам пора на покой.

— Я вас больше не задерживаю, — сказал Кудрин, — завтра оба прибудете сюда к следователю, а там видно будет.

Оставшись один, Евгений Сергеевич сел в своё кресло и задумался: «Вот ведь как бывает, человек практически всю жизнь жил, одержимый идеей добыть эти драгоценности. Итог один — крушение иллюзий».

* * *

— Вот и вся история с географией, товарищи курсанты, — закончил свой рассказ Кудрин.

В зале воцарилась тишина, только курсант Косяк робко спросил:

— А что было дальше?

— А дальше уже ничего не было, — ответил Евгений Сергеевич, — дело мы закончили и передали в следственный отдел. В музей Бухары из трёх украденных экспонатов был возвращён лишь серебряный портсигар эмира. Пряжка бесследно пропала, а шкатулку по просьбе учёных для дальнейшего изучения передали в исследовательский центр Академии наук.

— Товарищ подполковник, — не унимался курсант Косяк, — какой-то миф получается. Это напоминает пустыню, по которой идёт караван, и погонщикам кажется, что впереди оазис, но всё это иллюзия. Так и здесь, человек всю жизнь отдал поиску шкатулки, а в ней оказался пшик.

— Я с вами согласен, товарищ курсант, такое иногда случается, — ответил Кудрин. — И на этой ноте я прощаюсь с вами, возможно, с кем-то из вас мы ещё встретимся.

О ЛИТЕРАТУРЕ



Владимир Обухов

ДАТА КРУГЛАЯ И ВЕСОМАЯ

(Главный и мудрый писатель живёт в Калуге — Юрий Васильевич Убогий. Однажды в давние, советские ещё, времена позвонил ему редактор столичного издательства, спросил: «Убогий» — это псевдоним?

Конечно, нет. Не псевдоним. Но ведь и впрямь, когда слышишь это имя, в голове невольно выстраивается ассоциативный ряд: Горький, Бедный, Ски-талец, Убогий...

Шучу, разумеется. Но, право же, без шуток, — имя-то замечательное. Чрезвычайно содержательное. Истинно христианское.

Оно — беспредельно скромное. А вместе с тем и просто беспредельное. Быть убогим — это ведь значит быть рядом с Богом.

«Nomen est omen» — говорили древние.

Имя — знамение. Имя характеризует своего носителя.

Не знаю, уж всегда ли, но в этом случае всё именно так. Я убеждён, что и жизнь Юрия Васильевича, и вся его деятельность проистекают в соседстве с небесами.

У его искусства истинно христианская статья. И суть — христианская.

И это притом, что замечательная проза Убогого — родом из Советского Союза. Зародилась и выросла она на ниве социалистического реализма, одним из основоположений которого был воинствующий атеизм.

Впрочем, к тому времени, когда Юрий Убогий стал профессиональным писателем, стиль этот уже вышел из собственных берегов. И обратился, в лучших проявлениях своих, в традиционный реализм, причём сугубо русского склада.

То есть такой реализм, который не только честно воссоздаёт реальность, но ещё и устремлён в исканиях своих к «реальнейшему» — к первоначалам быта и бытия.

То есть к истине. То есть к Богу.

Именно этот дальний путь раз за разом приводит писателя Убогого к началам его собственной судьбы. В «сороковые роковые» и пятидесятые годы. Годы его детства и юности. В курские края. В деревню Красный Камыш. В село Тим.

Может, я не прав, но почти уверен, что многие бытовые детали, точные и яркие, придающие убедительность и зримость словесным картинам, почерпнуты писателем из этого прекрасного в нищете своей быта. Главное же, проза Убогого, чуть ли не вся, омыта живой водой воспоминаний.

Она поэтична, задушевна и духовна.

Юрий Убогий умело и со вкусом описывает самую плоть этого мира, но при этом мысли его направлены к человеческой душе, которая, как известно, всегда христианка.

И воссоздаётся она обычно в моменты её раскрытия, когда зримыми становятся её хвори и её богатства.

В такие моменты вроде бы как простые люди оказываются на деле очень и очень сложными. А какой-нибудь сугубо положительный мужичок, передовой труженик, предстаёт вдруг эгоистом и барышником. Великий же поэт грустит, волнуется, как любой из нас, не теряя при этом своего величия.

Да, души раскрываются. И не только к нам, читателям, а ещё и к безбрежности духовности. И это-то как раз, пожалуй что, самое главное.

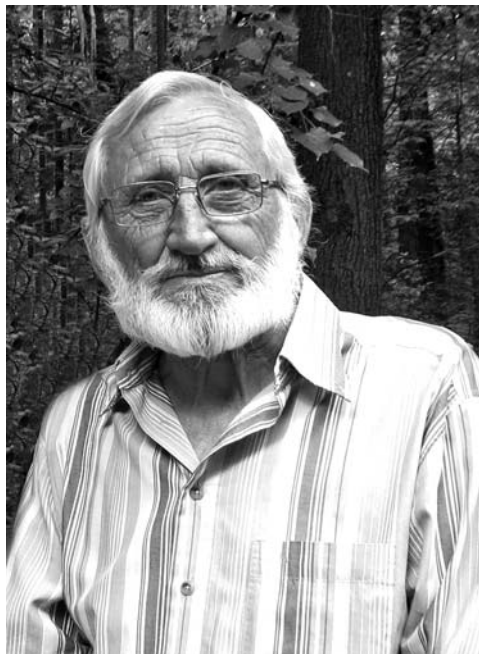
Увы, нет такого звания — народный писатель России. А стоило бы его учредить. Юрий Убогий уж точно — народный писатель. Может, я ошибаюсь, но совокупный тираж его книг — два миллиона экземпляров!

И ведь все книги эти раскуплены, миллионами читателей прочитаны. То есть осмыслены, прочувствованы. Книги эти строили и строят современную русскую культуру.

В этом, 2020-м, году Юрию Васильевичу восемьдесят лет исполняется. Дата круглая и весомая. Вроде бы как можно и дух перевести, расслабиться, пожить в своё удовольствие. А он с головой в новых трудах.

Правда, рассказов и повестей, кажется, уже не сочиняет. Вольно, неспешно записывает наблюдения и размышления свои. Пишет о прошлом и настоящем, о смерти и о жизни.

Хорошо пишет. Раздумчиво. Мудро.



Юрий Убогий

Алексей Мельников

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ИЗ РОМОДАНОВСКИХ ДВОРИКОВ

(начала я полюбил его нежные фотопейзажи, затем — добрейшие рассказы, после — сочные красные яблоки из его старого сада над Окой, сам сад, где в оные годы любил мечтать у костра учительствовавший в Калуге юный Окуджава, домик Сергея Петровича в Ромодановских двориках, на деревянном топчанчике которого принимали запросто дорогого гостя из Тарусы — Константина Георгиевича Паустовского.

К Сергею Петровичу Денисову я привязался ещё и потому, что в своей седенькой бородке, небольшой росточком, с тихим бархатным голосом он сильно напоминал моего деда. Такого же яркого рассказчика, умельца и тихоню, пахаря и пилигрима. Правда, не по рыбацким, как Сергей Петрович, и ягодным делам ходатая, а по фронтовым, военным. Но всё равно в неутомимом путешественнике и добрейшем собеседнике Сергее Денисове я всегда угадывал своего скромного деда Мишу. И проникался участием ко всему, что делал он.

Первую свою книжку Сергей Петрович назвал просто: «На обочине Млечного Пути». И написал в ней действительно о том, что случается во Вселенной необязательно со всеми, но со многими. А именно: о любви и нежности людей, зверей и птиц. Для убедительности снабдил написанное собственными фотографиями: людей, зверей и птиц. А также — закатов, восходов, лунных дорожек, золотых аллей, деревенских просек... Мол, в Млечном Пути, или где-то рядом с ним, наверняка присутствует то, ради чего все эти звёзды и галактики Творцом задуманы.

У Чехова в повести «Степь» есть такой замечательный герой Вася — возчик, нежнейшей души человек, мягкий, ранимый и до фанатизма влюблённый в природу, в окружающий его мир. «Голубушка моя, матушка-красавица... — восторженно умиляется чеховский Вася увиденной им в степи маленькой лисичке. — Лисичка-матушка... легла на спину и играет словно собачка...» С таким примерно настроением и такими же глазами смотрит вокруг себя и Сергей Петрович: «И вот уже бежим в горку — на груди фотоаппараты, за плечами рюкзаки. Хлеб, колбаска, котелок и чайные припасы — всё предусмотрено. Всё при нас. Горки и овраги, просеки в лесу, заячьи следы, солнце в заснеженных ветвях елей, лыжня сквозь кустарник, дорожка в поле... Фотографируем ослепительные пейзажи, ловим контражуры, но не прочь и прокатиться с крутой горы, покрутить слалом, прыгнуть с ребячьего трамплинчика. Свобода, простор, отдых!»

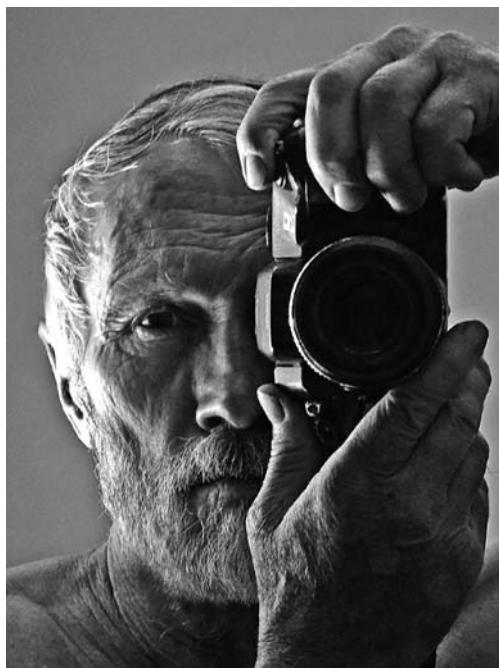
Рассказы его по-детски ясные и простые. И вместе с тем — точные и глубокие. О рыбацких походах, деревенских плясунах, городских шалунах, бедовых пастухах, великом чуде — Циолковском, знаменитом купчине Ципулине. Короче — о родных и близких сердцу калужских околотках, засеках, затонах, рощах и оврагах. О людях, населяющих любимые с детства места. Об их житейских делах и маленьких проделках.

«Пекарня была на Набережной, аккуратно за Нижним магазином... У них такой случай был. После весеннего наводнения стали отчёрпывать колодец во дворе, а на дне кой-то ворочается. Оказалось сом на шесть пудов весом. Еле вытащили. Да у них приключения чуть не каждый день творились. Ящик дрожжей залежался, испортился. Хозяин велел выкинуть. Дед его возьми да и брось в уборную. Как пошёл оттуда поток, да на улицу, через мостовую. Движение остановилось, вонь, крик, ругань...»

Дом у него по-над Окой зря, что насквозь крестьянский, зато сильно творческий. Двоюродный брат Владимир Кобликов — отличный прозаик. Коротко жил, да ярко писал. С Паустовским знался. Окужава, как уже отмечалось, захаживал не один раз. Будучи уже знаменитым, не раз возвращался сюда, на Ромодановский берег, отдохнуть душой и полюбоваться окским закатом.

Серёжа Денисов свой восторг окружающим миром сначала хотел увековечить в фотографии. Добился высочайшего профессионализма. И понял вскоре, что что-то всё-таки фотоаппаратом недоснял, недопроявил, недопечатал. И всё это «недоснятое» решил дописать чернилами на бумаге. И стал — писателем. Можно сказать — комментатором собственных фотоснимков. Постепенно набралась книга. Затем — вторая. Писатель в Денисове шёл «ноздря в ноздрю» с фотографом.

«Смотри, как мне удалось этих синичек снять!» — восторженно суёт мне в нос экран своего «Никона» Сергей Петрович. На кадре мама-синичка заботливо кладёт в клювик своему детёнышу маленькую мошку. Как страстно пернатый младенец ищет возделенную «мамину грудь». Как самоотвержена в заботе и любимцах «кормящая мама». Как нависают где-то над гнездом капельки росы. Как переливаются в них лучи восходящего солнца. Как счастлив пойманным мгновением чуда природы калужский фотограф и писатель Сергей Петрович Денисов.



Сергей Денисов. Автопортрет

Марина Улыбышева

ЗАГЛЯНЕМ В НОВУЮ КНИГУ АКТЁРА И ПОЭТА ИГОРЯ КРАСОВСКОГО



Многие любят отгадывать кроссворды: слово из семи букв по горизонтали, слово из пяти букв по вертикали...

Но гораздо любопытнее разгадывать стихи.

В них не только слова — в них и вкус, и цвет, и главное — ощущения, те самые ощущения, которые ты собираешь по жизни и складываешь в баночку памяти, как в жестяную коробочку сушёные лепестки розы (потом достал, бросил в чай, и они распустились и за благоухали).

Только бывает, ты эту коробочку куда-то так далеко положил, и ключик от неё потерялся, что уже и не помнишь, как в детстве пахнут сосульки, каким звуком скрипит морозный снежок, как наполняется ароматом радости

и смолы только что внесённая в комнату ёлка.

А потом вдруг однажды открываешь книгу со стихами, например, только что выпущенную в свет, например, Игоря Красовского, и понимаешь — вот же он ключик к твоей жестяной баночке.

Занавески в горошек лениво колышутся — шшуухх...
Под ветреный шёпот о благоприятной погоде,
Под таканье ходиков, под жу-жужжание мух
Под низкое «му-у-у» со двора растекается полдень...

И у тебя когда-то тоже была такая картинка, и занавески в горошек, и мухи, и лето без конца. Мгновенье остановилось, и оно прекрасно. Всего четыре строки, а ты уже наполнен впечатлениями, и, может быть, даже нужно на несколько минут отложить книгу, чтобы дать этим листочкам в чае распуститься до конца. Подождать до момента, пока любопытство не погонит тебя дальше — что там у автора?

...Здесь во мне травовед
Доморощенный заговорил, здесь я знаю так мало
О том, сколько вёдер в колодце (не сколько воды,
А сколько вёдер); о том, где — в хлеву или в хлеве? —
Довольное сено жуётся...

Заметьте, какая странная манера у автора — мог бы поступить профессионально — полезть в словарь, найти правильную норму, подредактировать — в хлеву или хлеве? — а не заставлять читателя сомневаться вместе

с собой. Но он этого не делает нарочно. И этот небрежный литературный приём заставляет нас ему поверить, что он точно в деревне, на выселках где-нибудь, и словарь Даля или компьютер со всеми интернет-словарями у него вовсе не под рукой.

Надо сказать, это стихотворение для Игоря Красовского, живущего и работающего в Калуге, нехарактерно. Вообще-то в своих стихах он — типичный урбанист, дитя перестройки с неприятным, без всяких прикрас, взглядом на серые городские пейзажи, усталые лица народа в общественном транспорте. Его стихи наполнены звуками автомобильных гудков, запахами жидкого асфальта, опавшими листьями на загаженных собачьих площадках — словом, всем тем, что мы видим вокруг каждый день и что я лично стараюсь не собирать в свои прекрасные воспоминания. Чай из них будет крепок, и вкус его будет отдавать запахом половых тряпок или заплёванного бетона.

Проводятся ремонтные работы
Во всём подъезде красочная вонь
Побелкой перемазаны пролёты
И клетки лестничные
Выпачкал ладонь
Плечо
Рукав...

Ага, без знаков препинания. Дань современной литературной моде или просто лень расставлять? Кто-то из калужской литературной братии сказал: «Красовского испортил Маяковский». А что — интересное наблюдение. Испортил — не испортил, вопрос спорный, а помните горлана-главаря, например, «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру»:

Вода в кране — холодная крайне.
Кран другой не тронешь рукой.
Можешь холодной мыть хохол,
горячей — пот пор.
На кране одном написано: «Хол.»,
на кране другом — «Гор.».

Только эпоха другая, нет в ней натужного энтузиазма, скорее — усталость и раздражение.

Сверлибр за стенкой громок и бестактен
Опять заехали какие-то стучать
Передвигать свои шкафы кровати
С детьми орущими на детском по ночам
Сейчас они топчут
Участковый
Не принимает мер
Не принимает мер...

«Ворча» (монолог моего соседа)

Вот она головоломочка — слово по вертикали, слово по горизонтали — стучать. Когда оно, вставленное в свою клеточку, принимает двойной смысл, двоятся и становится объёмным: заехали стучать, стучать.

Знаете, как он назвал свою книгу? «Опыты». Ни много, ни мало — как Монтень. И поставил эпиграф, многое объясняющий: «Ему казалось ясно, что все его опыты жизни должны были пропасть даром и быть бессмыслицей, ежели бы он не приложил их к делу и не принял опять деятельного участия в жизни». Я бы под этими строками написала — Андрей Платонов, а нет — это сказал Лев Толстой.

Ольга Ключкина

КРЫМ — КАЛУГА — КРЫМ

*(Ю. В. Холопов. Калуга и калужане в истории Крыма.
Калуга, 2019)*



...По Калуге в карете ехал молодой человек в чалме. Прохожие, и в особенности дамы, поневоле оглядывались на его гордый восточный профиль. Ещё бы! Ведь это был Шагин-Гирей — прямой потомок Чингисхана, властитель Ногайской Орды и последний крымский хан. Зимой 1786 года он поселился в Калуге, и про нового загадочного жителя заговорил весь город.

Кто-то говорил, что для гордого татарина Калуга стала ссылкой. Другие, наоборот, уверяли, будто Шагин-Гирей заслужил особую милость императрицы Екатерины I, и шёпотом называли сумму годового содержания, позволяющую ему жить с азиатской пышностью.

Многое в этом молодом человеке с внешностью восточного принца было загадочно и противоречиво. С одной стороны — налицо замашки восточного властелина (гарем, имущество и почти две тысячи человек прислуги Шагин-Гирея ожидали к прибытию из Тамани), с другой стороны — европейская образованность и светские манеры. Помимо родного, Шагин-Гирей знал русский, итальянский, греческий и арабский языки, разбирался в литературе и живописи, писал стихи.

Бросались в глаза и перепады настроения последнего крымского хана: он мог быть любезным, блистать на балах и приёмах у первых лиц города, а то вдруг становился мрачнее тучи и неделями запирался от всех

в отведённом ему деревянном дворце в загородном саду, построенном по соседству с летним домом губернатора. А если кто-то из калужан пытался нанести ему визит, Шагин-Гирей нарочно говорил с ним на татарском языке и гневно сверкал глазами.

Никто не понимал, как вести с крымчанином, кто он — почётный арестант или новый вельможа?

Почти два десятилетия Шагин-Гирей (чьё имя переводится как «сокол») служил России, помогая россиянам отделить Крым от Турции. А после того как 28 июня (по ст. ст.) 1783 года был обнародован манифест Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу», Шагин-Гирея в целях его же собственной безопасности поспешно удалили из Крыма. На родине среди татар у него было слишком много врагов, особенно после того, как своим указом он уравнил в правах мусульман и христиан.

Шагин-Гирею предложили на выбор несколько российских городов и назначили щедрое содержание из российской казны. Так последний крымский хан оказался в Калуге.

Но честолюбивому потомку Чингисхана не по душе пришлась спокойная жизнь в тихом городе на берегу Оки. Затеявая сложную политическую игру с россиянами, он мечтал о независимом от Турции ханском престоле и собственной империи Гиреев в Крыму. И теперь последний крымский хан чувствовал себя проигравшим, загнанным в угол...

Всего полгода провёл Шагин-Гирей в Калуге, после чего принял роковое для себя решение переметнуться к туркам. Екатерина II дала согласие на его переезд за пределы России. Турецкий султан Абдул-Гамид сделал вид, что простил своего бывшего противника.

В октябре 1786 года Шагин-Гирей отправился на остров Родос, где был задушен шёлковым шнурком (по другой версии, ему подсыпали яд в кофе). Голова Шагин-Гирея была поднесена султану на золотом блюде, и тот выставил её на всеобщее обозрение на одной из площадей Стамбула — для устрашения непокорных.

Такое вот историческое кино. Точнее — одна история из книги калужского краеведа Юрия Холопова «Калуга и калужане в истории Крыма», которая могла бы стать основой для интереснейшего исторического фильма. И не только сюжет о «последнем полёте сокола», в конце XVIII века пролетевшем через Калугу, просится в сценарий. В книге писателя-краеведа Юрия Холопов много и других ярких фигур и событий, раскрывающих исторические связи Калужской земли с древней землёй Крыма.

Достаточно вспомнить Великое стояние на Угре в 1480 году, когда русское ополчение преградило путь крымским татарам под предводительством хана Ахмата на Москву.

Со второй половины XVII и весь XVIII век калужане активно участвовали в многочисленных сражениях, походах на Крым и в русско-турецких войнах.

В книге «Калуга и калужане в истории Крыма» подробно рассказывает о судьбах и героических подвигах морских офицеров, уроженцах Калужской губернии, во время Крымской войны 1853–1856 годов. Они проявили себя подлинными героями Отечества: М. Ф. Белкин, И. С. Яновский, П. А. Чебышёв, П. А. Карпов, С. С. Сенявин и другие. Чтобы собрать о них достоверные сведения, калужскому писателю-краеведу пришлось основательно поработать в архивах.

Новая книга Юрия Холопова занимает особое место в ряду калужского военно-исторического краеведения. Сама тема её на редкость актуальна в наши дни, и книгу полезно прочитать всем, кто увлечён политическими спорами на тему «Крым наш» или «Крым не наш». По крайней мере, станет понятно, что история этого вопроса исчисляется не шестилетним сроком, а несколькими столетиями, и хорошо бы для начала его как следует изучить.

У краеведческой книги Юрия Холопова есть ещё одна важная особенность: её просто интересно читать. И даже представлять, какое можно было бы снять кино.

Александр Хмелевский

ЖИЛ РАСПАХНУТО И СМЕЛО...

(Памяти Алексея Петровича Золотина)



О, как он жадно жизнь любил!
Он пел России бесконечность.
Но это слово — слово «был» —
Его теперь уводит в Вечность.

Ирина Сулимова

Три года назад он нас ушёл журналист и поэт А. П. Золотин. Такие, как он, честные, самоотверженные, часто незаметно-скромные люди, и являются солью земли нашей. В его жизни и его стихах отразилась современная ему эпоха со всеми противоречиями, взлётами и падениями, потому что он всегда стоял на её передовых рубежах.

Алексей Петрович Золотин родился 18 июня 1936 года в маленькой деревушке Желохово в Перемышльском районе. Сельские тишина и безмятежность сулили, казалось, долгое, спокойное существование. Но через четыре года мир взорвала война.

...что я помню о войне?
От бомб в деревне две воронки

И приговором — похоронки
И нам с маманей, и родне.

Изведаль страху я сполна,
Хоть и твердил себе: не бойся!
...тем и закончилась война,
А голод, голод — это после,
Когда ушла от нас она.

Смерть отца в одном из первых боёв, недолгая оккупация, когда в деревне и в его домике нагло хозяйничали ненавистные враги, сформировали у юного Алексея стойкость характера, что очень пригодилось ему в жизни.

В мирное — послевоенное — время Алексей стал с удовольствием учиться и был в этом среди первых. Учился он в трёх школах: в начальной в Желохове — окончил с похвальной грамотой; в семилетке в Корекозеве — также получая похвальные грамоты; завершилось образование в Перемышле десятью классами.

Жизненная активность у Алексея была прямо-таки через край: с радостью участвовал в художественной самодеятельности; по своей инициативе выступал перед сельчанами с лекциями и докладами; создал в Желохове футбольную команду, а в восьмом классе стал чемпионом деревни по шашкам... На летних каникулах он тоже не сидел сложа руки: трудился и на своём огороде, и в сельсовете был рассыльным, и в колхозе пас телят и лошадей, охранял дуг от потравы скотом, став постарше — полол овощи, косил, работал на сеялке и молотилке.

Деятельный активный труд в коллективе и для людей стал смыслом жизни молодого парня.

У меня нет ничего личного.
От улыбки до счастья — общее.
Настроение преотличное,
До работы вполне охочее.

С шестого класса Алексей начал писать мелкие заметки в местную газету, а затем и в «Молодой ленинец». При этом журналистом он быть не собирался. Его увлекала поэзия, и он с 15–16 лет стал пробовать себя в стихах, а несколько позже и в прозе.

Судьбу его решил случай. С 1 июня 1954 года районная газета расширялась с двух до четырёх полос. Где в небольшом посёлке найти журналистов? И только что назначенная редактором Г. В. Цветкова пришла в класс, лучший по сочинениям из четырёх выпускных, и стала агитировать идти работать в газету. Отказались все, только Золотин сказал: «Подумаю». Его мать одобрила выбор сына. И вскоре вчерашний школьник, как было записано в официальных документах, «был принят на работу в перемышльскую редакцию газеты «Колхозный труд» в качестве литературного работника». Так началась его карьера журналиста.

Скоро, поняв специфику газетной деятельности, он в полной мере впрягся в работу. Осенью 1955 года Алексей по призыву отправился служить на Балтику во флот, но связи с газетой не терял: писал заметки о службе,

а ему из редакции посылали стихи читателей для отбора в печать. Служба закончилась в 1958 году. Можно было хоть немного отдохнуть, но в редакции, куда он заглянул, не заходя домой, распорядились: «Завтра на работу». А через несколько недель Алексей Золотин из рядового сотрудника стал ответственным секретарём газеты.

Как раз в это время в Московском полиграфическом институте впервые открылось заочное редакционно-издательское отделение. Конкурс был — 18 человек на место! Но Алексей поступил в этот престижный вуз и успешно его окончил.

Каждодневная, непрерывная — без конца и края — работа захлёстывала, заставляя погружаться в неё с головой и забывать обо всём остальном. И тут произошёл новый поворот судьбы: Золотин был избран первым секретарём Перемышльского райкома комсомола. Но пробыл он на этой должности не слишком долго.

В ходе хрущёвских реформ в 1962 году Перемышльский район был реформирован, а Алексей Золотин решением обкома КПСС был направлен в Жиздру ответственным секретарём межрайонной газеты «Искра».

Я был неопытен и юн,
Когда впервой приехал в Жиздру.
Здесь, как фанатик и колдун,
Творил я, выпуская «Искру».

А через год новое изменение: его переводят в областную газету «Знамя», где он снова начинает с самой нижней ступени — рядового литературного сотрудника.

Спустя годы он, оглянувшись назад, печально подытожит:

Ах, жизнь! Как будто лошадь дикая!
Ах, жизнь! Вираз на вираже!
И всё, что не было достигнуто,
Недостигаемо уже.

С этих пор — с 1963 года — жизнь 27-летнего Алексея Золотина определилась на годы вперёд, и со временем он стал ведущим журналистом области.

При всей погружённости в текущую, каждодневную работу Алексей всегда находил время и для своего ещё юношеского пристрастия — поэзии. Его стихи появлялись в антологиях и коллективных сборниках. Однажды, познакомившись с ними, Николай Грибачёв, известный русский поэт, написал: «...простота, ясность слова, точное выражение мысли свидетельствуют, что Алексей Золотин созрел для серьёзной поэтической работы... В его творчестве сочетаются открытая гражданская целеустремлённость и лиризм, тонкость и свежесть чувства с красотой выражения».

Первый сборник молодого поэта «Верю в доброту», включавший около ста стихотворений, вышел в 1972 году. А позже его авторские сборники стали выходить регулярно: «Любимые» (1989), «Люблю и верую» (1989), «Орбиты сердца» (1990), «Встречи и расставания» (1991), «Между Жиздрой и Угрой» (2009), «От весны до весны» (2011), «Боль» (2012), публицистическая поэма «Молох века» (2009)...

В журналистской судьбе Золотина на рубеже девяностых произошёл новый поворот — неожиданный и для него самого.

В 1990 году депутаты-демократы заявили, что хотят иметь свою газету вместо прокоммунистического «Знамени». Их активно поддержал В. В. Сударенков, тогдашний председатель калужского облсовета. Был объявлен конкурс на должность редактора и название газеты. Золотину, освещавшему работу сессии облсовета, поручили собрать эти материалы. Вариантов названий нового периодического издания было предложено около ста, а вот надеть на себя хомут руководителя-редактора желающих не нашлось. На зимней сессии облсовета — 20 декабря 1990 года — И. А. Бородулин, заместитель председателя облсовета, предложил назначить редактором новой газеты Золотина, с чем все согласились.

Семь лет (1991–1997) Алексей Петрович руководил газетой, получившей, с лёгкой руки писателя С. Михеенкова, название «Весть» и ставшей одним из лучших изданий той поры.

Выведя газету на большую дорогу, Золотин предпочёл — ему уже перевалило за шестьдесят — оставить пост редактора. Он ушёл на несколько лет в газету «Знамя», чтобы затем вернуться в «Весть» и до конца жизни вести там тему исторической памяти.

Стоит сказать несколько слов о характере Алексея Петровича. Обладая твёрдыми убеждениями, он из деликатности не навязывал их другим, не делил людей по чинам и партиям, относясь ко всем равно, спокойно, но при этом с искренней заинтересованностью. Особо надо подчеркнуть его потрясающую скромность: никогда не именовал себя ни журналистом (только: «Я — из газеты»), ни поэтом (другие называли!).

В поэзии Золотин достиг вершин лирики. Как подлинный поэт, он пропускал через своё сердце все события окружающего мира, оставаясь при этом (по Аристотелю) «самим собой, не изменяя своего лица».

Так я устроен, что ли,
Доля такая ль,
Но
Три неизбывных боли
Тлеют во мне давно...

Первая боль — война.
Чем она дольше —
Боле,
Круче её волна.
Круче её кручина.
Круче её замес...

Вечная боль — деревня.
С чьей бы сравнить судьбой?..
Рвётся живая нить.
Жизнь моя, мать — деревня,
Как тебя сохранить?..

Третья болячка — сердце.
Хоть и потише боль,
Но — никуда не деться,
Если пришла любовь.
Счастье?
А может, горе?..

А с недалёких пор
Вспыхнул — не сам собою —
Новый во мне костёр —
Болью за близких, дальних.
Кто мне ответит — ну? —
Сколько же испытаний
Выпало на страну?..

Горше не знаю роли —
Чувствовать боли всех.
...Эти четыре боли —
В сердце моём
Навек.

Таковы были миропонимание, образ мыслей и, если хотите, кредо жизни поэта и журналиста Алексея Золотина.

В 2014 году вышла большая поэтическая книга под названием «Свидетельствую» — солидный том объёмом более 400 страниц. По сути, автор, оглядываясь назад и вспоминая свою жизнь, подводил — на пороге вечности — итоги большего пути.

Своеобразным эхом этого издания стала публикация в 2016 году двух небольших стихотворных сборников Золотина «Останутся стихи» и «Избранное». Это было прощание автора со всем, что он ценил: с дорогими ему людьми, с любимой работой и любезной сердцу поэзией, с миром, составившим его вселенную...

Уйдём — и я, и ты, и все мы,
Не избежать нам смертной тьмы...
Уйдём — кто шумно, кто рутинно,
Но — воплощеньем наших тем —
Останутся средь светской тины
Стихи,
симфонии,
картины —
Всё то, над чем не властен тлен.

Замечательный поэт и журналист Алексей Петрович Золотин покинул нас 15 декабря 2017 года на 82-м году жизни, навсегда оставшись в нашей памяти.

В 2019 году его имя было присвоено ежегодному областному творческому конкурсу молодых журналистов.

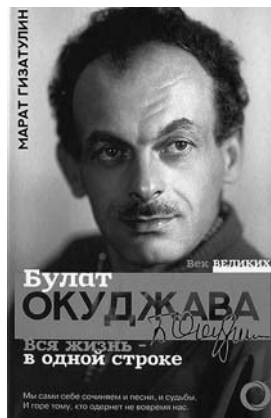
РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ПОЭТА

Марат Гизатулин. Булат Окуджава: вся жизнь — в одной строке. — М.: АСТ, 2019.

Булат Окуджава жил и работал на Калужской земле с 1950 по 1956 год. В самой подробной его биографии, написанной Дмитрием Быковым, этот период занимает около пятидесяти страниц. Объёмная книга М. Гизатулина освещает непростую, но полную творческих поисков жизнь поэта в это же время в мельчайших подробностях.

По привычке открываю случайную страницу, читаю детальное описание поиска имени Булата Окуджавы в гонимых ведомостях калужской газеты «Молодой ленинец». Первая мысль: зачем это? Мир поэта — в его стихах. И в песнях — как у Булата Окуджавы. Нужно ли проникать в его реальную, будничную жизнь, полную мелочей, сиюминутности, всякого житейского сора? Кажется, к восприятию поэзии это вряд ли добавит что-либо существенное.

Но начинаешь читать живую, полную фактов, голосов, мнений книгу, и первая реакция быстро угасает. Приходит понимание, что личность поэта, творческим усилием создавшего свой художественный мир, сама по себе является безусловной ценностью в культуре народа.



ДОЛГ ПЕРЕД ВЕЛИКОЙ ПРАВДОЙ РУСИ

Воспоминания о художнике Павле Рыженко / сост. С. Д. Коробцов. — Калуга: Издатель ИП Соловьёв П. И., 2019.

Павел Рыженко родился в 1970 году в Калуге, с детства жил в Москве, окончил Академию живописи, ваяния и зодчества, стал известным мастером исторической и монументальной живописи. Калужане смогли основательно познакомиться с творчеством выдающегося художника-земляка на большой выставке в 2011 году, многие картины с которой художник передал в дар родному городу. В числе его творческих достижений — огромное полотно диорамы «Великое стояние на Угре» во Владимирском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни.

В книге собраны автобиография художника, трогательные воспоминания его матери и родных, статьи людей, которым довелось сотрудничать с Павлом Рыженко. Множество фотографий и репродукций его картин дают наглядное представление о его личности и творческих поисках.



«Это был русский человек. Богатырского склада, сильный духом, после Господа Бога он больше всего любил Россию. С именем Святой Руси на устах он творил как художник, часов не наблюдая. В возрождение своей Отчизны он непоколебимо верил, и именно этой глобальной теме посвящено всё его творчество», — написал о нём протоиерей Артемий Владимиров.

А сам художник выразил свою задачу так: «Надеюсь, что мои картины разбудят генетическую память моих современников, гордость за своё Отечество...»

НЕ СМОГ ОТРЕЧЬСЯ ОТ СВОИХ УБЕЖДЕНИЙ



Ольга Клюкина. Повесть о Георгии Осоргине. Из воспоминаний, писем, дневников, документов, рисунков и фотографий. — Калуга: Издатель Захаров С.И. («СерНа»), 2020.

Герой книги — уроженец села Сергиевское Калужской губернии (ныне Кольцово Ферзиковского района Калужской области). Он появился на свет в 1893 году в дворянской семье, сохранявшей крепкие традиции: глубокую веру, готовность служить ближнему и Родине, верность данной присяге. Свои убеждения Георгий Михайлович Осоргин пронёс через все испытания, которые выпали ему на недолгом жизненном пути.

На лицевой стороне обложки его портрет. Лицо трагически одухотворённое, взгляд смотрит открыто, прямо в тебя и одновременно в вечность, голова склонена смиренно и в то же время упрямо. Кажется, что он только ждёт, когда щёлкнет затвор фотоаппарата и можно будет поспешить к нуждающимся в его помощи. В этом весь его характер. В детстве Георгий мог, не проверив своего экзаменационного задания, побежать помогать товарищу. На войне однажды он без приказа остался со своим отрядом помогать эскадрону лейб-гусар оборонять позиции, за что его хотели отдать под суд, но вместо этого, разобравшись, вручили награду. После крушения империи, будучи убеждённым монархистом и глубоко верующим человеком, он не стал участвовать братоубийственной войне, все силы посвятил обеспечению ближних необходимыми средствами для жизни; даже взял в 1918 году надел земли, сам с сёстрами пахал, сеял... И позже, в Соловецком концлагере, служа в медчасти, всем помогал, не жалея своих сил, да и жизни, как выяснилось. Он был казнён в 1929 году, не совершив никакого преступления. Ему было всего 36 лет.

Добрым словом вспоминали Георгия Осоргина писатель О. В. Волков и Д. С. Лихачёв, отбывавшие срок заключения вместе с ним на Соловках. Запечатлел его образ и Солженицын в своём «Архипелаге ГУЛАГ».

С. М. Голицын, известный своей книгой «Записки уцелевшего», писал о нём: «Никто не оставался равнодушным к этому яркому человеку...».

Не останется равнодушным и читатель, взявший в руки книгу Ольги Клюкиной.

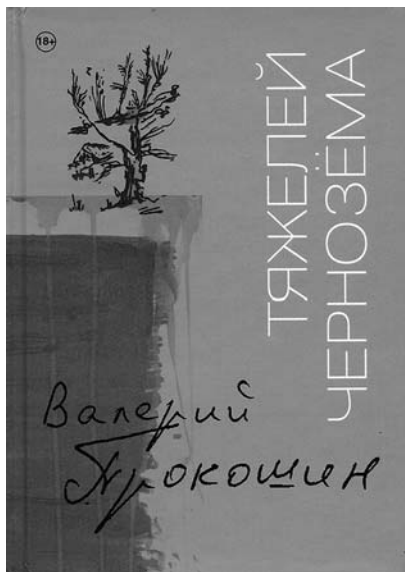
В ПОИСКАХ РАВНОГО СОБЕСЕДНИКА

Интервью с московским поэтом Андреем Коровиным, составителем книги избранных стихотворений Валерия Прокошина «Тяжелый чернозём» (М.: ArsisBooks, 2019)

— Андрей, в прошлом году вышла составленная вами книга избранных стихотворений Валерия Прокошина. Это большой труд — и, я подозреваю, совершенно бескорыстный, — так же, как и творческие вечера памяти поэта, и всероссийская литературная премия его имени. Что движет вами в подобных делах?

— Эта книга, вечера, премия его имени — мой долг памяти замечательному русскому поэту. Мне посчастливилось быть знакомым с Валерием, мы общались в последние годы его жизни и даже успели подружиться. К сожалению, встреч было не так много, мы жили в разных городах, но Интернет помогал общению. При личном знакомстве он удивил меня силой своего поэтического слова, прямотой высказывания, откровенностью на грани обнажения и при этом человеческой скромностью и самоиронией. Как поэт он менялся на глазах. Его стиль меняли стихи современников, которые он читал, и он сам воздействовал на поэтику ряда известных современных поэтов. Когда стало известно о его болезни, стихи стали ещё более отточенными, жёсткими и честными. Мне кажется, что он заплатил жизнью за право СТАТЬ ПОЭТОМ. Среди его ранних стихов были ровные, умелые стихи, на хорошем, стандартном провинциальном уровне. И было огромное желание выговориться. Судьба его не баловала, ему даже не удалось получить высшего образования. При этом он был открытым и общительным, старался всем помогать — писал статьи для газет, снимал сюжеты для телевидения, работал в центре социальной защиты в Боровске. Три города — треугольник его судьбы: Ермолино, где он родился и похоронен, древний намоленный Боровск, который он бесконечно любил, и атомный монстр Обнинск, где он жил в последние годы и умер. Этот треугольник не отпускал его. Его редкие наезды в Москву, Калугу, ещё более редкие в Питер — не в счёт. Когда я прочитал рукопись его избранного «Между Пушкиным и Бродским», я был потрясён. Эта книга вышла в 2006 году в Питере в известном издательстве и в престижной серии у Александра Житинского, тогдашнего открывателя новых поэтов, и мы презентовали её в Москве в Булгаковском Доме — с Валерой и на Волошинском фестивале в Коктебеле, к сожалению, без него — врачи запретили ему дальние путешествия.

Фактически со дня его смерти я думал о том, что нужно собрать и издать всё лучшее, написанное Прокошиным. Стали ежегодными вечера памяти Прокошина в Булгаковском Доме, где он выступал, удалось издать в Москве посмертно его последнюю книгу стихов «Ворованный воздух», была учреждена Всероссийская литературная Прокошинская премия для поэтов русской провинции, жюри которой возглавил замечательный актёр Вениамин Смехов. Друзья собрали и издали в Обнинске и Боровске его ранние



Обложка книги Валерия Прокошина
«Тяжелей чернозёма»

неопубликованные стихи и позднюю неопубликованную прозу. А книги поэтического избранного так и не было. И вот в юбилейный год Прокошина я обратился к давнему поклоннику творчества поэта Максиму Крайнову, который когда-то предлагал мне финансово поддержать такое издание, и он — спустя много лет! — подтвердил свою готовность. Московский поэт и издатель Александр Переверзин, знавший и ценивший Прокошина, помог мне в работе с первичными наработками книги. Сомнений в том, кто будет верстать и готовить макет книги просто не было, — друг поэта художник Вячеслав Черников всегда готов к работе с изданиями Прокошина. А издать книгу мы решили в небольшом, но очень достойном московском издательстве «ArsisBooks», в котором выходили книги Андрея Битова, Владимира Шарова и других знаковых современных писателей и с которым я уже рабо-

тал раньше. И ещё хочу поблагодарить нашего любимого Вениамина Сметова и известного поэта Марину Кудимову, которые написали важные слова о Прокошине на обложку книги.

Для меня важно, чтобы имя и стихи Прокошина были известны всем поклонникам русской поэзии сегодня, когда разрушены все прежние связи между автором и читателем. А поэзия в России всегда — дело бескорыстное, а порой даже и опасное. К этому мы уже привыкли.

— Составить книгу избранного — очень ответственное дело. Не всем составителям удаётся справиться с ним лучшим образом. Но если книга удалась — это замечательный подарок читателю, который в этом случае может увидеть мир поэта в ближайшем приближении к полноте и совершенству. По какому принципу вы выбирали стихи для этой книги? В чём особенность её построения?

— Составлением книг я занимаюсь не впервые, ещё в начале 2000-х составил и издал книгу стихов рано ушедшей от нас Ольги Подъёмщиковой, тонкого лирика, которая большую часть жизни прожила в Туле. Потом были поэтические антологии, в одну из которых, а именно — «Крымские страницы русской поэзии» — вошли стихи и Подъёмщиковой, и Прокошина. Составить книгу избранного Прокошина было непросто. Мне повезло в том, что я получил доступ к электронному архиву поэта. Его вдова разрешила мне его скачивать. Изучив этот архив, я хотел вначале показать его стихи циклами — Валерий порой работал циклами, составлял и пересоставлял их, но публиковал свои циклы преимущественно в интернет-изданиях. Но не все стихи в этих циклах показались мне возможными для использования в книге — одни

казались слабее, чем другие, а некоторые вызывали вопросы этического характера. Валерий иногда ходил по грани возможного и допустимого. Ведь зачастую то, что мы запросто позволяем иностранному автору, мы редко можем простить автору отечественному. Прокошин в своём сознании и творчестве, к счастью, был избавлен от этих комплексов. Но должно пройти время, пока его имя устоит в сознании людей как имя современного классика, чтобы принять его творчество во всей полноте. Итак, как составитель, я хотел показать, во-первых, всё лучшее, что было создано в русской поэзии Прокошиным, а во-вторых, показать всё разнообразие его возможностей и поэтической техники. Поэтому в книге наряду с регулярными стихами присутствуют верлибры и белые стихи, танкетки и хайку. Книга состоит из пяти глав. Первая глава «Стальной кузнечик» — это его



Валерий Прокошин

ранние стихи и стихи о детстве, юности и молодости. Вторая глава «Остаться в России» — это его вживание в русскую историю и в русские судьбы, его потрясение, доходящее до отчаяния и даже «отречения» (так называется цикл стихов) от *такой* России, здесь среди его собеседников мы встречаем ушедших, знаковых для Валерия поэтов — Николая Гумилёва, Сергея Есенина, Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого, Бориса Рыжего. Мне вообще кажется, что Прокошин всю жизнь искал собеседника, равного себе. И поэтому говорил, говорил, говорил — в жизни и в стихах — с друзьями, с умершими, с Богом, с самим собой. Замечательное стихотворение он посвятил памяти Татьяны Бек: *«Москва — ненадёжное русское место / Для жизни счастливой...»*. Третья глава «На птичьём языке» — это сказки в стихах, эротические стихи, которые, к слову, ему прекрасно удавались, хайку и вообще его «поэтический Восток». Его хайку — это как будто три маленькие поэмы, очень грустные и лаконичные, оставляющие возможность додумать самим этот сюжет или стих. Четвёртая глава «Удалённый доступ» — это заветный островок советской свободы Крым, это островок постсоветской свободы — Интернет (поэма «Мать-и-матрица») и танкетки — игровой поэтический жанр, который появился в Интернете и которым Прокошин на какое-то время увлёкся. Его поэма «Мать-и-матрица» — первая поэма об Интернете на русском языке, уверен, что о ней ещё будут писать диссертации. А в танкетках Прокошина в полной мере проявился его специфический чёрный юмор, который миновал другие его, «высокие», стихи. Название пятой главы «Кислородный паёк» фактически созвучно с названием его книги «Ворованный воздух». Это стихи последних лет, болические, прощальные стихи. Он понимал, что его болезнь смертельна,

но до самого конца не хотел в это верить. Здесь есть экспериментальный цикл «КИЧ — ГЛАМУР — АРТХАУС далее везде» и небольшой цикл «СТЕПЬ», где Прокошин обращается к тогда ещё молодому казахскому поэту Ерболу Жумагулову, с которым был знаком по Москве, — это разговор о жизни и о литературе. И, конечно, главный цикл Прокошина — «Ворованный воздух», фактически разговор с Богом, последний здесь, на земле, где поэт прозревает свою посмертную судьбу, раскаивается в грехах и предрекает: *«...все мы будем в раю / Вспоминать всю библейскую жизнь, как свою, / Как свою, а не Божью.»* И, конечно, мне хотелось, чтобы книга заканчивалась надеждой, поэтому книгу завершает раннее пророческое стихотворение Прокошина:

...Не бойся, меня уже нет на земле —
И ты никогда меня здесь не разлюбишь.

— *«Тяжелей чернозёма»... Почему вы выбрали именно такое название?*

— Вариантов названия книги было много. Но хотелось, чтобы читатель уже по названию понимал, что перед ним не обычная книга очередного поэта, что это важное лирическое высказывание нашего современника, что его слово — тяжелей чернозёма! Все варианты изначально выбирались как цитаты из стихов Валерия. Окончательный вариант названия взят из стихотворения, посвящённого поэту и писателю Юрию Карабчиевскому. Возможно, сегодня мало кто помнит это имя. Карабчиевский прозвучал в 80-х своей книгой «Воскресение Маяковского», за которую был удостоен парижской премии имени Владимира Даля. Однако писательская и человеческая судьба его трагична — в СССР он не публиковался, в 1990-м эмигрировал в Израиль, но в 92-м внезапно вернулся. Однако не выдержал встречи с родиной и добровольно ушёл из жизни. Видимо, эта судьба потрясла Прокошина, и он обратился к Карабчиевскому со словами:

...Ну зачем ты вернулся в страну, из которой повторно сбежать
Невозможно и где наш вагеньковский снег тяжелей чернозёма?

— *Я хочу отметить интересное оформление книги. Легко ли было найти удачное дизайнерское решение? Кто в нём участвовал?*

— Вариантов обложки также было множество. Вячеслав Черников — один из верных друзей Прокошина и сам замечательный художник, оформлявший все его прижизненные книги, проделал огромную работу, пытаясь найти тот единственный вариант оформления, который бы соответствовал названию книги. Хотелось не быть банальными, не впадать в патриотизм, в почвенничество и одновременно избежать эстетизма и красоты. Мы перебрали с ним множество версий, которые казались красивее или художественнее, но остановились всё-таки на этом. Мне кажется минимализм этой обложки идеальным. И я хочу поблагодарить Вячеслава Черникова за бескорыстие и бесконечное терпение. Потому что поиск идеала порой бывает долг и труден.

— *Прошло несколько месяцев со дня выхода книги. Тираж небольшой, и, вероятно, она быстро разошлась. Как она была воспринята читателем? А вы сами, по прошествии времени, довольны сделанным?*

— Конечно, я по-своему вижу эту книгу, мне спустя время хотелось бы что-то в ней переделать — переставить какие-то стихи, какие-то добавить и так далее. Думаю, это чувство знакомо всем составителям. Но мне было важно услышать от одного из коллег Прокошина такой отзыв: «Знакомство с Прокошиным нужно начинать с книги «Тяжелей чернозёма». Именно к этому я и стремился.

— *Что можно сказать о дальнейшей судьбе творческого наследия Валерия Прокошина? Будет ли когда-нибудь написана книга о его жизни?*

— Книга о жизни Валерия, конечно, нужна. В 2009 году я написал большое эссе о жизни и творчестве Прокошина. Оно публиковалось несколько раз, хотя оно не полно и там есть неточности, потому что оно писалось по горячим следам после его ухода. Но мне хотелось бы, чтобы нашёлся подвижник и подробно проследил творческий и жизненный путь этого поэта. Такая книга в первую очередь нужна его землякам и тем молодым литераторам, которые хотят знать, как становятся настоящими поэтами. Прокошин сделал себя сам как человек и как поэт. И это вызывало и продолжает вызывать у меня чувство безмерного уважения к Валерию Прокошину, поэту и человеку.

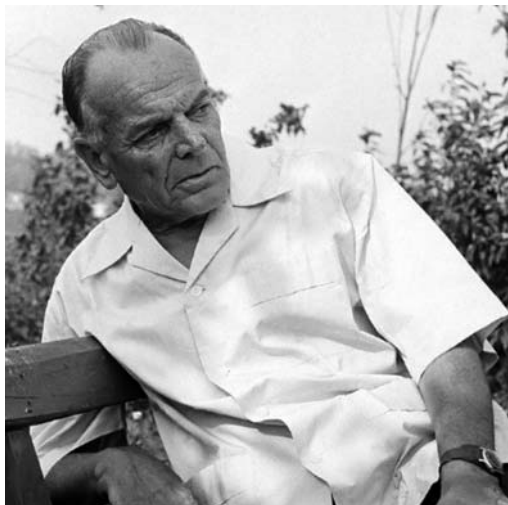
Беседовал Александр Трунин

Максим Васюнов:
БЛАГОДАРЯ ПАУСТОВСКОМУ Я УВИДЕЛ МИР
«ЗРЕНИЕМ АДАМА»

Новый документальный фильм журналиста Максима Васюнова о писателе Константине Паустовском «Доктор Пауст» взял национальную телевизионную премию «Страна». Авторитетные деятели телевидения, входившие в состав жюри — Егор Кончаловский, Эдуард Сагалаев, Леонид Млечин и многие другие, единогласно отдали победу «Доктору Паусту» в номинации «Общий дом» (фильмы о людях, событиях, традициях). Хороший повод побеседовать с автором.

— *Максим, поздравляю с заслуженным успехом! Мне фильм тоже очень понравился, и первый вопрос: как возникла идея фильма и почему героем выбран именно Паустовский?*

— Спасибо за поздравления, Денис! Не поверишь, но можно сказать, что идею я нашёл на помойке. Мы с женой нашли. Возле мусорного контейнера лежала стопка книг, среди прочих там была книга «Поэтическое излучение» Константина Паустовского, синяя такая, издательства «Молодая гвардия». А мне давно хотелось разобраться, понять, что с нами случилось, почему мы вдруг массово стали выбрасывать книги (причём очень хорошие, которые когда-то стоили целое состояние), а тут — Паустовский на помойке! Человек,



К. Г. Паустовский

которого называли совестью нации, которого признавали все безоговорочно нравственным авторитетом. Ну и пошло-поехало, стал перечитывать Паустовского.

Юля, жена моя, нашла где-то и подарила толстый трёхтомник автобиографической повести и писем Паустовского, плюс нашла «Тарусские страницы», альманах, который власти запретили и изъяли из библиотек. Хотя ничего против власти там не было. Но тем не менее решили подстраховаться и сделали только хуже. Потому что после того, как их запретили, вся интеллигенция и российская, и западная стала искать и покупать за огромные день-

ги эти «Тарусские страницы». Был огромный ажиотаж! Мне об этом поэт Константин Кедров рассказывал... Ну я отошёл от вопроса. Так вот, читая Паустовского и о Паустовском, я понял, что мы ничего о нём не знаем. И до его глубины мы ещё не доросли. Или всё забыли. И решил сделать вот такой фильм. Чтобы напомнить о Паустовском, а через него всё о тех же столпах нашего мира — красоте, правде, совести. На материале Паустовского поговорить о нас сегодняшних. Я подобное уже делал на материале и судьбе Чехова. Неплохо, говорят, получилось.

— Да, фильм о Чехове тоже запомнился глубиной, интересными образами и фактами. Но продолжим. Паустовский знаком нам ещё со школьной программы. И, как правило, в этом возрасте сложно постичь глубину мысли гениальных авторов. Что нового ты увидел для себя, перечитывая его книги?

— Перечитывая его книги, я смог увидеть мир, как сказал тот же Кедров, «зрением Адама». Это абсолютно незамысленный, чистый взгляд на мир и на те формулы, благодаря которым этот мир должен стоять. Формула Паустовского такова: чтобы беречь — нужно знать, а чтобы знать — нужно любить. Любовь по Паустовскому — это вообще сила мощная, «ведь тот, кто любит, видит то, чего не видят другие». И это первое, что я увидел. Второе — меня поразило достоинство писателя, с которым он прожил очень недостойное время. Так как наши времена мало отличаются от тех, в которых жил Паустовский, то мне показалось, что это очень важная история, важный пример для сегодняшних нас, особенно для тех, кто ещё мучается выбором — по совести поступать или гори оно всё огнём — и прыг в эту бездну тотальной лжи, лицемерия и предательства. Вот эти две мощные эмоции меня поразили при прочтении Паустовского, и я их постарался передать в фильме.

— *Трудно не согласиться. Судя по успеху фильма, Паустовский нужен и сегодня. У меня сложилось впечатление, что та смелая речь Паустовского стала основой сюжета. Это так?*

— Та самая речь стала не то чтобы основой, но, бесспорно, одной из самых драматичных сцен фильма. Потому что, по сути, эта речь, произнесённая в 1956-м году на обсуждении романа Дудинцева стала ключевым моментом и в истории советской литературы, и советской совести. Потому что до Паустовского никто и никогда публично не обвинял советскую власть в убийстве советских художников, никто и никогда не называл чиновников мракобесами, никто и никогда не обвинял советскую номенклатуру в том, что она живёт «во имя собственного вонючего благополучия», в том числе во имя этого избавляется от режиссёров, писателей. Это 56-й год. Эта речь, по мнению некоторых литературоведов, стала первым советским самиздатом. Она мгновенно разошлась по всем институтам страны, и я нашёл интереснейшие документы, отчёты КГБ, разные донесения, разные справки аналитические и т.д., из которых ясно, что та речь произвела огромное влияние на всех! В МГУ, например, студенты после речи осмелели настолько, что... А впрочем, я приведу реальный документ. Записка отдела культуры ЦК КПСС от 1 декабря 1956 года: «В этой обстановке активизировались такие литераторы, которые и раньше с недоверием относились ко всему, что делается в нашем обществе. Б. Пастернак сдал в журнал «Новый мир» и Гослитиздат свой роман «Доктор Живаго», переправив его одновременно в итальянское издательство. Недавно на филологическом факультете МГУ была выпущена стенгазета, которая заполнена безудержным восхвалением Пастернака, Цветаевой и Ахматовой. Характерно, что никто из преподавателей-коммунистов не нашёл в себе смелости открыто выступить против этих уродливых пристрастий студентов, раскритиковать и высмеять их дурные вкусы».

А вот ещё один любопытный документ. Это из досье на Ландау. «По сообщениям одного из агентов, являющегося приближённым для него лицом, Ландау считает, что успех демократии будет одержан лишь тогда, когда класс бюрократии будет низвергнут. В разговоре об этом он достал и читал с драматической дрожью в голосе текст выступления писателя Паустовского на собрании писателей, посвящённом обсуждению романа Дудинцева. Ландау восхищался силой и храбростью выступления: “Мы с вами трусливы и не нашли бы в себе духа влить бюрократам такую звонкую пощёчину”». Ну мы понимаем, что кто-то из друзей знакомых учёного на него стучал и вот передал КГБ такой разговор... Но самое потрясающее, конечно, в том, что власти наши были уверены, что речь Паустовского и всё, что в тот же период происходило в Венгрии, — это звенья взаимосвязанные. Сегодня это кажется бредом, а, впрочем, до сих пор есть люди, которые в этом уверены, и я их встречал, с ними общался. Так что речь действительно потрясла мир, и я не мог мимо неё пройти, более того, весь фильм я показываю Паустовского как человека поступка. Даже в финале фильма я специально оставляю фрагмент нашего разговора с Владиславом Крапивинным, где он рассказывает, как Паустовский помог ему

уже после своей смерти... Как он снова отстоял хорошее доброе дело, как он снова смог непостижимым образом заступиться за Крапивина.

— *Думаю, можно сказать, что всемирная известность пришла к Паустовскому после встречи с Марлен Дитрих. Чем, на твой взгляд, произведения Паустовского так тронули её сердце, что она даже встала перед ним на колени и поцеловала ему руку?*

— Да, это был потрясающий момент. Это случилось в 64-м году, а не в 63-м, как написано в Интернете. И я слышал разные версии того, как это случилось, что Дитрих (извините, не последняя дама в литературе, связанная с Ремарком и Хэмом) вдруг встаёт на колени перед Паустовским, писателем, как многим тогда казалось, малоизвестным за рубежом. Но в том-то и дело, что это только казалось тут в СССР. На самом деле Паустовского читали и знали за границей. О нём писали в эмигрантской, и не только, прессе, о нём говорил, и, например, Зайцев, который был очень известен за рубежом, о нём говорил Бунин. И именно после письма Бунина Паустовскому последний стал мировой фигурой. Короткое письмо, раз и навсегда вписавшее доктора Пауста (так Константина Георгиевича называли друзья) в историю. Я помню эти строчки наизусть, потому что мы долго думали, как их окартинить, и решили пойти по простому варианту. В общем, вот это письмо: «Дорогой собрат, я прочёл Ваш рассказ «Корчма на Брагинке» и хочу Вам сказать о той редкой радости, которую испытал я; если исключить последнюю фразу этого рассказа («под занавес»), он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы. Привет, всего доброго. Иван Бунин, 15 сентября 1947 года, Париж». И это потрясающее, если знать Бунина — человека желчного, который на похвалу вообще был скуп. И я ещё много читал в зарубежной прессе отзывов о Паустовском. И Марлен Дитрих, которая была женщиной прогрессивной, читающей, которая любила русскую литературу, конечно, мимо Паустовского не прошла. В своих воспоминаниях она пишет: «Однажды я прочитала рассказ «Телеграмма» Паустовского. (Это была книга, где рядом с русским текстом шёл его английский перевод.) Он произвёл на меня такое впечатление, что ни рассказ, ни имя писателя, о котором никогда не слышала, я уже не могла забыть». И дальше ответ на твой вопрос, Денис, чем её Пауст зацепил: «Он писал романтично, но просто, без прикрас». Вот кинодиву он зацепил этим. Уверен, если бы она читала Паустовского в подлиннике, то с ума бы сошла от красоты его языка!

— *Название фильма «Доктор Пауст», в первую очередь, ассоциируется с известным «Доктором Хаусом», так же как и название твоего другого фильма «Чехов Интерстеллар» ассоциируется с американским блокбастером. Эта такая авторская фишка?*

— Да, здесь есть и маркетинговый ход. Но в целом «Доктор Пауст» абсолютно точно подходит к этому писателю. Его так называли друзья, и многие даже те, кто его не знал лично, но читал, потому что та мудрость и та красота языка и мысли, что были ему присущи, тянули не меньше, чем на звание дока. Дока, который всё прознал «про красоту родной земли» и вообще про наш мир. Есть и другие аллюзии у этого названия. Но я не буду их



Максим Васюнов у памятника К. Г. Паустовскому в Тарусе

раскрывать, иначе — зачем было снимать фильм. Я бы мог написать публицистику и покончить с этой темой.

— *Паустовский и Пришвин — они похожи? Кто из них тебе более близок как автор и как человек?*

— Паустовский и Пришвин у многих ассоциируются вместе. И это не просто так. Во-первых, они в разных букварях, учебниках по чтению, в книжках с диктантами идут вместе. И эти диктанты по сочинениям Пришвина и Паустовского потом ещё долго помнятся. Во-вторых, они мне оба милы тем, что старались держаться подальше от всех этих союзов писательских, заседаний, от власти. Только к концу жизни они уже как два безупречных авторитета, как народные писатели стали получать квартиры, машины, путёвки... Но тем не менее им к этому времени уже всё это было не нужно, и они продолжали рваться прочь из Москвы, один в Дунино, другой в Тарусу. И ещё момент. Принято считать, что в их творчестве много общего. На самом деле общие у них встречаются только темы, но на ту же природу и на всё прочее они смотрели по-разному, иначе не было бы у нас двух больших самобытных писателей. А вот в своих письмах и дневниках они порой страшно похожи. Порой до оторопи. Я нашёл дневники Паустовского за 1920 год, читаю их и понимаю, что всё это я уже где-то читал. И вспомнил — точно так же теми же словами о тех же событиях говорил и Пришвин в своих дневниках за тот же год. То есть там даже слова и выражения совпадают. Будто дневники одного — это рукописная копия другого. Но они не могли видеть и читать дневники друг другу... Это абсолютно исключено. Время и будущее они чувствовали одинаково. Вообще, Пришвин — это уровень большого европейского философа. И он, как

и Паустовский, ещё далеко не раскрыт, не понят, не разгадан. И тот, и другой даже ещё полностью не напечатаны. Но меня радует, что когда я общался с сотрудниками музеев Пришвина (Дунино) и Паустовского (Москва, Таруса), то они отмечают, что всё больше людей, причём молодых, начинают для себя открывать этих писателей. И через них они приходят и к объективному пониманию истории, и веры, если хотите, и, конечно, человека. Потому что, кто бы что ни говорил о них как о писателях природы, это не совсем так, на самом деле и тот, и другой прежде всего воспевали людей, простого человека.

— *Отдельное место в фильме занимает операторская работа. Всё смотрится красиво, гармонично, уместно. Расскажи, пожалуйста, немного об операторах и всей съёмочной группе.*

— О, вот за этот вопрос спасибо! Потому что кино — это дело коллективное. И одного автора тут недостаточно. Операторская работа, правда, на высоте. И не только потому что мы снимали в том числе с коптера. Главный оператор фильма Аркадий Дей выложился на все сто, он большой профессионал. Ещё один прекрасный оператор Роман Митрошкин тоже снял очень тонко и глубоко. И ещё тут надо сказать огромное спасибо Роману Науменкову, это режиссёр монтажа. Он отвечал за всё — за цвет кадров, за их склейку, за графику, за звук. Большую проделали мы с ним работу. Редко когда так совпадаешь с командой, но тут мы совпали. И поэтому фильм действительно получился красивым. То есть если даже его авторское наполнение кому-то покажется скучным, то эстетическое удовольствие от картинки обеспечено.

Конечно, не могу не отметить актёра Михаила Алексеевича Кузнецова, который так прочитал тексты Паустовского, что к концу фильма кажется, что это и есть настоящий Паустовский, который здесь и сейчас с нами говорит. Гениальный актёр. Спасибо ему.

— *Где ещё можно будет посмотреть твой фильм? И есть ли в планах новые аналогичные проекты?*

— Думаю, что совсем скоро фильм покажут в эфире телеканала «Ника». Также надеюсь, что у кино будет фестивальная судьба. И мы, рано или поздно, покажем его и в Москве. А дальше всё зависит от принимающих сторон. То есть если кто-то где-то захочет фильм показать в своём городе, то не думаю, что с этим будут проблемы. Что касается новых аналогичных проектов, то есть продолжить тот же формат разговора о современности, то я присматриваюсь к Константину Леонтьеву.

— *Большое спасибо за интервью, Максим! Желаем новых интересных идей и дальнейших успехов!*

— Спасибо, взаимно!

(Интервью с автором фильма «Доктор Пауст» опубликовано в интернет-издании «Эксклюзив» 06.02.2020)

Общаялся Денис Бессонов

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вместо вступительного слова</i>	3
--	---

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

<i>Валентина Невинная</i>	
Мой незабвенный плен. <i>Стихи</i>	6
<i>Юрий Убогий</i>	
Время вокзала	12
<i>Вадим Терёхин</i>	
Время жизни бежит на парах. <i>Стихи</i>	54
<i>Вячеслав Некрасов</i>	
Из сборника «Семечки синичкам». <i>Лирическая проза</i>	58
<i>Александр Мызников</i>	
Синеватая луна. <i>Стихи</i>	65
<i>Владимир Кормильцев</i>	
Цифровые. Две штуки. <i>Рассказ</i>	68
<i>Ольга Шилова</i>	
Наития живая нить. <i>Стихи</i>	74
<i>Ольга Клюкина</i>	
Натюрморт с экзотическими фруктами. <i>Рассказ</i>	77
<i>Владимир Обухов</i>	
Стихи-перевертни	80
<i>Татьяна Каледина</i>	
Из рассказов переводчицы	83
<i>Павел Тришкин</i>	
Неловкий день. <i>Стихи</i>	93
<i>Вадим Шевяков</i>	
Одуванчик ломает бетон. <i>Стихи</i>	95
<i>Александр Ларин</i>	
Куриный бог. <i>Повесть</i>	98
<i>Евгения Шабеева</i>	
Непровинившееся время. <i>Стихи</i>	142
<i>Оксана Рачулик</i>	
Талый воздух глотнуть. <i>Стихи</i>	145
<i>Александр Трунин</i>	
Поджог. <i>Рассказ</i>	150
<i>Анна Пашковец</i>	
Многоточие из звёзд. <i>Стихи</i>	155

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

<i>Сергей Михеенков</i>	
Потомок Ермака. <i>Глава из книги «Москва — 41»</i>	159

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

<i>Марина Улыбышева</i>	
Учитель Кун. <i>Художественное переложение книги «Лунь юй»</i> («Беседы и суждения»)	199

СТОРОНЫ СВЕТА

<i>Андрей Убогий</i>	
Женщина, обед, книга. <i>Заметки о Париже</i>	224

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ

<i>Георгий Куликов</i>	
К вопросу о миражах. <i>Повесть</i>	239

О ЛИТЕРАТУРЕ

<i>Владимир Обухов</i>	
Дата круглая и весомая. К 80-летию Ю. В. Убогого	270
<i>Алексей Мельников</i>	
Сергей Петрович из Ромодановских Двориков	272
<i>Марина Улыбышева</i>	
Заглянем в новую книгу актёра и поэта Игоря Красовского	274
<i>Ольга Клюкина</i>	
Крым — Калуга — Крым	276
<i>Александр Хмелевский</i>	
Жил распахнуто и смело... (Памяти Алексея Петровича Золотина)	278

КОРОТКО О КНИГАХ

Реальная жизнь поэта. (Марат Гизатулин «Булат Окуджава: вся жизнь — в одной строке») . . .	283
Долг перед великой правдой Руси. («Воспоминания о художнике Павле Рыженко»)	283
Не смог отречься от своих убеждений. (Ольга Клюкина «Повесть о Георгии Осоргине»)..	284

ИНТЕРВЬЮ

В поисках равного собеседника (Интервью с московским поэтом Андреем Коровиным, составителем книги избранных стихотворений Валерия Прокошина «Тяжелей чернозёма»)	285
Максим Васюнов: Благодаря Паустовскому я увидел мир «зрением Адама». (О фильме «Доктор Пауст»)	289

ОБЛАКА

КАЛУЖСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск 3

В оформлении обложки использованы офорты
заслуженного художника России А. П. Шубина
«Русь. Трубящий ангел» и «Направление поиска»

Редактор-составитель *А. В. Трунин*
Художественный редактор *М. А. Улыбышева*
Компьютерная верстка *С. И. Захаров*
Корректор *Н. Г. Любомудрова*

Издатель Захаров С. И. («СерНа»)
Тел. +7(910)914-95-30, e-mail: sergeizah@gmail.com

Подписано в печать 30.07.20. Формат 70×100¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 18,5 п. л. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии «Наша Полиграфия»
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 126
Лиц. ПЛД № 42–29 от 23.12.99
Тел. (4842) 77-00-75

Литературный альманах «Облака» знакомит читателя с произведениями писателей, живущих на Калужской земле или связанных с ней творческими узами. В третьем номере представлены более двадцати авторов, среди них Валентина Невинная, Юрий Убогий, Вадим Терёхин, Вячеслав Некрасов, Ольга Шилова, Ольга Клюкина, Владимир Обухов, Александр Ларин, Сергей Михеенков, Марина Улыбышева, Андрей Убогий и другие – как известные литераторы, так и только начинающие свой путь в литературе.

